НЁМАН

10/2011
ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Е. Г. Малей*

Подписано к печати 7.10.2011 г. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,95. Тираж 3281. Заказ 2756.
Цена номера в розницу 12 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО

Предательство

Повесть

Предатели предают прежде всего себя самих...
Плутарх

Мне уже сорок семь лет. Я давно, с юности, пишу. Но никогда не писала о любви. Нет, не о той любви, которой называют чувство к родине, к матери, к самой жизни, наконец. Я имею в виду любовь между мальчиком и девочкой, юношей и девушкой, мужчиной и женщиной.

Когда я приносила свои рукописи в редакцию и у меня спрашивали, о чем же я пишу, то обычно после моего непродолжительного замешательства с какой-то снисходительной доброжелательностью или даже с иронией подсказывали ответ: «О любви?» Ну конечно же, о чем еще может писать девушка, женщина?! И тут я решительно и возмущенно отрицала: «Ну что вы! Темы моей прозы гораздо серьезнее. Я затрагиваю вопросы философские и психологические. Например: для чего живет человек на земле?»

Да... Так уж вышло. Ни одной любовной истории за столько лет.

И что же? Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о любви. Хотя кульминацией истории, которую расскажу, окажется предательство. Наверное, прав был К. Гельвеций, когда сказал: «Сущность любви заключается в том, чтобы никогда не быть счастливым».

Больно возвращаться в мыслях в прошлое. Может быть, кто-то другой, вспоминая прожитые годы, подпитывает энергию своей души, итожа в первую очередь личные победы и достижения, бережно укладывая их, словно кирпичики, в тот фундамент, на котором самодовольно явит себя миру. Такой уверенно говорит о своих заслугах. Он горд.

Биография... Часто бывает, что хорошо написанная собственная биография, представленная только позитивными вехами, — всего лишь иллюзия. Иллюзия, в которую готов поверить сам автор и, что еще печальнее, заставит поверить в нее других. И чем больше в этой иллюзии иллюзорного, тем с большим рвением аплодируют, принимая ее, окружающие.

Миру нужны герои... Но существует ли герой, который ни разу не упал? Великая и горькая правда в словах: «Мир делится на грешников, которые считают себя праведниками, и праведников, которые считают себя грешниками».

Но я глубоко верю, что, оставаясь наедине с собой, далеко не каждый гордится своим прожитым, что многие, терзаясь чувством вины или стыда, хотели бы переписать те или иные страницы жизни наново.

Вряд ли кто способен огласить истинную свою биографию. Истинная биография так же редка, как и хорошо прожитая жизнь. Далеко не каждому дано соблюсти себя в полной чистоте, всегда быть свободным от страстей и

искушений, тщеславия и зависти, ни разу не замарать свою душу и не стать предателем. Истинная биография — скорее не о достижениях, а о грехах.

* * *

Запомнились те ночи... Лунные, ясные, звездные и темные, «хоть выколи глаз». Те ночи покоряли мягким давлением тихих звуков, полной тайн тьмою, трепетавшей в причудливых тенях, запахами, глубоко проникавшими в кровь и становившимися частью твоей плоти. Ночи, которые пахли жизнью и, порождая в твоей душе тончайшие мелодии неведомых ранее чувств, околдовывали тебя.

Каким было очарование теми ночами... Еще бы! Разве не обостряют восприятие мира свойственные юности восторженность и состояние влюбленности или ожидание, предчувствие этого состояния влюбленности? Когда тебе еще пятнадцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключения природа.

Юное, особенное, неожиданное, волнующее... Потрясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никогда. По остроте, чистоте, искренности...

Ночи... Далекие и близкие. Как далеко и близко все то, что было в твоей жизни. Летние ночи в деревне, тишину которых не нарушало, а даже как-то по-особому усиливало безудержное ликование опьяненных ими кузнечиков. Только лай собак иногда разрывал ее, напоминая, что в этом одурманенном, почти нереальном пространстве кто-то не дремлет, не забывается, а всегда настороже. Ночи, которые незаметно растворяются, сереют и исчезают после первых петухов.

Иногда, с уже взрослой иронией и легкой грустью вспоминается, как мы с двоюродной сестрой Таней возвращались после ночных гуляний. Как осторожно, чтобы никого не разбудить в хате, нащупав клямку, медленно отворяли тяжелую входную дверь, которая, несмотря на наши старания, все равно предательски громко скрипела. В сенцах после свежести ночи нас обдавало некой теплой и сладковатой душностью, знакомой и приятной. Пахло сушеными травами и молоком. Не забуду, пока живу, те ощущения и запахи.

Помню, как на цыпочках, не торопясь, чтобы не задеть лавку или табурет, мы проходили через первую комнату, где спали бабушка и дедушка, в горницу. Там тихонечко снимали с себя нарядные платья, бережно, на ощупь вешали их на спинки стульев и все так же, на цыпочках, боясь, чтобы не скрипели половицы, крались к своим кроватям.

Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы светлеющая дрема уходящей ночи. В душе все еще ширились эмоции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбуженный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал нас: «Девки! А ну-ка, не мешайте спать!»

Чувства, похожие на те, что впервые волновали юную душу, будут в течение жизни зарождаться еще не раз, но никогда уже не возникнет при этом такого искреннего удивления, такой восторженной и жадной восприимчивости, уверенности в исключительности и неповторимости этих поразивших

тебя своей новизной явлений. Тому, к чему естественно, по природе своей, готовится неискушенная и наивная душа, суждено стать чуть ли не мистическим, не отягощенным земным опытом чувством. Первая влюбленность остается навсегда особенной. Нет-нет да и полыхнет она в памяти далеким, негаснущим огоньком, слишком непохожим на те, что были или еще будут возгораться в твоей жизни.

Девки-девки... Не спится им. Шепчутся... И все вглядываются, вглядываются в сереющее за окном утро...

Что за этим окном их ждет? Что?..

Тем летом, когда я и Таня, робея и стесняясь, вдохновляемые самыми лучшими ожиданиями, ходили в клуб или к реке, где у костра собиралась молодежь, мы хотели понравиться, влюбиться, встретить каждая своего «принца на белом коне».

Не стану судить о чувствах сестры, но уж в моей душе, это точно, огромным рассветным заревом разгоралась надежда. Еще не успев влюбиться, я уже была влюблена. Волшебно влюблена. Иногда утром, подходя к окну и вглядываясь куда-то поверх деревьев в саду в то, что пока еще было невидимым, недосягаемым и далеким, мысленно спрашивала: «Где ты? Кто? Что делаешь? Ты ведь есть, моя половинка. Живешь... И не догадываешься, что я вот тут, сейчас, думаю о тебе...»

И я, будучи вот таким странным образом влюблена, уже была не одна, свято веря в существование его — суженого, единственного, родного. И не сомневалась, что скоро, очень скоро произойдет наша с ним встреча.

Однако первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснительную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за драку пьяница и хулиган. Федор или, как его называли, «цыган», был года на три старше меня. Рослого, плечистого, с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли южно-украинской, то ли молдаванской внешностью чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался особняком. Я ни разу не видела его трезвым.

Мое ожидание чуда вдруг раскололось и рассыпалось на мелкие осколки, когда он однажды, как только закончились в клубе танцы, пошатываясь, подошел, прямо, без смущения посмотрел мне в глаза и, ни о чем не спрашивая, молча, без единого слова, чуть на расстоянии последовал за мной и сестрой. И так же в следующий вечер. И в следующий...

«Ох, ты и попала, девочка. Он же бандит...» — сочувствовали мне.

Я не поворачивала голову в его сторону, когда возвращалась из клуба домой с сестрой и подругами. Но боковым зрением видела его огромный темный силуэт и огонек папиросы. Я его боялась. И это был какой-то особенный, почти животный страх. Раскаленным клубком нарастало нервное напряжение. Весь придуманный мною волшебный мир рухнул. И теперь, кроме Федора, никто из парней уже не мог ко мне подойти.

— Ну ж, мае внучки, расскажите, хто вас провожал? — как обычно наутро с лукавым любопытством спрашивала у меня и Тани бабушка. И озабоченно качая головой, говорила в адрес моего «ухажера»: — Гэта ж трэба, каб хлопец из самой последней на все деревни семьи да выбрал мою внучку! Кажуть, что у них в хате даже кровати нема. На сене, застланном постилкой, спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку попивают. То ж, моя внучка, — самые последние люди! Они у нас тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, двое сынов — один из них — твой, внучка, кавалер, — да дочка, самая меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из

обуви только резиновые галоши... Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков выпить просила. Подойдет до стола и плачет: «Хочу горелки». — И комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на меня, предупреждала: — Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших за них нема.

Таню, хотя она была старше меня, пока никто не провожал. Невеселая у бабушки о ее любимых внучках складывалась картина. Хоть девки и видные, как считала она, городские, но... Повздыхав, а затем приободрив нас: «Ну ничога, ничога... Вашае еще все напераде», — бабушка выставляла из печи на стол завтрак и спешила по хозяйству.

Однажды Федор пришел в клуб очень пьяным. Его шатало, раскачивало в разные стороны, словно могучий дуб ураганным ветром. И вдруг, когда зазвучала медленная танцевальная музыка, он направился ко мне, вышагивая решительно, размашисто и неровно. Я испугалась. Мне казалось, что такой, как он, если ему отказать в танце, убьет или ударит. Бросив сестру и подруг, я выбежала на улицу, стрелой пересекла островок света, падавшего от единственного возле клуба фонаря, и, оглянувшись, не преследует ли меня Федор, поспешила скрыться в лишь кое-где прореженной желтыми огоньками хат темноте.

Я побежала не по деревне, а по бездорожью, через совхозный сад, спотыкаясь и царапаясь о кустарник, потом через поле вдоль леса, чтобы меня было невозможно ни догнать, ни увидеть. Я боялась, что он опередит меня и встретит возле хаты. И это уже был не просто страх, а нечто большее. Задыхаясь, я падала, вставала и вновь бежала.

Все последующие дни, до отъезда в Минск, я в клуб не ходила.

* * *

Спустя год, летом, я снова приехала в деревню.

Стояла жара. И, несмотря на июнь, в проседи листьев верб, уныло вытянувшихся вдоль деревенских улиц, проглядывала желтизна. Лишь однажды прошел небольшой дождь, скупо окропив иссушенные добела пески.

В любую погоду, как в горячие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила босиком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через соприкосновение, проникает в меня удивительная нежность родной земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в спичечных коробках ее малые пригоршни. Приезжая в деревню, разувалась прямо на станции, чтобы так, босой, ходить до отъезда, обуваясь лишь по случаю — в клуб или на несколько часов в ближайший город.

Спокойно, без особых событий, истаивали дни каникул. Я снова стала ходить в клуб, с радостью обнаружив, что Федор там не появляется. Возвращались после танцев большой компанией. Меня и моих подруг, ни за кем открыто не ухаживая и никого из нас не выделяя, провожали парни из нашей и соседних деревень. Иногда они катали нас на мотоциклах и, когда ловили рыбу, угощали на Днепре ухой.

Однажды Надя, одна из моих деревенских приятельниц, пригласила меня сходить с нею в соседнюю деревню к ее родственникам.

— Заболела корова. А Витальку привезли на лето. Мамка сказала, чтоб сходила за молоком.

Виталька — шестилетний белобрысый мальчуган, сын ее старшей сестры, которая жила недалеко, в тридцати километрах, в молодом городе

атомщиков — Припяти. Там, на Чернобыльской атомной станции, работал ее муж. Каждое лето она привозила своего Витальку в деревню к родителям — «на молоко».

Иолча... Соседняя деревня. Она ближе к Днепру. Вдоль нее — вербы-гиганты. Они намного выше и могучее, чем те, что растут в моей любимой Прудовице. Мы сидим с Надей на лавочке, прислонившись к забору, ждем, когда подоят только что вернувшуюся с пастбища корову. Волнами лоснится на вербах от поднявшегося ветра седая листва. Красновато-розовый закат слегка подрумянивает ее, едва заметными мазками накладывая теплый оттенок.

— Может, ветер дождь нагонит... Пусть бы... А то все сохнет без дождя, — по-взрослому озабоченно рассуждает Надя.

Иолчанская дорога не песчаная, как у нас в Прудовице. Она выложена бетонными плитами и тянется до Днепра. Бетонные плиты, можно сказать, вечные, они сохранились со времен войны. Дорогу так по сей день и называют — военной. Плиты теплые, чуть шершавые, по ним ходить приятно. А после дождя кое-где на них лужицами стоит вода. Она настолько чистая и прозрачная и так быстро прогревается, что в таких лужицах, словно в бассейнах-лягушатниках, любит плескаться детвора.

И вдруг из соседнего двора, огороженного низким, покосившимся, утопавшим в некошеной со стороны улицы траве забором, вышел высокий плечистый парень, выкатывая перед собой велосипед. К раме велосипеда была привязана удочка. Бросив короткий взгляд в нашу сторону, он, легко перекинув ногу, вскочил на велосипед и не торопясь, оставаясь в поле нашего зрения, стал ездить взад-вперед по бетонке.

Надя, задумчиво провожая его глазами, заметила:

— Откуда у него велосипед? У Доленюков и на хлеб денег нет. Может, попросил у хлопцев?

Я ошеломленно и в то же время как зачарованная, без страха смотрела на парня. Это был Федор. Трезвый. Клетчатая рубаха, завязанная над животом узлом, на ветру за плечами раздувалась, словно парус. Ветер трепал непослушные черные кудри. Шоколадный загар тепло оттенялся закатом. Он держал спину ровно, голову гордо, казалось, сам смотрел на себя со стороны, и, сделав несколько кругов возле нас, поехал в сторону Днепра.

— Ух ты! — восхищенно и по-прежнему задумчиво выдохнула Надя. — Вот же Бог дал человеку красоту! А между прочим, если бы нашлась девчонка — но чтобы он в нее по-настоящему влюбился — да взяла его в руки, какой бы из него парень мог быть!..

Надя выговорила эти слова с такой искренней и страстной убежденностью, что мне стало казаться, будто они исходили от кого-то другого, более значительного и знающего, кто сказал мне это через нее, чтобы глубоко затронуть мою душу всем их смыслом.

В выходной Федор пришел в клуб. Нетрезвый. В кинозале уже демонстрировали очередной из привозимых ежедневно, кроме понедельника, фильм.

Вспышкой меня пронзила радость. Я хотела, чтобы он пришел: трезвый или пьяный — любой.

Я сидела во втором ряду. Отыскав меня глазами, он как-то грубо, тяжело обрушился в жалобно заскрипевшее кресло впереди меня. Оглянулся.

— Федор, — без страха и смущения впервые обратилась к нему я, — как жаль, что ты выпивший. А я думала попросить, чтобы ты проводил меня домой.

Он на мгновение замер, тряхнул головой и, ничего не ответив, поднялся и ушел.

До окончания фильма, которого я, тупо глядя на экран, конечно же, не видела, он в кинозале не появился. В помещении, где потом были танцы, его тоже не оказалось.

После танцев я в общей толпе вышла из клуба. Вместе с подругами миновала освещенную фонарем часть дороги. И тут возник он! Не так, как прошлым летом, чуть на расстоянии, а рядом, совсем рядом.

Мы говорили, но мало. О чем — не вспомню. Больше молчали. Запомнилось только волнение.

Позже он расскажет мне, что тогда, покинув кинозал, направился прямо к колодцу и, вытягивая из него ведро за ведром с водой, опрокидывал себе на голову.

— Ты будешь в клубе завтра? — спросил у моей калитки Федор.

— Не пойдем в клуб, Федя, — мы впервые стояли близко, лицом к лицу. Только я смотрела на него снизу вверх, а он — чуть наклонив ко мне голову. Так я еще никогда ни перед кем не стояла. Чувство, которое я при этом испытывала, не передать через слово, но оно остается свежим и острым в памяти до сих пор. — Приходи лучше, как начнет темнеть, сюда. Только трезвый.

Он согласно кивнул. Не прощаясь, я пошла к хате.

Мы даже не условились о времени. На следующий день, торопливо и не совсем старательно выполнив несложные бабушкины поручения, я в волнительном, немного нервном и в то же время счастливом томлении выглядывала в окно, наблюдая, как темнеет вечер.

Чувствовала, знала: когда... Казалось, целую вечность шла от хаты до калитки. Дрожащими руками отворила ее и в нерешительности остановилась. Мои глаза выхватили на светловатом фоне песчаной дороги знакомый темный силуэт, вначале неподвижный, а потом уверенно направившийся в мою сторону.

Я и Федор стали встречаться. Не в клубе. А у моей калитки.

Мы бродили по деревне, прогуливались вдоль леса, ходили на луг. Я — неизменно босиком. Мне нравилось быть намного ниже Федора ростом и ощущать его превосходство в физической силе. То обстоятельство, что я босая и что мы прогуливались в темноте, вынуждало его беспокоиться обо мне, чем я втайне наслаждалась. Хотя и выражал он свое беспокойство едва заметно и сдержанно: лишь вздрагивал, если я где-то слегка спотыкалась или оступалась, и осторожно придерживал меня за руку.

Мне было приятно, что такой бесстрашный, как мне казалось, грубый и сильный человек так трогательно боялся брать мою ладонь в свою. Но когда это случалось, я с трепетным восторгом вчувствывалась в надежную мозолистую нежность его крепкой руки. Постепенно водить меня за руку почти до рассвета — стало единственной близостью, которую он позволил по отношению ко мне.

Федор встречался со мной каждый вечер, а утром шел на работу. И с того первого нашего свидания выпившим я его не видела. Во время встреч мы чаще молчали. Но иногда, желая узнать что-либо о его жизни, я осторожно, хотя и с большим трудом, наталкиваясь на угрюмое сопротивление, вытягивала из него скупые слова.

То, что я узнавала о Федоре от него самого и от других, одновременно и радовало, и причиняло боль.

— Моя внучка, — то и дело сообщала бабушка, — люди так плохо говорят о тебе. Сегодня знов в лавке пыталися: «Чего это твоя Наташка с этим

Доленюком спуталась? А мы ж думали, что она такая хорошая да скромная девочка».

— Бабушка, но чем же я не скромная? Он нисколько не обижает меня. И мы ничего плохого не делаем, — как могла, оправдывалась я.

А она продолжала убеждать:

— Я верю, внучка. Да тольки ж ён не для тябе. Хто ты, а хто ён. Хто яго батьки, а хто твае. — И вздыхая: — Той жа ж Федька после восьми классов школу бросил, так пил. А ты у нас отличница, городская, разумных батьков! Нашто ён табе? Ох, и стыдно мне людей, моя внучка. Ох, и стыдно. Не такого хлопца я для тебя хотела.

И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душевной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало набирать силу предательство, пусть пока еще незаметное, но настоящее.

Однажды, гуляя с Федором поздно вечером по деревне, мы встретили возвращавшихся с фермы доярок. Я не поздоровалась, боясь, чтобы меня не узнали по голосу, хотелось сквозь землю провалиться. Хорошо, что в темноте Федор не увидел краски на моем лице.

То, что он изредка рассказывал о себе, когда мне с трудом, но все же удавалось разговорить его, трогало и волновало. В такие минуты я сама брала его за руку и слегка сжимала ее.

С детства Федор был скорее не хулиганом, как считали люди, а драчуном. Сам же он называл себя не иначе как уродом. Да и какой могла быть самооценка у человека, по натуре вспыльчивого, ранимого, гордого и непокорного, но постоянно сталкивавшегося с насмешками, презрением и косыми взглядами односельчан? И в осанке его, и в широко развернутых плечах, и в том, как он высоко носил свою чубатую голову на сильной тугой шее, и в желваках, которые нередко жестко двигались на его смуглых щеках, я угадывала эту гордую непокорность и с чувством восхищения, даже какого-то непонятного наслаждения воспринимала ее в нем.

Он дрался. Дрался мальчишкой, когда деревенские дети дразнили и насмехались над ним. Поднимал кулак подростком, чтобы нанести ответный удар. Он ненавидел пьянства ближних и, чтобы заглушить то, что постоянно мучило его, выжигая болью душу, пил сам. Пил, курил и, сжав зубы, молчал. Почему-то именно таким, с часто двигавшимися под скулами желваками, мне иногда вспоминается его лицо. «Пьяница», «бандит», «хулиган», или просто, по данной ему от рождения доле, — изгой...

И та черная тень неумолимо-безжалостного людского презрения, которая, сколько он помнил себя, неизменно следовала за ним, подползла, протягивая свои мерзкие щупальца, и ко мне. Людская молва... Люди судили, шептались, обговаривали, смакуя и передавая услышанное в глаза и за глаза. Окружающих, и даже подруг, моя дружба с Федором смущала.

И дедушка, узнав от кого-то дурное обо мне, зашел в хату, окинул меня тяжелым гневным взглядом и процедил сквозь зубы:

— Ишь, какова оказалась внучка! Нашла с кем путаться... Дожить до такого позора!

Бабушка расстраивалась. Я тоже. Едким отвратительным ядом входило в мою жизнь чужое осуждение. И однажды мне так безудержно захотелось освободиться, отмыться от него, как от чего-то нечистого, что я чуть было не рассталась с Федором. Перестала выходить к нему за калитку. А он приходил и ждал.

Но в душе человека столько противоречий, одно чувство, бывает, идет вразлад с другим.

Спустя несколько дней я не выдержала, вышла к Федору. Он ни о чем не спросил. И мы просто молча пошли рядом... Только бесконечное, бездонное, наше с ним небо без слов разговаривало с нами, обнимая, понимая и утешая.

Никогда ни с кем мне вот так не приходилось молчать. Но как легко, как счастливо было от того непринужденного молчания...

Федор работал в совхозной бригаде разнорабочим. Чуть позже — на тракторе. Если прежде он каждую свою зарплату, просто говоря, пропивал, то на этот раз...

Вечером, как стемнело, я долго стояла у калитки, всматривалась в сереющую ленту дороги, нервничала, потом пошла в направлении его деревни, вернулась, вслушивалась — Федора не было. Издевательски немило на этот раз стрекотали кузнечики. Колючими звездами холодно смотрело на меня небо. Тихо, неузнаваемо и неприятно пусто было кругом... Без него. Злой пиявкой всосалась в душу тревога.

Не ухожу. Как же это невыносимо — вот так ждать. Час, больше?..

Вначале я не увидела его, а услышала громкий топот ног. Я знала, что это он. Федор бежал. В темноте он чуть не налетел на меня и резко остановился, прерывисто и шумно хватая ртом воздух. Он был одет во что-то светлое, а на груди по светлому фону — темные пятна.

В недоумении я всматривалась в него:

— Что случилось?

— Да вот, — все еще шумно дыша, со смехом стал говорить Федор, — хотел похвастаться перед тобой. С зарплаты в лавке рубашку купил.

Я протянула руку и потрогала темные липкие пятна на ней.

— Что это?

— Кровь, — рассмеялся Федор. — Думал прийти к тебе в новой рубашке, да не успел. Ухажеры твои помешали. Я-то ничего, а они сдачи получили. Помнить будут. Только кто же так делает: восемь человек на одного...

— Какие еще ухажеры?

— Да все из вашей компании, в какой ты гуляла до меня.

— Что значит гуляла? Мы же так, все вместе, чтобы не скучно было. Без ухаживаний.

— Ты думаешь, я не знаю, — Федор перестал улыбаться и спокойно, серьезно сказал: — Я все про тебя знаю. Нравилась ты там кое-кому. — И, переведя дыхание, явно гордясь, продолжил, словно отчет перед командованием держал после боя: — Я бы с ними справился быстро, и даже с большим количеством справился, если бы спиной было к чему прислониться. Упрешься спиной — и все перед тобой. Тогда уж тебя никто не одолеет. А так окружили со всех сторон. Вот и задержался...

Я не знала, плакать мне или смеяться. Спросила:

— За что они тебя?

— Поджидали. Знали, что к тебе иду. Решили предупредить: буду ходить — прибьют. — И твердо добавил: — Хотели остановить. Не выйдет.

У колодца, набрав в ведро воды, мы застирали его рубашку. Федор сказал, что она бирюзовая. И я представила, как он выбирал и покупал ее, и как радовался, когда шел в ней на свидание.

Сердце щемило. Я попросила:

— Федя, пойдем завтра в клуб.

В течение следующего дня я представляла, как войду с Федором в клуб, держа его за руку перед всеми, не отпуская. Как гордо, смело и с презрением посмотрю в глаза тем... Обязательно посмотрю. И уверенно поклялась себе: «Я буду оберегать Федора, от всякого зла оберегать. И никогда больше не стану стыдиться того, что я с ним!»

Вечером мы с Федором отправились в клуб. Вошли после фильма, когда уже начались танцы. Я держала его за руку. То, что я увидела, было как в замедленном кино. Почему-то все — так мне показалось — словно в каком-то замешательстве, стали смотреть на нас. И они на самом деле смотрели. Удивленно и с интересом.

Я опустила глаза и предательски высвободила руку. Федор, чуть наклонив ко мне голову, тихо спросил:

— Если хочешь, уйдем?

Я, так и не поднимая ни на кого глаз, кивнула. И мы ушли.

Спустя какое-то время Федору выделили комнату в одном из принадлежавших совхозу домов. Он переселился туда и забрал с собой младшую сестру.

— Ладно, я недоучился. А Ленке надо помочь. Там, с моими, какая учеба? Сопьется. А хорошая ж девчонка. Жалко ее.

Меня тронула такая взрослая, мужская забота Федора о сестре. С зарплаты он справлял ей что-нибудь из одежды и обуви. И когда делился или советовался со мной, я радовалась и втайне гордилась своей сопричастностью к этому.

Во время зимних каникул я приехала в деревню с родителями. Желая избежать неприятностей, так как папа у меня, как и дедушка, по характеру суровый, бабушка меня обманула, сказав, что Федора внезапно призвали в армию.

Я догадывалась, что армия — мечта Федора, так как в ней он видел единственную возможность уехать из деревни, где пережил столько унижений. Он часто обращался в Брагинский райвоенкомат с просьбой призвать его. Но безрезультатно. Препятствием стала то ли какая-то врожденная болезнь сердца, то ли условная судимость за драку. Я точно не знала и, чтобы не смущать Федора, не выведывала.

Я заскучала, а где-то в душе и порадовалась за него, а перед отъездом в Минск решила, поделившись своими планами с бабушкой, навестить его сестру, хотя ни разу с нею не общалась.

Федор же, ни в какую армию не призванный, получив от меня письмо с сообщением о приезде, каждый вечер приходил к калитке, на то место, где мы встречались летом. Бабушка, как потом мне призналась, его украдкой высматривала и очень переживала, а на третий вечер не выдержала и вышла со двора к нему.

— Мой жа ж внучек, — сказала она Федору, — Наташка просила передать, что не хочет с тобой встречаться. Ты ж и сам пойми — не по тебе она, Федька. Не ходи сюда болей.

А за два дня до нашего с родителями отъезда бабушка мне во всем призналась.

Вечером я, пока совсем не замерзла, стояла на улице. Федора не было. А наутро бабушка, как бы заглаживая свою вину, сообщила:

— Наташачка, внучечка моя, не переживай. Я с самого рання сбегала да его матки и наказала перадать Федьке, что ты будешь ждать его в шесть часов вечера у калитки.

Я с нетерпением ждала вечера. Шесть часов, семь — Федор не появился. Снова что-то было не так... Обманули, не передали? Или что-нибудь случилось? Уже не испытывая ни страха, ни смущения, я решила немедля сама пойти в Иолчу. И пошла, прошла почти полдороги. И вдруг навстречу мне, по снегу, в одних штанах и майке — он. Опять бегом. Не узнав, пробежал мимо.

Я его окликнула:

— Федор!

И сейчас вижу, как он стоит передо мной на морозе в тапках на босу ногу и отчитывается:

— Я ж не живу с батьками. Матка вот только пришла и сказала, когда я сидел за столом и вечерял. Гляжу на часы — восьмой. Я в чем был, в том и побежал. Слышал, как матка вслед кричала: «Дурны, вернись! Оденься...»

Стоит ли рассказывать о той встрече, о пережитых чувствах? На следующий день я с родителями уехала.

Федор переболел воспалением легких.

А весной, в мае, его в самом деле призвали в армию. Я приехала с ним проститься. В тот единственный вечер шел дождь. И мы укрылись от него в совхозном амбаре, где хранилось прошлогоднее сено. Ворота амбара были широко распахнуты, и через этот огромный проем виднелась темная стена леса, который был близко, за фермой. Федор лежал на сене на спине, закинув руки за голову, и смотрел на меня. Я сидела рядом, выстелив вокруг себя широкий подол своего нарядного платья, и смотрела на лес. Мы молча прощались.

— Я буду тебе писать, — вдруг Федор приподнялся и потянулся ко мне.

Меня этот его порыв взволновал, отозвавшись во мне внезапной горячей волной. Потом он, словно испугавшись, резко откинулся назад.

Федор ушел в армию, так ни разу и не поцеловав меня.

* * *

Я училась в технологическом институте на лесохозяйственном факультете. Правда, отец, не считаясь с моим желанием, перед этим настоял, чтобы я поступала в народнохозяйственный. Но, когда он был в командировке, я, уже успешно сдав три экзамена, забрала оттуда документы.

Папа у меня физик, мама — математик. Узнав о моем желании стать филологом или журналистом, папа категорически возразил:

— Журналисты, как и всякие другие писаки, — болтуны. Гуманитарии — это несерьезно. Что же, раз не захотела в нархоз на финансовый, выбирай самостоятельно профессию, но ставлю одно условие: поступай только в технический вуз.

Выбрала лесохозяйственный. Все же природу я любила. Ни финансистом, ни тем более бухгалтером быть не хотела.

Но хотя я и училась в техническом вузе, иногда писала стихи и рассказы, публикуя их в студенческой газете.

С Федором мы переписывались. Мои письма были длинными, может быть, даже с излишними подробностями. Наверное, так я удовлетворяла свою потребность в творчестве. Писала, словно вела дневник, рассказывая обо всем, что волновало, что чувствовала и о чем думала. Его письма были, наоборот, короткими, крайне лаконичными, написанными мелким неровным почерком. И с ошибками. Федор обычно сообщал, что служба идет нормаль-

но, что жив-здоров и скучает. Содержание каждого его письма я знала прежде чем вскрывала конверт.

Мама была огорчена из-за приходивших на наш адрес писем. Такая переписка, по ее мнению, не делала чести ни мне, ни всей нашей семье. Она ждала, не скрывая от меня своего неприятия нашей с Федором дружбы, когда же вся эта несуразица, наконец, закончится. Как-то мама, недовольно протянув мне очередное письмо, обнаруженное в почтовом ящике — обычно почту я старалась забирать сама, — попыталась меня вразумить:

— Как ты не видишь, что вы — не пара. Вы — очень разные по уровню. Со временем влюбленность проходит, уступая место привязанности, дружбе и духовной близости, которые возможны только при наличии общих интересов. И вот тогда ты почувствуешь, насколько ошиблась в выборе. Пусть он неплохой, но ведь важно, чтобы твой спутник по жизни еще и понимал тебя. Я сомневаюсь, что он будет способен на это. Плюс — гены. Ты уверена, что он снова не станет пить? Тем более, осознав ваше с ним несоответствие, вряд ли он будет счастлив с тобой. Если он не поднимется до твоего уровня — а этого, скорее всего, не произойдет, — то ты опустишься до его.

Мама говорила красиво, не спеша, укладывая слова в тщательно подобранные фразы; непоколебимая уверенность в своей правоте почти всегда исходила от ее слов, когда она меня воспитывала или чему-то учила. Она не советовала, а как истинный педагог, наставляла. И эта ее тихая, неторопливая, сосредоточенная убежденность в том, что она отстаивала, возвышала ее над происходившими явлениями почти в каждой ситуации. Я знала, что она была человеком честным, очень порядочным, требовательным и строгим не только по отношению к другим, а прежде всего к себе, и поэтому свято верила в исключительную справедливость ее доводов.

Я понимала, что мама желает мне добра. И что ей не безразлично, с кем общается ее дочь. Как-то она не выдержала, взяла из ящика моего стола и прочитала письма Федора. Ее покоробила его безграмотность. Больше всего она ценила в человеке знания и образованность. Даже папу — своего бывшего одноклассника — она выбрала в мужья за то, что во время их свиданий он увлеченно решал вместе с ней задачи по математике.

— Тот для меня не мужчина, кто не знает математики и физики, — сказала она когда-то в юности — хоть и с юмором, но правду, — моему папе. И он, после ее слов, чтобы не оказаться недостойным своей одноклассницы-отличницы, в которую с четвертого класса был влюблен, одержимо стал «грызть гранит науки».

Не скажу, что меня совсем не смущали ошибки в письмах Федора и некоторая ограниченность в его способностях выражать мысли. Нет, наоборот. То, каким я воспринимала его во время наших свиданий, и его письма — были разные вещи. Тот, с кем я встречалась, меня волновал и восхищал. Автор же этих писем вызывал во мне странное, противоречивое чувство и... разочарование. Однако негативную реакцию я в себе старательно подавляла, рисуя в воображении картинки будущего: «Деревня... Федор — тракторист, я — лесничая, его жена. Уставший, пропахший соляркой и мазутом, он возвращается домой. Я, радуясь, встречаю его и подаю ему на ужин украинский борщ...» То представляю, как он колет дрова, а я в это время стираю его рубашки. А в холода надеваю телогрейку и повязываю голову цветастым платком. И вижу, что нравлюсь ему... В моем романтическом воображении не было места угасавшим, уступавшим привычке чувствам, а также трудностям, с которыми может столкнуться, живя в деревне, не приученный к тяжелой работе городской человек. Такое мне казалось невозможным.

К концу учебного года недалеко от Минска, в Негорельском учебно-опытном лесхозе я проходила практику. Один из преподавателей — молодой кандидат наук, которому еще не было и тридцати лет, — обратил на меня внимание. Павел Степанович, энергичный и общительный, в придачу ко всему еще хорошо пел и играл на баяне, поэтому свободное от преподавания и научной работы время проводил со студентами.

Я чувствовала, что Павел Степанович относится ко мне не так, как к другим студентам, а более внимательно и уважительно. Он даже устраивал для меня индивидуальные экскурсии, во время которых знакомил с разными типами леса и лесными культурами. Это мне льстило. Особенно когда я замечала, с каким интересом и даже с некоторой завистью смотрели на меня однокурсники.

Иногда я приезжала домой и рассказывала родителям, как проходит практика. Маму информация о Павле Степановиче особенно интересовала и радовала. Она то и дело расспрашивала о нем и просила рассказывать поподробнее.

Я нисколько не была влюблена в своего преподавателя, но мне нравилась реакция на его отношение ко мне окружающих. Чувствовала, как постепенно благодаря этому отношению возрастал в среде студентов и даже в глазах мамы мой авторитет. Каждый человек в той или иной степени тщеславен. Я не была исключением.

По окончании производственной практики Павел Степанович вызвался проводить меня и помочь доставить домой мою тяжелую, набитую книгами, одеждой и другими вещами сумку. Я пригласила его на чай и познакомила с родителями.

Павел Степанович стал у нас дома частым гостем. Дружба, которая так неожиданно завязалась, была, пожалуй, не между ним и мной, а между ним и моей мамой. Он неизменно приносил для мамы живые цветы. Вел с моими родителями любезные и умные беседы. Папе Павел Степанович не сказать, чтобы очень уж понравился, скорее он относился к нему сдержанно. Папа любил взять рюмку и вечерами, после работы, обычно себе в этом не отказывал. А Павел Степанович подчеркнуто вежливо вставал из-за стола, подходил к кухонной раковине и набирал в свою рюмку из крана водопроводную воду.

— Нет-нет, ничего не надо. Я не пью, — говорил он к великой радости моей мамы. — Предпочитаю чистую водичку.

Папа много курил. Причем только крепкие папиросы. «Беломор», например. Павел Степанович не курил вообще.

Летом, в мои студенческие каникулы, родители взяли отпуск, и мы все вместе отдыхали в деревне. Там же одновременно с нами проводила свой отпуск и папина сестра — моя любимая тетя Марина, мама Тани.

С Таней мы иногда ходили в клуб. Хотя я это делала без прежнего энтузиазма, а только для того, чтобы составить компанию сестре. Мне больше хотелось, когда темнело, посидеть возле нашего двора на лавочке, представляя и почти физически ощущая, как по дороге, со стороны Иолчи, идет на свидание со мной Федор.

Мама мне долго сидеть не позволяла. Она словно уже определила для меня совершенно другой, более серьезный статус.

— Наташа. Иди домой. Садись и пиши ответ Павлу Степановичу.

Тетя Марина поддерживала маму. Они обе просто зачитывались длинными, грамотными, выведенными фигуристым изящным почерком письмами Павла, в которых он подробно и чуть ли не художественно описывал свои научные исследования, каждый раз подчеркивая, что готовится к защите докторской диссертации.

— Какой умница, — говорила с восхищением тетя Марина. — Я его не видела, но уже представляю по письмам. Это тебе не Доленюк!

— Мне Павел не нравится, даже внешне, — призналась я.

— Глупенькая, — не соглашалась со мной тетя. — В будущем ты поймешь, что внешность — не главное. Будь он Квазимодо, я бы пожелала такую партию для своей дочки.

Мнение тети, известного и талантливого юриста, было авторитетным.

— Садись за стол, — чуть ли не приказывала мне мама, подавая ручку и бумагу. — Пиши.

И я писала. Не такое, как Федору, а коротенькое, в пять-семь предложений, скупое на эмоции письмо — сухой и холодный отчет о том, что я делаю в деревне.

В клубе ко мне постоянно подходила высокая, крупная, с короткой стрижкой, похожая на мальчишку девушка Аня. Раньше я ее не замечала, вернее, не знала. Она жила в Иолче по соседству с Доленюками.

— Федор тебе пишет? — поинтересовалась она у меня, когда подошла в первый раз.

— Пишет.

— А ты ему?

— Тоже пишу.

— Смотри, жди его.

Мне казалось, что она чуть ли не следит за мной. Аня каждый раз садилась недалеко от меня в кинозале, подходила во время танцев и стояла рядом со мной. Она вела себя, словно парень, и этим смущала меня.

Только спустя несколько лет я узнала, что Федор — ее первая любовь. И до сих пор до щемления в сердце удивляюсь, что без зависти, ревности и эгоизма она с таким искренним рвением опекала, охраняла и оберегала меня для него.

* * *

К началу сентября мы с родителями вернулись в Минск. Павел Степанович, незаметно ставший для нас Пашей, с неизменным постоянством наведывался к нам в гости. Он все так же был внимателен, вежлив и приносил цветы.

Мама всегда была рада ему. Я замечала, что благодаря его посещениям она даже становилась счастливее, чаще улыбалась и смеялась.

— Мама, да он приходит не ко мне, а к тебе. Вот ты с ним и общайся, — сопротивлялась я, когда она пыталась вытянуть меня из комнаты, где я готовилась к занятиям или читала книгу.

— Наташа, но это же неудобно. Он — твой гость. А ну-ка, не упрямься, выходи.

Чем настойчивее и стабильнее он становился своим в нашей семье, тем меньше мне хотелось общаться с ним.

— Ведь это же ты привела его когда-то в наш дом, — упрекала меня мама. — Паша нам очень нравится. А ты поступаешь нехорошо. Нельзя обижать человека.

Я выходила из своей комнаты, присаживалась к столу. Но чувствовала себя отчужденно, с трудом участвуя в общей беседе. Мне казалось, что Павел, разговаривая, слышал только себя. Да и говорил он больше о своем, хвастливо и увлеченно. И мне все чаще становилось не по себе от его многословия.

Выслушав однажды мое мнение о Павле, мама сказала, что я ошибаюсь и упрямлюсь в своем нежелании его понять. Но Павел какой-то другой стороной, совсем не такой, как маме и окружающим, открывался мне. Я интуитивно чувствовала: было в нем что-то не мое, совсем не мое.

Он приглашал нас с мамой на прогулку. И мы иногда гуляли втроем.

— Ой, Наташенька, надень шапочку, а то простудишься. На улице ветер, — предусмотрительно и как-то не по-мужски суетливо обхаживал меня Паша.

Маму это умиляло: какой заботливый мог бы быть у Наташи муж! Мне же его ухаживания были неприятны. В будущем я не раз замечала, что слащавенькая обходительность в манерах, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов при разговоре и многословие характерны для мужчин с женской натурой, немужественных, угодничающих перед более сильными.

Я маму понимала. Она не только желала для меня такого внимательного, образованного и авторитетного мужа, как Павел, но и, возможно, сама для себя находила в нем отдушину. Тем более что папа был суровым, властным, а порою не в меру жестким. Моему брату доставалось меньше, чем мне и маме, ведь, по мнению папы, Сережа — все же мужчина. Это с «бабами» нужно быть построже. Хотя под рюмку он смягчался, становился ласковее, любил пошутить. Трезвого же мы его побаивались и, когда он был дома, больше молчали.

А тут — Павел, непьющий, некурящий, обходительный.

Тот, наверное, и сам почувствовал в маме искреннего своего союзника. И то ли интуитивно, то ли намеренно стал делать на нее ставку: цветы, комплименты, мягко-вкрадчивое обращение... К тому же, что покоряло всех, он хорошо пел и играл на баяне.

И вот в начале весны Павел сделал мне предложение. Письменное предложение выйти замуж я получила и от Федора, у которого в мае должен был закончиться срок службы. «Ответь мне честно и конкретно, — просил он в письме. — Мне нужно определиться. Если откажешь — я останусь в армии сверхсрочно».

Мама вечером, перед тем как лечь спать, сидела на краю моей постели. Строго смотрела мне в глаза. Ждала от меня правильного решения.

— Я не буду считать тебя своей дочерью, если ты выйдешь замуж за Федора, — категорично предупредила она.

Я молчала, словно не слышала. Отстраненно, мимо мамы, смотрела в одну точку.

Впереди ждали бессонные ночи...

* * *

Свадьбу справляли в мае. Пышно. Широко. Один день — в Минском ресторане, и всю неделю — на родине у Паши, в Беловежской пуще.

Отец Павла — главный лесничий. Дед был лесничим. Да и вся их династия из поколения в поколение — лесная. Брат Павла тоже окончил лесохозяйственный, защитил кандидатскую диссертацию. Сам же Паша — молодой доктор наук, накануне свадьбы защитился.

Когда мои родители ему сказали: «Наташе вроде бы выходить замуж еще и рано», он ответил:

— Я вашу Наташу готов хоть десять лет ждать. Но я тороплюсь. Мне уже тридцать.

Перед тем, как подать с Пашей заявление в загс, я написала Федору, что выхожу замуж.

После свадьбы Паша захотел, чтобы мы с ним какое-то время провели в пуще — в деревне у его родителей. В Негорельском учебно-опытном лесхозе, где я прошлым летом проходила практику, у Паши был дом, вернее, ведомственное жилье, предоставленное молодому специалисту. Он сказал, что, когда вернемся, я войду в него хозяйкой.

Свекор, Степан Павлович (у них в роду всё были Степаны да Павлы), возил меня с Пашей на своем уазике по заповедным местам пущи, показывал достопримечательности, в несколько обхватов гиганты-дубы, редкие растения, рассказывал о птицах, диких кабанах и зубрах.

Утром Пашина мама, следуя местному десятидневному обряду, который было принято свекрови совершать над невесткой, надевала на меня фартук, повязывала мою голову платком и брала с собой в работу. Я вместе с ней готовила еду, мыла посуду, ухаживала за домашней живностью и помогала на грядках. Тому, чего не умела, она меня терпеливо учила.

Под вечер мы с Пашей прогуливались по пущанским тропинкам, слушая птиц и любуясь могучими, вековыми, как в старой доброй сказке, деревьями. Мне нравились белесые пески на дорожках, такие же, как и в моей деревне.

Я незаметно начинала привыкать и оттаивать. Думала: «Не так уж все и страшно, не так и плохо...»

Нам, как молодым, выделили отдельную комнату на втором этаже. Мне запомнился вид из окна: на лес и небо...

Я впервые почувствовала к мужу пусть и не любовь, но какое-то доверие и тепло. Там, в этой комнате, когда мы с Пашей уже легли отдыхать, я, глядя в окно на небо, искренне, торжественно, как что-то сокровенное, очень важное для себя и для него, сообщила:

— Знаешь, я выпишусь от родителей и пропишусь к тебе. Я всегда мечтала жить в деревне. Пусть Негорелое — не деревня, а лесхоз, не имеет значения. В лесу мне тоже нравится...

Вдруг Павел резко вскочил, нервно зашагал взад-вперед по комнате и каким-то незнакомым мне, возбужденно-визгливым голосом ответил:

— Я не для того на тебе женился! У меня впереди — серьезная карьера. Мне нужна прописка в Минске.

Неожиданное, холодно-рассудительное и такое меркантильное признание обожгло больно, в одно мгновение уничтожив во мне только-только начинавшую зарождаться душевную близость к нему.

Павел вскоре опомнился, сообразил, что сказал необдуманно, поспешно. Подбери он другие слова — все, возможно, воспринялось бы иначе. Но было поздно! Я отвернулась от него к стене.

...Чуть розовели вершины деревьев, скрывая торопливо закатывавшийся за них шар солнца; их мягкие, нечеткие тени в ленивой дреме с каждой минутой все больше и больше вытягивались, оползая на лесные поляны. Я и Павел, как обычно вечером, прогуливались по пуще.

— Хочешь увидеть вблизи диких кабанов? — спросил у меня Паша.

Конечно, я заинтересовалась. Я не была против того, чтобы взглянуть на агрессивных и опасных для людей обитателей пущи, о которых накануне рассказывал свекор. Меня взбудоражила история, как Степану Павловичу встретившийся по дороге зубр чуть не разбил вдребезги машину. А дикие кабаны, которых я никогда не видела, по описаниям были намного крупнее домашних, и с клыками.

Паша подвел меня к охотничьему вольеру. Глядя на нас, все кабаны, которых за оградой было с десяток, замерли, пока один из них, дернувшись, не развернулся и с громким топотом не помчался в отдаленную часть вольера. За ним, как по команде — все остальные. Деревянное ограждение, к которому побежали кабаны, с грохотом рухнуло на землю. Дикое стадо животных оказалось на свободе.

Я даже не успела испугаться, а только как завороженная смотрела в ту сторону, куда гулко и ошалело, взрывая копытами землю, убегали напуганные до смерти недавние пленники.

Я обернулась — Паши рядом не оказалось. Я увидела его в противоположной стороне от той, куда убегали кабаны, довольно далеко от места, где мы минутой назад еще стояли вместе. У Павла, как говорится, «только пятки сверкали». Муж струсил, оставил меня одну, от страха даже не оглянулся. Я, не двигаясь, с каким-то неприятным брезгливым удивлением смотрела ему вслед.

Он вскоре вернулся, странно улыбаясь, говорил, что пошутил, проверял меня. Я ему не поверила.

— Хорошо бегаешь, — ответила я мужу.

* * *

После двухнедельного пребывания в пуще я и Паша приехали в Негорелое.

Я вошла, как и обещал муж, хозяйкой в состоявший из веранды, коридорчика, кухни и нескольких комнат небольшой кирпичный дом. К дому лепилось несколько пристроек. Метрах в десяти от резного заборчика, ограживавшего двор, находился точно такой же кирпичный дом — научная лаборатория, в которой Павел, молодой ученый, проводил свои исследования. Эти два дома принадлежали учебно-опытному лесхозу и были на то время в полном распоряжении моего мужа.

Сразу же за пределами этих двух участков сплошной стеной стоял лес. Ближайшая деревня находилась в километрах трех. Недалеко от дома была автотрасса, за ней — студенческие общежития и столовая, которые большую часть года пустовали, пока у студентов не начиналась практика. По ту же сторону от трассы — дендропарк с редкими декоративными породами. А за всем этим — опять лес.

На свадьбу ректор нашего института, друг Пашиного отца, работавший с ним когда-то в Беловежской пуще, подарил нам чистокровную лайку, доставленную самолетом из Сибири. Паша поселил ее в будке во дворе.

— Собаке не место в доме, — сказал он мне, когда я привела ее на веранду.

Негорелое мне понравилось еще во время прошлогодней практики. Поэтому новое место жительства я восприняла с радостной готовностью.

Из Минска в выходные дни к нам приезжали родственники, чтобы не только повидаться, но и отдохнуть в лесной зоне как на даче. Самым частым гостем была сестра Паши, Инна. Ее связывало с братом не только кровное родство, но, как мне казалось, необычайная духовная близость. Они подолгу беседовали о чем-то своем, уходя в домик напротив.

Мое появление в жизни брата его сестра не восприняла и со мной не общалась. Я видела, как вытягивалось и без того тонкое и бледное лицо Инны, когда она, разуваясь в прихожей, смотрела на мою обувь. Все новое в доме, что было связано со мной, ее огорчало. Паша даже иногда прятал от

сестры мои вещи. А когда Инна оставалась ночевать, подолгу сидел у ее кровати, гладя по руке, пока та не уснет. Я догадывалась, что, будучи в возрасте и не замужем — Инна на несколько лет была старше меня, — она не могла смириться с тем, что я нарушила ее неделимый, давно устоявшийся союз с братом. По крайней мере, ревностью объяснял ее отношение ко мне Павел:

— А ты будь умнее. Терпеливее. У нее это пройдет, когда выйдет замуж.

Но не только поведение Инны усиливало мое все нараставшее охлаждение к мужу. Ответной ревности или чувства соперничества его сестра во мне не вызывала, может быть, потому, что Пашу я не любила. Хотя сложившаяся ситуация меня унижала.

Более сложным для меня оказалось то, что приходилось быть свидетелем неутомимой, неисчерпаемой говорильни мужа. Постоянно слушая, как он рассказывает о своих успехах, восхищается собой и своей династией, не замечая ничего вокруг, если оно не касалось его лично, я с ужасом чувствовала, что в моем восприятии мира он своим присутствием все обезличивал и обесцвечивал. Я уже заранее знала, что и где он будет говорить. И мне казалось, что его слова заслоняли все настоящее и живое, даже саму жизнь, из которой вытягивает соки любое многословие.

Павел стремился к успеху, не гнушаясь многим. Проводя исследовательские работы на лесных объектах, он привлекал детей из неблагополучных семей, проживавших в ближайшей деревне. Дети, худые и плохо одетые, приходили к нему на работу, чтобы за это сытно поесть.

Однажды, готовя им обед, я открыла закатку с тушенкой из мяса дичи, чтобы заправить ею отваренную картошку. Увидев это, Паша вырвал банку из моих рук:

— Это же пущанский деликатес! Ты что, совсем не разбираешься, кого и чем угощать? — И, сунув мне в руки кусок старого, желтого сала, уже вежливее сказал: — Зашкварь, пожалуйста.

Зато перед теми людьми, от которых он зависел, Паша непременно раскланивался и, прежде чем нанести им визит, набивал вот этими самыми деликатесами свой портфель. Тот портфель, раздутый, деформированный, пропахший всякими вкусностями и полезными лесными травами, я тихо ненавидела. До сих пор не переношу запаха пущанской зубровки и мяса дичи.

Павел, зная о моем увлечении литературой, о неосуществившемся желании стать филологом или журналистом, обратился ко мне за помощью. Разложив передо мной справочную литературу и учебники, попросил популярно написать об одной из лесных культур. Ученому нужны публикации — где-то для чего-то они учитываются. Его статьи по лесоведению, которые он предлагал в республиканский журнал «Родная прырода», то и дело возвращали на доработку.

Я написала. На этот раз статью приняли сразу, без критических замечаний.

Павел с удвоенным энтузиазмом ставил передо мной все новые и новые задачи:

— Теперь напиши про папоротник-орляк.

— Нет уж, хватит, — отказала я мужу. — Мне неприятно видеть свои статьи под твоим именем.

— А кто ты такая? Никому не известная студентка. Ты не задумывалась, почему меня публикуют? Потому что я доктор наук! А с тобой ни в одной редакции даже разговаривать не станут.

Его слова задели меня за живое, хотелось доказать обратное. И я отправилась в «Родную прыроду». Не стесняясь, все еще под впечатлением от нанесенной мне обиды, вошла в кабинет главного редактора журнала Дмитрия

Беспалого. Поздоровавшись, представилась студенткой лесохозяйственного факультета.

— Хочу предложить вам свою статью про папоротник-орляк.

— Зачем тебе этот папоротник-орляк? — удивленно вскинул на меня глаза, оторвавшись от просматривания каких-то бумаг, Беспалый. — Лучше напиши рассказ. Да не про папоротник, а про... например, про зверюшек.

Я вернулась домой, села за письменный стол и за ночь написала рассказ «Папалявалі», описав случай на охоте, который недавно произошел в Негорелом.

Утром снова пришла к Беспалому.

— Написала?

— Написала.

— Рассказ? Так быстро? А ну, покажи.

Я протянула ему набранный на механической машинке текст. Он углубился в чтение. Через какое-то время взглянул на меня:

— Тут дед в твоем рассказе так смачно курит, что и мне захотелось. Можно?

— Курите, конечно.

Беспалый прикурил сигарету, с удовольствием затянулся и продолжил читать. Закончив, испытующе посмотрел мне в глаза:

— Сама писала?

— Сама.

— А если честно?

— Сама. Вы же вчера мне дали задание. Вот за ночь и написала.

— Что я тебе скажу... Если ты серьезно возьмешься за это дело и не будешь лениться, вспомнишь мои слова — из тебя будет толк.

И позвал редактора Виктора Гордея.

— Готовь в ближайший номер.

Таким образом, благодаря Павлу, а вернее, своему задетому самолюбию, я начала всерьез писать.

* * *

Только третий месяц шел, как мы с Павлом поженились, а я все больше ощущала, что в моей душе зреет какой-то разлад. С одной стороны, в ней нарастало беспокойство, а с другой — образовывалась пустота. Люди, весь мир, сама жизнь от меня словно отгораживались стеной. Где-то глубоко внутри высасывала из меня силы тоска.

Оставаясь одна в доме, я смотрела в окно: где-то там, за лесом, еще совсем недавно, у меня была другая жизнь. А теперь ниточкой за ниточку я вплетала в нее что-то совершенно чуждое и немилое. Неужели так будет до самой смерти? Во мне умирала одна «я» и рождалась другая, с разочарованной и завязанной в тугой узел душой.

Купив в Минске на базаре маленького, белого в темные пятнышки котенка, я привезла его в Негорелое. Войдя в дом, радостно сообщила Паше:

— Вот, теперь у нас — еще одна живая душа. Принимай.

Муж, увидев в моих руках котенка, поморщился:

— Держать в доме животных негигиенично. Вынеси его во двор и вымой руки.

Я с трудом уговорила Павла поселить котенка хотя бы на веранде.

— Раз приобрела — пускай живет. Но только, пожалуйста, не трогай его руками.

Я понимала, что мы с Павлом — очень разные, и с возраставшим душевным отчуждением к нему во мне возникло и со временем все больше усиливалось отвращение физическое. И чем сильнее становилось это отвращение, тем настойчивее муж требовал от меня близости. Уступая ему, я чувствовала, как что-то где-то глубоко теплившееся, непознанное, еще не успевшее до конца пробудиться к жизни через это мое смирение ломалось и умирало во мне.

Сестра Паши приехала как обычно в пятницу, накануне выходных. Устав от затянувшейся «холодной войны» между нами, я подошла к ней, как только она появилась на пороге, и протянула руки:

— Давай с тобой родниться.

Спрятав свои руки за спину, Инна отвела взгляд:

— Мы слишком для этого несовместимы.

Паша как-то растерянно, виновато посмотрел на сестру и отозвал меня в сторону:

— Разве ты не видишь, что Инна не хочет с тобой общаться?

— Но если я ей так неприятна, зачем она приезжает к нам? Мне не нравится, что вы постоянно уходите из-за меня в лабораторию.

— В таком случае, ты будь умной, уступи гостье. Чтобы не мешать — взяла бы да и прогулялась. Ты же любишь гулять по лесу.

Мне и в самом деле нравилось здесь, в Негорелом, гулять по лесу. Уходила в лес часто: только бы подальше от дома, подальше от мужа. В лесу я успокаивалась.

Отвернувшись от Паши, я вышла на веранду, взяла на руки котенка и, прижав его к груди, как единственную близкую душу, пошла в лес. Котенок был ласковым, привязался ко мне, привык к моим рукам и не вырывался.

Тогда, в лесу, я чувствовала, что уходила из чужого мне мира в родной. Казалось, что лес без слов разговаривал со мной и, давая свой особый приют, утешал.

Выйдя на лесную поляну, присела среди папоротников и смотрела, как догорает небо.

Темнело. Было прохладно, а я не взяла кофту. Но возвращаться домой не хотелось. Отыскав большую, с широким пологом ель, спряталась с котенком под нею. Присела, прислонившись к стволу. Земля была мягкая, усыпанная хвоей. «Здесь меня никто не заметит, — успокаивала я себя, — ни зверь, ни недобрый человек».

Все же, когда стемнело, мне стало страшно, очень страшно. И холодно. Котенок, наверное, тоже боялся, потому что молчал, никуда не рвался, маленьким комочком замерев у меня на коленях. Сжимала горло обида, гордость не позволяла вернуться домой.

Так, под елью, с котенком, я и просидела всю ночь, пока под утро, когда начало светать, не услышала мамин голос:

— Наташенька-а... Наташа...

Я вскочила и на непослушных, сомлевших от сидения ногах бросилась на голос:

— Ма-ма-а!

Получилось, что мама, как и сестра Паши, приехала к нам на выходной. Дома обнаружила только Инну и Пашу. Подождала меня какое-то время. А когда стало темно, пошла искать. Так и искала всю ночь.

Искал, конечно, и Паша, но...

Наутро у меня открылось сильное кровотечение. «Скорая помощь» забрала в больницу в Минск. Мама поехала со мной. Оказалось — угроза выкидыша, почти три месяца беременности. Врачи предупредили: если лишусь ребенка, то при моем отрицательном резус-факторе могу больше не иметь детей.

Неделю не соглашалась на операцию. Сбивала, скрывая от врачей, температуру. Только когда столбик термометра стал показывать почти сорок, испугалась.

Врачи, уже не спрашивая моего согласия, сказали маме:

— Нужно спасать не будущего ребенка, а вашу дочь. У нее может начаться заражение крови.

После больницы, в августе, я уехала к бабушке, в Прудовицу. Павел приезжал, уговаривал вернуться с ним в Негорелое, но я отказалась.

Родители писали, что он часто бывает у них, переживает, ночует, не снимая одежды, в зале на диване. Уговаривали меня помириться, может, и смириться — Павел все-таки муж, — и вернуться домой. Тем более что вот-вот сентябрь, начало следующего учебного года в институте.

Институт, третий курс дневного отделения... Я понимала, что надо, очень надо ехать. Но ехать не было сил. Силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно за спасительную соломинку, держаться за нее.

С наступлением сентября я получала телеграммы от Павла, письма от родителей. Но под воздействием всего того, что в последнее время так усиленно подавляла в себе и чему теперь позволила вырваться на свободу, я уже не могла подчиняться ничьей воле, кроме собственной. Решила: будь что будет, пусть хоть «мир рушится» — никуда не поеду.

Прошел сентябрь. Наступил октябрь.

Павлу, преподававшему в моем институте, ничего не оставалось, кроме как самому переоформить мои документы и перевести меня на заочное отделение.

В деревню я приехала в августе и сама не ожидала, что задержусь тут надолго, поэтому теплых вещей с собой не брала. Но настолько я чувствовала себя комфортно в бабушкиных бурках, телогрейке, в ее кофточках и платках, так приятно было греться у знакомой до каждой прожилочки и трещинки беленой печки, такую необыкновенную нежность и успокоение обретала моя душа, что хотелось только одного: чтобы все это продолжалось как можно дольше.

Я много гуляла по окрестностям. Выходя за калитку, вначале вглядывалась в серую безлюдную даль дороги, извилистой лентой огибавшей деревню, переводила взгляд на высокие могучие вербы вдоль гати, а потом шла на граничащий с болотами, поросшими осокой и камышом, луг. Дикими непролазными островками среди болот разбрасывался ольшаник. И все это, вечерами сливаясь с сумерками, обволакивала осенняя, тоскливая, в легкой дымке дрема.

Когда в деревне стало возможным спокойно, не торопясь, и самое главное, независимо ни от кого, подумать о своей жизни, я уже не могла и представить продолжения каких бы то ни было супружеских отношений с Павлом. Все, что меня могло ждать рядом с ним, — это пустота. Пустота, не зависевшая ни от множества дел, ни событий, ни планов. Я понимала, что уже не быть нашему с ним будущему. И теперь хотела только одного: как можно скорее

обрести свободу. Уже то, что позволила себе остаться в деревне, было первой, главной ступенькой к этой свободе.

Чем больше моя душа оттаивала для жизни и хотела жить, тем сильнее охватывала ее тоска. Гуляя по знакомым дорогам и тропинкам, я замечала, с какой требовательной настойчивостью возвращала меня в прошлое память. Томясь предчувствиями, я чего-то желала и ждала.

То, что я предчувствовала и чего неосознанно ждала и желала, случилось. Однажды темным октябрьским вечером, это было часов в десять, в дом постучали.

На стук вышел дедушка. Через минуту заглянул в горницу, где я, укутавшись в теплое одеяло, сидя на кровати, читала.

— Какой-то хлопец к тебе. Не знаю в лицо. Пытаецца про Надю, твою подругу. И чего не до Нади пошел, а сюда? Да так поздно? Выйди, поговори.

Заколотилось в груди сердце. Набросив на себя бабушкин платок, я выскочила в сенцы. У распахнутой настежь входной двери на крыльце хаты стоял Федор...

— Матка мне написала, что ты тут, на Прудовице. Давно. И без мужа. Люди говорят, болеешь, — на следующий день, сидя в хлеву на сеновале, куда нас тайком от дедушки провела бабушка, рассказывал мне Федор. — Как получил от тебя письмо да прочитал, что выходишь замуж, — я тогда в столовой сидел, обедал, — так у меня весь этот обед... того, обратно... В глазах потемнело... Все! — Помолчав, он продолжил: — Куда мне было и зачем возвращаться? Здесь у меня ничего хорошего. Написал заявление, чтобы оставили в армии. Работать.

У Федора на щеках заходили желваки. Он закурил. Взглянул на меня, смягчился:

— А как получил от матки письмо, что ты тут, да что тебе плохо, стал просить отпуск. Сказал: очень нужно, что, если не пустят, убегу. Отпустили.

Мы сидели рядом и просто, естественно, не смущаясь, впервые смотрели друг другу в глаза при дневном свете, пробивавшемся сквозь щели в стенах и в приоткрытые двери хлева.

— А про Надьку я нарочно придумал, чтобы отвести подозрение от тебя, — Федор усмехнулся. — Хотя дед у тебя не глупый. Мне показалось, что он что-то смекнул.

— Нет, — ответила я, — дедушка не понял.

Проведя бессонную ночь после того, как вечером, на крыльце мы с Федором взволнованно и коротко договорились об этой встрече, я верила и все еще не верила в реальность происходившего. Да и встретились уже не юноша и девушка, а мужчина и женщина. Правда, я была женщиной, не накопившей в своем опыте ничего, кроме разочарований.

Бабушка принесла и подала нам на вышки по кружке молока и горячие, только из печи, оладьи.

— Не бойтесь, детки. Дед лег отдохнуть. Можно и во двор выйти. Кали что, я предупрежу.

Бабушка, которая раньше была противником наших с Федором отношений, стала нам помогать.

Не сразу случилось то, что уже неотвратимо, по самой естественной логике и законам жизни, должно было случиться. Не сразу и получилось. И я, расстроенная и растерянная, смотрела на вздрагивавшие плечи резко отвернувшегося и севшего ко мне спиной Федора. Минута — и плечи у него перестали вздрагивать. Но он продолжал сидеть ко мне спиной, молча выку-

ривая сигарету. Потом обернулся, сузив глаза, посмотрел на меня. И я почти не дышала под его тяжелым и жестким взглядом.

— Не думал, что достанешься мне после кого-то, — сказал он, поморщившись, таким тоном, словно хлебнул из тарелки остывшего вчерашнего борща. — А я ведь тебя берег. Не тронул. Жалею теперь, что не тронул. Что не я — первый.

— Ты же знал, что я замужем.

— Знал... — процедил он сквозь зубы. — Но не думал, что трудно будет переступить через это...

Мы с Федором встречались ежедневно. Гуляли в лугах. Ходили к застекленному холодной, осенней, прозрачно-стальной серостью Днепру. Жарили на костре сало и пекли картошку. Срывали с почти голых, с облетевшей листвой кустов дикую подмерзшую ежевику.

В ноябре выпал снег. Я одевала большое, не по размеру, старое бабушкино пальто.

В стогах Федор выгребал, ловко обустраивая, уютную норку, после чего коротко командовал:

— Залазь.

Удивительно заботливая властность этого человека странным образом действовала на меня. Я послушно, покорно, испытывая даже наслаждение от этой своей покорности, с его помощью пробиралась внутрь, после чего забирался, пристраиваясь рядом, и он сам, слегка замаскировывая, закрывая выход сеном. Так мы грелись.

Конечно, я переживала. Точило, разъедало душу понимание собственного греха. Мысленно вставала перед глазами строгая, целомудренная, всегда крайне порядочная мама. Возникал страх перед отцом. В эти минуты я начинала казаться себе очень плохой.

Но когда рядом со мной был Федор, и я смотрела на него, то чувствовала себя просветленной и счастливой, пожалуй, самой счастливой на свете.

Шли дни. У Федора заканчивался отпуск, а мне в любом случае уже было пора домой, тем более что до дедушки стали доползать слухи, чем занимается в деревне его внучка. Оказывается, даже у поля и у ветра есть уши и глаза...

За день до отъезда (Федора — на службу, а моего — в Минск) мы договорились провести нашу единственную — первую и последнюю — ночь вместе, в его хате на чердаке.

Чтобы было в чем мне ехать домой, мама прислала теплую одежду. Несколько летних вещей легко вошли в небольшую дорожную сумку.

Я попрощалась с дедушкой и бабушкой и якобы отправилась на станцию к вечернему поезду.

Бабушка проводила меня за калитку, и мы вместе подошли к поджидавшему у двора Федору. На улице было темно, на что мы и рассчитывали. Только так можно было оставаться незамеченными. Федор взял из моих рук сумку.

Бабушка на прощанье обняла и поцеловала меня, погладила по руке Федора:

— Глядите ж, мои детки. Только аккуратненько.

По приставной лестнице со стороны сада мы взобрались на чердак. Федор там уже заранее все подготовил: настелил сена, принес теплое одеяло, фонарик.

Не успели мы расположиться, как из хаты, услышав шум, выбежала мама Федора:

— Ты что это надумал, сынок? Иди зараз же в хату!

— Я перед дорогой хочу подышать воздухом, мам. Буду спать на чердаке.

— Яки яшчэ воздух в таки мороз?

Она возмущалась, на чем свет ругая сына. Но Федор, негрубо отругнувшись, сказал твердо, что он так решил. Затаившись, я тихонько, боясь дышать, сидела, держала его за руку и слушала.

Наконец его мама смирилась, сходила в хату, взяла еще одно одеяло, вернулась, поднялась по заскрипевшей лестнице и со словами «Дурны! Вот дурны!» забросила его на чердак.

Я еще не знала, не догадывалась тогда, на чердаке, что все пережитое, увиденное, прочувствованное той ночью останется навсегда горячим и цельным потрясением во мне. Нет, не плотская красота и наслаждение изумили меня, а то простое тепло жизни, которое легко, незаметно до самых сокровенных глубин наполнило меня.

Движения его рук были сдержанны. Но как откликалось и вторило все естество, сама душа моя этим рукам. Прижимая меня к себе, он то и дело проверял, как я укрыта, натягивая, подворачивая и подтыкая, чтобы не замерзла, под меня одеяло.

Утром, только рассвело, мать Федора отправила старшего сына проверить, живой ли их «дурень» и что заставило его ночевать на чердаке.

Таким образом, нас обнаружили. Позвали — сказали спуститься обоим — в хату.

Федор помог одеться, застегнул, одернул и отряхнул на мне платье. А я не сводила с него глаз. Каждое его движение было уверенно и неспешно. Он словно подчинял меня себе. Я никогда раньше не догадывалась, как приятно бывает просто слушаться. И больше не боясь ничего, счастливо доверялась той спокойной силе, терпению и заботливости, которые исходили от него — от человека, как я теперь знала, беспокойного, нетерпеливого и страстного. Все глубже и шире он открывался мне, и благодаря этому где-то далеко-далеко, казалось, за пределами самой жизни, остались, растаяли и забылись все нанесенные прежде судьбой раны.

Мы спустились в хату, где нас уже ждали чай и только что отваренная, дымившаяся над открытым чугунком вкусным паром картошка. К моему удивлению, отец и мать Федора были мне рады, приняли, словно свою, и отправили погреться на горячую печь. И несмотря на то, что в хате было бедно и не совсем чисто, я себя чувствовала как дома, и было мне среди этих людей уютно и спокойно.

— Я знаю, знаю, Федька давно любит тебя, — говорил мне его отец. — Правильно, увози, забирай ее, сынок.

Федор, приложив палец к своим губам, показывал мне: молчи.

Никто в тот день в его семье не притронулся к спиртному.

А вечером мы разъехались: я — в Минск, а Федор — к себе в часть, в Подмосковье.

* * *

Несмотря на то, что, прощаясь, Федор сказал мне: «Разводись с мужем», я этого не делала.

Подождать, подумать, дать пройти времени, чтобы не смеялись люди, попросил меня Паша. «Да и как на это, — переживал он, — отреагируют в институте?» Родители, хотя теперь и не выражали прежнего сочувствия к Павлу, тоже советовали не торопиться, а сосредоточить все свое внимание на учебе, которую я запустила.

При встрече Павел, подойдя ко мне, в неприятно поразившем меня волнении протянул, пытаясь обнять, руки, но я решительно и с таким откровенным отвращением отстранилась от него, что он все понял.

Я стала жить у родителей, Павел — у себя в Негорелом.

Почувствовав облегчение от обретенной вдруг свободы, я не придавала большого значения тому, что все еще состою в браке, считая развод формальной процедурой, всего лишь отложенной на время.

Учась на заочном отделении, устроилась на работу по специальности, в лесоустроительное предприятие.

Втайне, «до востребования» — чтобы не огорчать маму, — переписывалась с Федором.

Дни в плавном однообразном спокойствии сплетались с ночами, и потекли недели, месяцы...

Главной причиной, мешавшей мне принимать серьезные, касавшиеся моей дальнейшей жизни решения, была проблема со здоровьем. После больницы и того, что в первые месяцы после замужества произошло, я, истаивая изо дня в день, все больше и больше худела.

Еще в деревне Федор, оглядев меня с ног до головы, не скрывая своего разочарования, словно плетью ударил: «На кого ты стала похожа... Тебя ж почти не осталось. А какая раньше девка была!» И, увидев, как я застеснялась, расстроилась, опомнился: «Ну, ничего. Ты все равно красивая».

Врачи мне ставили нейроциркуляторную дистонию, иными словами, истощение нервной системы, однако продолжали обследовать — искали более серьезные причины такой непонятно почему прогрессирующей потери в весе.

Прошла зима. Я успешно сдала сессию. А весной над моей родиной полыхнул Чернобыль. Шел 1986 год.

Замелькали, переполошились в заботах будни. Мы с родителями, и многие другие люди, принимали в свои квартиры и дома эвакуированных земляков. Особенно молодых, с маленькими детьми, и беременных женщин. Заполнило собой, отвлекло от личных проблем большое общее горе.

В переполненных санаториях, профилакториях, домах отдыха — всюду растерянные, взволнованные, не знающие своей дальнейшей судьбы такие родные, такие близкие, со знакомым полесским говором люди.

И я, сколько ни пытаюсь сегодня что-нибудь еще вытянуть из памяти о тех днях от весны до осени 1986-го, ничего, кроме этого общего горя, не помню.

Весной, когда в близлежащих к Чернобылю районах отменили ограничения на спиртное, до этого выдававшееся по карточкам, сорвалась после вынужденной трезвости, как говорили, «сгорела от водки», мама Федора. Летом умерла, не выдержав отселения из родной деревни, вырастившая мою маму и ее брата их тетя Наталка. А осенью мы всей семьей больше недели искали, а потом выхаживали искалеченную, изнасилованную бандитами-мародерами или солдатами, мою бабушку. Такое случалось в районах добровольного отселения, где на то время почти не осталось молодых женщин.

В тот год, хотя меня и ругали за это родители, я часто бывала на родине и, любя ее по-новому, почти исступленно, молила Бога об одном: чтобы моя земля, без которой не представляла себе жизни, не стала «зоной отчуждения».

К концу октября я весила около сорока килограммов и уже едва переставляла ноги. Врачи заговорили о немедленной госпитализации.

Перед тем как лечь в больницу, получила письмо от Федора, которое отличалось от предыдущих по настроению и содержанию. В письме Федор спрашивал, собираюсь ли я разводиться с мужем, согласна ли, чтобы он приехал и увез меня с собой. Просил ответить сразу же, как только прочту письмо, срочно и честно.

Я привыкла к его письмам, коротким и спокойным. Будучи уверенной, что он любит меня, не задумывалась о быстротечности и мстительном коварстве времени.

Встревоженная таким письмом, я показала его маме.

— Вначале нужно выяснить, что с твоим здоровьем. И обязательно подлечиться, — участливо советовала мама. — Поверь, Наташенька, ни одному мужчине не будет нужна больная жена.

Я понимала, что в том состоянии, в каком нахожусь, никуда не смогу уехать. И, не отвечая на письмо, легла в больницу.

К счастью, все оказалось не так страшно, и уже к Новому году я пошла на поправку. Как выяснилось, в моем организме произошли серьезные сбои, и причиной тому были нервы.

Успешно сдав зимнюю сессию, успокоившись и все обдумав, я решила к Дню Советской Армии сделать Федору сюрприз.

Мой на три с половиной месяца задержавшийся ответ был кратким. Я написала, что подаю на развод. А двадцать третьего февраля, в его профессиональный праздник, сама приеду к нему. И что согласна выйти за него замуж.

На этот раз мама отнеслась к моей предстоящей встрече с Федором с сочувствием. Я даже в дороге ощущала ее трогательное участие.

Провожая меня на вокзал, она сказала:

— Ты, Наташенька, что бы там и как ни сложилось, главное, не переживай. Тревожно мне за тебя.

И рассказала мне сон, который видела накануне.

— Приснилось, что Федор встретит тебя. Хорошо встретит. Но признается, что женат. И ты, несмотря на то, что собралась к нему на три дня, узнав об этом, обменяешь обратный билет и уедешь.

Я рассмеялась:

— Мамочка, ты же никогда не верила в сны. А то, что тебе приснилось, — быть такого не может!

От автостанции небольшого районного городка, куда я добралась автобусом из Москвы, уточнив, в каком направлении деревня, где располагалась нужная мне воинская часть, пошла пешком.

Остался позади городок. По обе стороны дороги, по которой я шла, стоял, кутаясь в белоснежные кружева зимы, лес. От снега, игольчатого и рыхлого, тяжело нависали над дорогой ветви елей. Весело прыгали по сугробистым пышным обочинам солнечные зайчики. Казалось, сама природа ликовала, радовалась моему приезду. Я смело, решительно и легко, не чувствуя под собой ног, спешила к своему счастью.

Вдруг впереди меня остановилась ехавшая во встречном направлении военная машина. Из открытого кузова спрыгнул и направился ко мне мужчина в шинели и армейской шапке на голове. Радостью горели его глаза.

— Пешком ходишь? — приблизившись, приглушенным басом спросил Федор и рывком притянул меня к себе.

Он посадил меня в кабину рядом с водителем, сам же взобрался обратно в кузов.

— Пока отведу тебя к сестре, — сказал он мне, когда мы вышли из машины. — Она тебя покормит. Ты у нее погуляешь, подождешь меня, пока я освобожусь. Служба, она и в праздники служба.

Я шла следом, любуясь, какой он высокий, широкоплечий, сильный... Мой мужчина.

Тогда, доверчиво следуя за ним по военному городку, я в полной мере ощущала, что значит быть счастливой.

Давно, еще в деревне, мне рассказали, что друг Федора Василий, с которым они вместе служили в армии, зная, как тот переживает за сестру, стал с ней переписываться. Меня удивило, что, ни разу не встретившись с Леной, представляя ее внешне только по фотографии, Василий взял ее в жены. В тот день, когда он приехал за ней в Иолчу, односельчане не остались в стороне — каждый, что мог, принес в дом Доленюков. Кровати застелили чистыми покрывалами. Но Василий, не оставаясь ночевать, увез Лену с собой.

Жили они хорошо, даже более чем хорошо — славно.

Уже предупрежденная Федором, Лена встретила меня, держа на руках годовалую дочку.

И тогда, оставаясь на время у нее, листая предложенный ею альбом с фотографиями, я вдруг оценила, какой может быть мужская дружба. И про себя подумала, что если Василий, общаясь с Федором, так поступил, то каким же человеком должен быть сам Федор?

Гордость за него, за Василия, за Лену сдавливала волнением горло. Как ясно и хорошо было на душе оттого, что я, наконец, сделала свой выбор.

Тепло, просто, словно с родным человеком, общалась со мной Лена. И так непохожа она была на сестру Павла, Инну.

Вечером, когда стало темнеть, подошли Федор и Василий. Лена налила им в тарелки борщ. Я сидела на диване в их единственной, служившей одновременно залом, спальней и столовой комнатке и смотрела, как ел Федор. Лицо у него было суровое, сосредоточенное. Глядя в тарелку, даже не бросив ни единого взгляда в мою сторону, как будто меня и не было, он жевал медленно, гоняя под скулами комки желваков.

Поужинав, поблагодарил сестру и, по-прежнему не глядя на меня, подхватил на руки племянницу. Незнакомой мне раньше нежностью осветилось в этот момент его лицо. Девочка притопывала у него на коленях, ухватившись своими маленькими ручками за его огромные темные ладони, и радостно смеялась. Потом подергала его за усы. Федор, в шутку пытаясь ухватить ее губами за пальчик, улыбался. И я в этот момент подумала, как же, должно быть, этот грубый и суровый на вид человек любит детей.

Наигравшись, он опустил малышку на пол и прямо, в упор, посмотрел на меня:

— Ну что, заскучала?

Он поднялся, тут же, у двери, с вешалки, прибитой к стенке, снял мою шубу и подошел ко мне.

— Пора, пойдем.

Я тепло поблагодарила Лену, и, попрощавшись с нею и Василием, мы с Федором вышли на улицу. Было темно. Федор придерживал меня за руку. Под ногами особенно громко в морозной тишине скрипел снег. На безмолвно глядевшем на нас далекими недоступными звездами ночном небе горел тоненький месяц. Я, идя рядом с Федором, с удовольствием, бесшумно глотала морозный сухой воздух — воздух нового и еще не постигнутого до конца счастья.

Федор привел меня в пустую казарму. В огромной комнате стояло много кроватей. На одной из них, с краю, лежала постель и аккуратно сложенное суровое солдатское одеяло. Федор снял с меня шубу, отвел, посторожив у двери, в тоже большой по площади и не совсем уютный и удобный мужской туалет.

Вернувшись к нашей солдатской кровати, он выложил из кармана на тумбочку зажигалку и сигареты, снял с руки и положил рядом часы. Зажег свечу, взятую у Лены, и выключил электрический свет.

Мы сидели на кровати, не раздеваясь. Я повторила то, о чем до этого сообщила в письме:

— Федя, я все решила. Я буду твоей женой.

Молча, не глядя на меня, он курил.

Я привыкла, мне это даже нравилось в нем, что он мог молчать. Но чтобы так? И тут я в жалком отчаянии вдруг вспомнила мамин сон...

Федор курил одну сигарету за другой. Я смотрела на него и ждала. Ждала, когда он это скажет.

Наконец он сказал... просто, обыкновенно, не подыскивая особых слов, не оправдываясь и не юля:

— Я женат.

Какое-то время после этого мы так и сидели, молча, рядом, не глядя друг на друга.

И вдруг Федор, словно опомнившись, повернулся ко мне, попытался меня — оцепеневшую, непослушную — обнять.

— Хорошая моя, ты единственная, кого я люблю. Я даже встречаться ни с кем не мог, потому что каждую из них, забывая, называл Наташей. А тут сверхсрочно остался. Жить на квартиру перешел к бабке одной. А у нее — дочь Наташа. Не знаю, как получилось. Влюбилась она в меня. Да и живой же я!

Федор замолчал, вытянул из пачки очередную сигарету, опять закурил. Посмотрел на меня:

— А ты — замужем... Короче, забеременела она. Сказала мне. — Федор снова затянулся сигаретой. — Я тогда тебе письмо написал, осенью, помнишь? Думал, если ты ответишь «да», признаюсь Наталье, скажу, что ее не люблю, чтобы сделала аборт... Поеду, тебя заберу, куда-нибудь переведусь. Но ты не ответила. — Федор курил и курил. Таким и запомнилось мне его лицо в ту ночь — подсвеченное горячим огоньком сигареты. — Я все тянул... тянул... Ждал от тебя ответа. А там — уже шесть месяцев почти... Только за неделю до твоего письма и женился.

И словно угадывая наперед мои мысли, то прижимая, то отстраняя меня от себя, чтобы заглянуть мне в глаза, говорил:

— Никуда я тебя не отпущу. Отведу к Лене, попрошу, чтобы сторожила, пока не вернусь с работы. Не уезжай. Слышишь, не уезжай, Наташка.

Я уехала. Рано утром. В Москве, на Белорусском вокзале, сдала обратный билет и купила на ближайший поезд, как и приснилось маме.

* * *

Теплым майским днем, когда цвели сады и нежной листвой зеленели деревья, Федор, будучи в отпуске, приехал в Минск и пришел ко мне на работу, в лесоустроительное предприятие. И пока я, волнуясь и не совсем отдавая отчет своим действиям, оформляла неделю за свой счет, ждал меня неподалеку в сквере.

На следующий день мы были на Витебщине, где знакомые помогли снять в деревне маленький заброшенный домик, в котором уже год, после того как умерла хозяйка, никто не жил. Сделав уборку, мы провели в нем несколько дней...

Еду готовили в печи. И я, по какой-то злой иронии судьбы, наяву могла наслаждаться картинками из своей несбывшейся мечты, с тоскливой завистью наблюдая, как умело он укладывал дрова, растапливал печь и ловко ставил в нее чугунки. Я видела его таким, каким когда-то мечтала видеть, и понимала, что все это мне не принадлежит.

В мае, незадолго до того как он приехал в Минск, у него родилась дочь Яна. Когда, узнав об этом, я спрашивала, как он мог оставить жену с маленьким ребенком и вот так отправиться в отпуск, Федор тут же, не отвечая, нервничал, хмурился и начинал курить.

Перед отъездом он сказал:

— Хочу навестить батьку, сходить на кладбище — к могиле мамы. Поедем вместе.

Наша станция Иолча по маршруту Чернигов—Янов после аварии в Чернобыле уже больше года была последней. Дальше — мертвая зона. Только специальные поезда продолжали следовать в прежнем направлении, доставляя на Чернобыльскую атомную и обратно работавших там людей.

Я и Федор шли от станции в Иолчу. У него в одной руке — две небольшие наши с ним сумки, в другой — моя ладонь. Мы чуть приотстали, пропустив вперед приехавших с нами одним поездом людей, которые, разбившись на группки, шли в направлении поселка. По полю от станции вилась широкая, утоптанная и разъезженная в две колеи дорога. Вдалеке виднелись выстроенные в ряд знакомые, все такие же, какими я их видела в детстве, высокие осокори. Мимо меня и Федора в сторону станции проехал велосипедист. Кто-то обогнал нас на мотоцикле.

Я нервничала.

Осталось позади поле. Мы вышли на широкий, подбитый с двух сторон зарослями молодой, но уже набиравшей силу полыни, в белесой россыпи песков шлях. Я заметила, что навстречу нам бежал человек. Не быстро бежал, тяжело, чуть спотыкаясь. Я почувствовала в руке Федора напряжение:

— Батька...

Запыхавшись и прерывисто дыша, отец Федора остановился перед нами.

— Мне сказали, что Федька мой от станции идет... С женой приехал. Вот и побежал встречать.

Невысокий, худой, расправляя на груди взмокшую от пота рубашку, расстегнутый ворот которой открывал коричневую, в морщинах, шею, он смотрел на нас удивленными, выцветшими глазами, в растерянности переводя взгляд с сына на меня.

— Ну, здравствуй, отец. Вот и встретил. К тебе идем, — спокойно сказал ему Федор.

— Бачу, бачу. И что не жену за руку ведешь, тоже бачу.

Два дня мы провели у отца Федора. Когда темнело, прячась от людей, бродили по окрестностям, но больше, по моей просьбе — по Прудовице. Близко и, казалось, так недосягаемо далеко была родная хата, где светилось окно, и никто за этим окном не знал, с какой тоской смотрела на него и не смела зайти на огонек внучка.

— Пока нет ребенку двух лет, военному развод не дают, — говорил Федор, когда мы, как и в прошлый раз, в Чернигове, на перроне, в ожидании

каждый своего поезда, прощались. — Через два года я разведусь и женюсь на тебе. А до этого все равно можно жить вместе.

Я слушала Федора, а сама была уверена: не переступить нам через его ребенка — его маленькую Яну. Никогда не простит он себе этого. И мне тоже. Тем более, что детей он любит, очень любит! Вспомнив, какая нежность разливалась по его лицу, когда притопывала у него на коленях и радостно улыбалась ему маленькая племянница, ответила:

— У тебя есть Яна, Федя. Ты не сможешь спокойно жить, если бросишь дочь. — И не зная, смогу ли я сама в будущем иметь детей, добавила: — А меня — возненавидишь.

* * *

Человеку, как бы ему тяжело ни было, когда он принимает решение, становится легче. И если он решается закрыть одну дверь, перед ним открывается другая.

Вернувшись в Минск и определившись в своих будущих поступках, я почувствовала, что, наконец, разжали свои когтистые объятия, отпустив на свободу мою душу, сомнения и тревоги.

Спокойными жаркими днями догорало лето, когда в лесоустроительное предприятие пришел устраиваться на работу молодой симпатичный парень. Окинул меня взглядом больших и добрых светло-серых глаз, представился Володей и предложил встречаться.

С Володей было общаться на удивление легко, казалось, что мы уже давно знали друг друга. И о чем бы ни заходил разговор, ни разу никто из нас не попытался показать себя с лучшей стороны, как это обычно происходит на первом этапе знакомства. Мы много, от души смеялись. Ни до, ни после тех августовских дней я больше так не смеялась. И эти непринужденные, не обязывавшие ни к чему встречи и беседы, незаметно становясь для каждого из нас ежедневной потребностью, успокаивали и расслабляли. Общаясь с ним, я совсем не испытывала напряжения.

Володя рассказал, что отец у него — алкоголик. Мама — без образования, даже читать не умеет. Но она у него хорошая, добрая, работает на стройке. Сестра есть, на год младше. И признался, что судим, недавно освободился — три года отсидел за драку. Подрался с хулиганами, вымогавшими деньги. Но был тогда пьяным. Не обошлось без «скорой помощи» и милиции. Хулиганы оказались детьми высокопоставленных родителей. А Володя...

Эту историю я описала в рассказе «Подсудимый», который после и опубликовала.

Возможно, именно своей неустроенностью, неблагополучием в семье Володя мне напомнил Федора. И хотя Федор был угрюмым, молчаливым, цыганисто-смуглым, а Володя — открытым, улыбчивым и добрым, а внешне — блондинистым и светлокожим, эта горестная похожесть судеб в моей душе роднила их и объединяла. И я испытывала к Володе симпатию и сочувствие.

Иногда Володя приходил сильно выпившим. И я поняла, что с этим у него тоже проблема. Как и в случае с Федором, мы принялись ее решать. Получилось. Долгие годы придерживался Володя сухого закона.

Через месяц после знакомства Володя предложил выйти за него замуж.

Я не стала скрывать от него историю своей, не совсем удавшейся личной жизни и, ответив на его предложение согласием, оговорила условие: прежде чем подать заявление в загс, я съезжу проститься с Федором.

Через два дня, провожая меня на московский поезд, Володя уговаривал пассажиров подвинуться, сесть потеснее, чтобы высвободить для меня место в общем вагоне.

* * *

Мы с Володей поженились.

Я успешно окончила институт, хотя и не обошлось без неприятных моментов. Руководитель моей дипломной работы, профессор Леонид Смоляк, решил как коллега морально поддержать Павла и со словами: «Что, порядочные не нравятся? Непорядочные будут морду бить», — демонстративно, на глазах у членов комиссии, во время моей защиты покинул аудиторию.

Я не растерялась и не расстроилась. И, уверенно держась перед членами комиссии, несмотря на уход моего руководителя, защитила диплом.

Как раз «непорядочные» мне «морду не били». Я успокоилась, постепенно набрала в весе и, удивляясь, что с кем-то может быть настолько легко и спокойно, называла Володю своими «валерьяновыми капельками».

Володя, по характеру «ведомый», стал, можно сказать, «моей тенью». Уступчивый, почти полностью лишенный эгоизма в отношениях с теми, кто ему дорог, увлекающийся интересами и успехами близких ему людей, для меня, выросшей в семье, где мужчины были довольно властными и жесткими, он стал настоящей отдушиной.

Родители, которые вначале были шокированы моим выбором — надо же, снова бывший уголовник и пьяница! — тихо за меня радовались.

Володя воспринимал меня чуть ли не как богиню. Узнав, что я когда-то, в школьном возрасте, играла на аккордеоне, он, объездив магазины по продаже музыкальных инструментов, принес мне в подарок баян:

— Вот, Наташка, я хочу, чтобы ты играла. Аккордеона нигде не нашел. Но я уверен, ты справишься.

Мне ничего не оставалось, как ему на радость освоить и баян.

Володя очень гордился тем, что я играла. И когда у нас бывали гости, всегда торжественно подносил и ставил мне на колени инструмент.

— А сейчас Наташа вам что-нибудь исполнит.

На улице он подкармливал птиц, бездомных котов и собак. И я не знала никого, чью душу настолько бы сильно и глубоко терзала, не давая покоя, жалостливость.

Единственным недостатком, который я в нем видела, была леность. Часто меняя место работы, где каждый раз его что-нибудь разочаровывало, он делал довольно длительные перерывы и, днями оставаясь дома, углублялся в чтение книг.

С этим я ничего не могла поделать, да и особо не огорчалась, так как материальных проблем у нас не было. Я открыла свой бизнес, связанный с фитодизайном, и оформила Володю мастером. Как человек настроения, он то увлеченно работал, то периодами, затягивавшимися на месяц и больше, так же увлеченно читал, без смущения, как будто в этом было что-то естественное, позволяя содержать себя.

Но он был так добр ко мне, так искренне радовался каждому моему успеху, что я чувствовала себя сильной рядом с ним, все больше и больше раскрепощалась и познавала себя новую. Именно благодаря Володе я избавилась от годами изводивших меня неуверенности в себе и необщительности. Я стала вести деловые переговоры, давать интервью на радио, сотрудничать с прессой и телевиде-

нием. Даже однажды режиссер и ведущий Владимир Довженко в своей популярной спортивной программе «Асілак», которую я как фитодизайнер оформляла, представил меня телезрителям: «Самая обаятельная женщина Беларуси». Это я-то обаятельная, которая до встречи с Володей почти всегда сторонилась людей?

До сих пор не сомневаюсь, что именно благодаря душевному участию и чуть ли не слепой, одержимой вере в меня этого человека я стала успешной и известной в республике «бизнес-леди».

* * *

Шел третий год нашей с Володей невероятно спокойной, без эмоциональных вспышек и потрясений, семейной жизни. Ни притирок характеров со страстными ссорами, выяснениями отношений и перемириями, ни ревности...

Говорят, удобная обувь та, которую при носке не замечаешь, не чувствуешь. Присутствия Володи я словно и не замечала, мне было — не нахожу более точного слова, чтобы выразить свои ощущения, — комфортно рядом с ним. Комфортно настолько, что естественно возникавшая при этом душевная леность не позволяла мне тогда это его присутствие хоть как-то оценить.

Во время поездок в Прудовицу Володя, искренне принимая душой все, что мне было дорого, не переча и не уставая, ходил вместе со мной моими любимыми тропками, слушал птиц и кузнечиков и, терпеливо составляя мне компанию, правда, без особого энтузиазма, так как побаивался темноты, смотрел на ночные звезды.

Местом, куда влекло чувство ностальгии, был и клуб. Однажды, придя туда, мы с Володей стояли у стены, наблюдая за танцующими. Это было уже какое-то другое, совсем непохожее на наше, а может, так только казалось, поколение. Но в лицах подростков угадывалось то же, свойственное лишь юности, трепетное волнение. Тот же зал... Такие же, затертые от ног танцующих, деревянные половицы. Те же окна с широкими подоконниками, пестревшими сброшенными разгоряченными танцорами пиджаками и кофточками.

Только уже не те лица, которые так хотелось увидеть... Не та музыка... И мы с Володей — чужие сторонние наблюдатели.

— Здравствуй, Наташа, — вдруг передо мной возникла, не скрывая радости ни в глазах, ни в голосе, крупная, высокая, мужеподобная Аня, та Аня с Иолчи, которая когда-то стерегла, оберегала меня для Федора. — Что ты тут делаешь? Когда приехала?

Я тоже обрадовалась, никак не ожидала встретить ее в клубе.

— Познакомься, Аня, это мой муж, — представила я Володю. Рассказала, что приехали на несколько дней, да вот, захотелось пройтись, посмотреть на сегодняшнюю молодежь.

— А ты что тут делаешь? — задала встречный вопрос Ане.

Она, ничуть не смущаясь, ответила:

— А я девка-вековуха. Не замужем. Вот и хожу до сих пор на танцы, — Аня рассмеялась и пристроилась возле нас у стены.

Какое-то время мы молчали, глядя на танцующих, пока Аня, наклонившись ко мне, тихонечко не спросила:

— Ты что-нибудь знаешь о Федоре?

— Нет. Три года почти, как мы с ним не общаемся.

И тут Аня камнем обрушила на меня новость, которая не просто на время потрясла меня, а в течение полугода выжигала, вымучивала, не позволяя хоть иногда забыть о ней, душу.

— У Федора горе. Недавно под колесами грузовика у него на глазах погибла дочка.

— Яна? — спросила я, с ужасом ощущая, как меня охватывает оцепенение.

— Да. Он с женой, и девочка была с ними, провожали воспитательницу. Яна так захотела. Она очень любила свою воспитательницу. А та была у них в гостях, с женой Федора дружит. Взрослые заговорились и не заметили, как Яночка выронила мячик, и тот выкатился на дорогу...

После того, как Аня сообщила печальную новость о Федоре, я нуждалась в общении с ней, как нуждаются в общении с очень близким и родным человеком. Эта душевная приязнь, желание находиться рядом, особенная, которая возникает только между давно и хорошо знающими друг друга людьми, доверительность были взаимными.

Теперь каждый последующий день, проведенный в деревне, мы с Володей приходили к Ане домой. Ее мама угощала нас домашним молоком и румяными, из печи, «оладками».

В Минск мы приехали вместе с Аней. Она с радостью приняла приглашение погостить и посмотреть город.

В моем фотоколлаже по сей день находится снимок, который мы сделали в те дни в минском фотосалоне: стоим я, Володя, а между нами, на стульчике — Аня.

С тех пор мы с Аней не виделись. У нее умерли родители, и она куда-то далеко уехала. Говорили — на Север.

В течение полугода после того, как Аня сообщила о гибели Яны, мою душу ела, так неожиданно возникнув в ней и вытеснив собой всякую способность спокойно, а уж тем более радостно воспринимать жизнь, тоска. И это тяжелое, гнетущее чувство, свое подавленное душевное состояние я не скрывала, да и не могла скрыть от Володи. Хотя и понимала, что так, как я, поступают люди, которые думают только о себе. Так поступают эгоисты. Володя же эгоистом не был.

— Что ты, Наташка, мучаешься, — сказал он однажды веселым, подбадривающим голосом, — хочешь, съездим к Федору?

— Четвертый год пошел, как мы не общаемся, — засомневалась я. — Где его искать? А если он уже в другой части? А домашнего адреса его не знаю.

— Нашла проблему. Адрес я возьму у отца Федора, в деревне. Представлюсь другом детства. У отца же должен быть адрес сына.

Сохранился у меня и этот листочек, сложенный вдвое, на котором Володиным почерком аккуратно выведен сначала адрес Тани, а ниже — Федора. Так я и узнала, что брат и сестра живут семьями по соседству, на одной улице и в одном доме небольшого подмосковного городка.

Сейчас, когда пишу эти воспоминания, я больше думаю о Володе, нежели о Федоре. И тогда, уже там, в Подмосковье, видя перед собой Федора, общаясь, разговаривая с ним, я тоже больше думала о Володе, несмотря на свое жгучее, неудержимое перед этим желание встретиться.

Я стояла в подъезде этажом выше, когда Володя позвонил в нужную дверь.

Я волновалась. Федора могло не оказаться дома, он вообще мог быть в командировке. Ведь мы с Володей ехали без предупреждения, на свой страх и риск.

— Федор вот-вот вернется с работы, — услышала я женский голос. — Проходите, подождете его.

— Спасибо, я подожду на улице, — отказался Володя и, когда закрылась дверь, поднялся на мой этаж.

— Федор скоро будет, — сообщил он полушепотом то, что я уже услышала.

— Кто открыл?

— Молодая женщина.

— Какая она? — тут же, не удержавшись от естественного женского любопытства, поинтересовалась я.

— Высокая, с короткой стрижкой. Наверное, жена.

Через какое-то время хлопнула входная дверь в подъезд.

Володя быстро спустился.

— Вы Федор?

— Он самый.

— Поднимемся этажом выше. Там вас ждут.

Мы стояли и какое-то время молча смотрели друг на друга. Он — в военной форме, в шинели. За его спиной, глядя на нас, Володя.

— Ты?

— Я, Федя. А это, познакомься, мой муж.

Что, как это было — будто в тумане. Неясными, словно все происходило во сне, остались во мне воспоминания о том вечере. Может, расплывчатыми они были из-за выпитого нами троими на работе у Федора спиртного. Хотя я пила немного — Федор и Володя меня жалели, не наливали. Сами же пили, как говорится, от души, вровень. Только Федор был покрепче и оставался внешне трезвым, а Володя очень опьянел, размяк.

Федор и Володя общались по-мужски тепло, словно давно были друзьями.

— Если бы приехали раньше, — помню из признаний Федора, — я не стал бы вот так с вами общаться. Не смог бы. Жить не хотелось после гибели Яны. Однозначно, не стал бы. А сейчас немного полегчало. После того, как родилась Алеська.

Федор рассказал, что у него снова дочка. Я тихо, в душе радовалась. И выражение лица у него было доброе, мягкое.

— А вам советую, — он посмотрел на меня, словно давая понять, что помнит о моем несостоявшемся материнстве, — если не будет своего, возьмите в детском доме ребенка. Обязательно возьмите. — И снова посмотрел на меня тепло, как на родную. — Девочку берите! Только девочку. — И уже тише, Володе: — Так надо. Тогда она будет счастливой.

И еще запомнилось, врезалось в память, как они, два дорогих мне человека, прежде чем нам пойти в гостиницу, стали друг против друга, и Федор, прямо глядя в глаза Володе, спросил:

— Ты ее любишь?

— Люблю.

— Я ее тоже люблю. Береги ее. Будешь беречь?

— Буду.

— Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, — чуть спокойнее сказал Федор. И тут же ужесточил голос: — Но если обидишь — из-под земли достану.

И Федор крепко пожал Володе руку.

Я стояла, глядя на них, слушала и не знала, радостно мне или горько. Только чувствовала, как что-то сильное, исходившее из глубины души, сжимало мне горло.

По дороге в гостиницу Володе стало плохо. Иногда он останавливался, и его рвало.

Я очень переживала, а Федор меня успокаивал:

— Так бывает. Все будет нормально, это пройдет. Он просто много выпил.

Пожилая женщина-администратор небольшой местной гостиницы, взяв у меня и Володи паспорта, определила нас в двухместный номер на первом этаже.

Федору войти и посмотреть, как мы устроимся, она не разрешила:

— Поздно уже.

Володю шатало. Я помогла ему разуться, снять верхнюю одежду, и он тут же рухнул на кровать и погрузился в сон. Федор подошел к нашему окну, легонько постучал. Я выглянула, приоткрыв форточку.

— Он не умрет? — испуганно спрашивала я у Федора.

— Не умрет, не бойся. Вот увидишь, завтра будет живой и здоровый.

Я то и дело подходила к Володе, прислушивалась, как он дышит, и возвращалась к окну.

— Он точно не умрет? — снова в страхе спрашивала я у Федора.

— Точно. Проспится, и все будет нормально. Я знаю.

Потом он меня уговаривал:

— Открой окно. Оденься и вылезай сюда. Я тебя перехвачу, — Федор протянул ко мне руки, — здесь невысоко.

— Нет, это нехорошо. И нельзя оставлять Володю.

— Поверь мне, с ним ничего не случится, — продолжал уговаривать Федор. — Он будет спать. И даже не узнает об этом. Я ведь ничего плохого тебе не сделаю. Приставать не буду, обещаю. Мы хоть поговорим наедине. Я столько тебя не видел.

Я поворачивала голову к спящему Володе, смотрела на него и чувствовала, что не могу этого сделать — вот так, за его доброту и жертвенность, взять и — предать.

— Если ты боишься спрыгнуть мне в руки, думаешь, что я тебя уроню, давай я взберусь в вашу комнату. Впусти меня. Ну, пожалуйста, открой окно.

— Нет. Нет, Федор, — я решительно покачала головой и потушила свет.

Убедившись, что Володя спит, легла на вторую кровать. Слышала, как Федор долго еще стоял под окном, а потом ушел.

Рано утром в дверь постучали. В номер вошел Федор. Он был в штатском — в обычных брюках и куртке. Я смущенно подтянула к подбородку одеяло, вспомнив, что не заперла изнутри на ключ дверь.

— Подъем! — бодрым, шутливым тоном приказал нам Федор. — Быстренько умывайтесь, одевайтесь, и съездим к моему другу в Можайск. Я все организовал. Там уже ждут в гости.

У нас с Володей были на руках билеты на вечерний поезд из Москвы в Минск. В запасе оставался день, и Федор успел отпроситься с работы, чтобы провести его с нами.

Володя потянулся, не вставая с постели, заулыбался.

— Ну что, живой? — спросил у него Федор.

— Живой.

— Я же говорил, что жить будет, — Федор пожал Володе руку. — Ты чего пугаешь жену? Только и слышал от нее: «Умрет... умрет...»

В Можайске нас гостеприимно приняли. Накормили обедом. Я заметила, как уважительно и тепло относился к Федору его друг, судя по манере держать-

ся и грамотной, красивой речи, — умный и интеллигентный человек. Узнала, что он занимается с Федором, настраивая после окончания вечерней школы учиться дальше — получить юридическое образование. Видела, что с таким же трогательным теплом и уважением относилась к Федору и жена друга. В душе порадовалась, подумала: «Значит, не ошиблась я в Федоре. Хороший он». И вспомнила, через какое мелкое сито обидных, несправедливых сплетен и слепой травли просеивалась когда-то его жизнь в родной деревне.

Электричкой «Можайск—Москва» мы с Володей едем до Москвы. Федор сойдет на своей станции раньше. Вагон полупустой. Я сижу рядом с Володей. Смотрю на Федора, который сидит напротив. Он же смотрит в окно. Все трое молчим.

«Неужели он даже не взглянет в мою сторону? И так ничего не скажет?» — в отчаянии думаю я, не сводя с Федора глаз.

Лицо у него словно каменное. Он сидит, не меняя положения, без единого движения, не отрывая взгляда от окна.

«Ну что же, что он там хочет видеть? Мелькающие деревья? Он же вот-вот сойдет с поезда, и на этот раз, скорее всего, мы расстанемся навсегда. Неужели он так и не посмотрит в мою сторону?» — лихорадочно продолжаю думать я, чувствуя, как нарастает напряжение.

Наконец, когда объявили станцию Федора и поезд начал сбавлять ход, я отвела от него взгляд и посмотрела в окно. И тут меня обожгло. Мы встретились... глазами... в отражении окна. Так и замерли, глядя друг на друга. Как оказалось, все это время, не отрываясь от окна, он смотрел на меня.

Впервые в жизни я увидела, что у Федора — неожиданно, в тот самый момент, когда пересеклись, благодаря отражению в стекле, наши взгляды, — навернулись на глаза слезы.

Он резко поднялся, кивнув на прощанье, быстро пожал Володе руку и вышел в тамбур.

Поезд остановился. Я смотрела в окно, надеясь увидеть Федора на перроне, но так и не увидела.

Больше мы не переписывались и не встречались. Только и остался зарубкой на сердце тот острый, с внезапно навернувшимися на глаза слезами, взгляд в окне.

* * *

Этой поездкой завершилась, отмежевавшись от последующей, беспокойная, неприкаянная, полная противоречивых поступков и ошибок прежняя жизнь, в которой еще не успела раскрыться и распознать в себе себя, словно опутанная коконом, моя сущность. Очень быстро, хотя и незаметно, непонятно, каким образом, я изменилась, чтобы, не оглянувшись, без сожаления и сомнений, как высвободившаяся из кокона бабочка, эту прежнюю свою жизнь забыть и отбросить.

Володя в меня верил. И благодаря этой вере я сумела организовать и сделать успешным свой бизнес. Сформировала коллектив, обучив у отечественных и зарубежных мастеров по аранжировке цветов своих сотрудниц, и с ними озеленили больницы, детские сады, предприятия, министерства, банки, резиденции президента, Дворец Республики... С артистами эстрады, оформляя их концерты, объездила полстраны. Почти во всех крупных универмагах

Минска открыла цветочные отделы своей фирмы. Легко и естественно, как будто всегда была к этому готова и всего лишь примерила новый костюм или платье, восприняла собственную популярность.

Рядом находился Володя. Словно был и не был. Так я его воспринимала.

Повторюсь, какой бы грубый смысл это ни заключало, что удобную обувь не замечают. А она служит. И ею — пользуются. Любой удобной, комфортной вещью пользуются. А человеком? Тем более если человек не протестует, не возмущается и не обижается, а принимает твои интересы и твою жизнь как собственные.

Тогда, вернувшись из Подмосковья, несмотря на то, что я и Володя прожили в браке еще около девяти лет, мы, ни единым словом не обговаривая этого и не объясняясь, не позволили больше себе тех отношений, которые связывают мужа и жену в полноценный союз — физической близости. Скорее инициатива исходила от меня, а Володя, как всегда и во всем, согласился со мной. Но произошло это как что-то естественное, для нас обоих одинаково назревшее. Мы относились друг к другу так, будто были братом и сестрой. Даже сегодня, спроси кто-нибудь: «Есть ли у тебя брат?» — я прежде вспомню не о родном, я подумаю о Володе.

Я становилась все увереннее и выстраивала свою «лестничку вверх». И, не устояв перед искушением поверить людской хвале, уже не сомневалась в собственной исключительности. А Володя, открыто и искренне восхищаясь мной, сам того не осознавая, потворствовал этому.

Я и Володя... Два человека рядом... Только один из нас жил для себя — им была я, — а другой — для того, кто жил для себя. Две жизни — ради одной. Справедливо ли это?

Шли годы, перелистывая, словно страницу за страницей, дни. Рано или поздно, но в человеке начинает пробуждаться, требовать своего не важно, по каким причинам замолчавшая, затаившаяся до времени природа. Мне было уже больше тридцати, когда, избалованная лестью и вниманием окружавших меня людей, я вдруг почувствовала, что во мне не только все еще жива женщина, но и что эта женщина, обнаружив себя, не желает сопротивляться своей капризной природе и готова переступить через ближнего.

Лавина страстей и моего неукротимого эгоцентризма, пока еще не распознанная внутренним зрением, толкала меня на поступки, о которых потом жалела.

Я позволила взять верх в себе женщине и предложила Володе расстаться. Он и на сей раз уступил мне...

Павел, Федор, Володя... Какой след я оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения прошлась по их судьбам?

Каждого из них я предала. Одного — выйдя замуж за него не по любви, уступив собственному безволию. Другого, наверное, все-таки, любя, — подчинившись своей слабохарактерности и трусости.

И Володю... Более десяти лет его присутствие в моей жизни было не только необременительным, но и позволило почувствовать себя уверенно, не страшиться ударов и засад, которыми так часто угрожают люди и мир. Его, словно спасательный круг, бросила мне в трудный момент судьба.

Где они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потрясений, сомнений и угрызений совести? Я еще не знала тогда, в какую муку может превратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убережешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе. И когда из темных подземелий твоей души

неожиданно, не позволяя опомниться и все обдумать, поднимутся, вырвутся наружу неведомые ранее желания и ты, уступив их силе, не в состоянии будешь вернуть их в пусть теперь и принудительное заточение, вот тогда и осознаешь, как приговор себе, как окончательное, самое страшное для себя наказание, которое уже не позволит почувствовать себя прежним и успокоиться: «Я предатель».

А после того, как Володя, когда я призналась, что мучаюсь чувством вины перед ним, милосердно ответил: «Я благодарен тебе за годы, проведенные с тобой, — это лучшее, что было в моей жизни», — моя боль стала только острее.

Восемь лет после развода он жил один. А теперь приходит со своей гражданской женой к нам с мужем в праздники и на Новый год. Она называет меня сестрой. И я этому рада.

В своей жизни я совершила немало плохого. И мне страшно осознавать, что больше я жила для себя, чем для других. И сегодня, когда за плечами столько поступков, ошибок, пережитых боли и радостей, поняла одно: предавая ближнего, прежде всего ты предаешь себя, потому что, совершив предательство, никогда не сможешь чувствовать себя счастливым.

b



МАРИАННА ТАЕВА

Взлетевшую под небо не поймать

* * *

Я — змей воздушный… Правильней — змея.
Как ты ни называй — мне тем и быть.
Я целиком и полностью твоя,
Пока надежно держишь жилку-нить.

Я телом приросла к земным рукам.
Оно — бумажное — не просит есть.
Душа легка, стремится к облакам —
Ей не дано под тяжестью осесть.

Я трепещу — дыханьем только тронь,
И не прошу свободу обещать.
Лишь глаз не отводи, не разжимай ладонь —
Меня, взлетевшую под небо, не поймать!

* * *

Задержалась на миг слеза —
Станет ли падать вниз?
У свободы свои «нельзя» —
Стоит ли жертв каприз?

На заклание — красота.
Надо ли было ввысь?
Вновь открылись твои глаза —
Не умерла, очнись!

Заблудилась в лесу овца —
Ясно, что волку в пасть.
Господи, помоги
Не упасть, не украсть, не проклясть.

Душам слышен лишь ход часов,
Молча рыдает мим.
Кто втихую предать готов —
Может ли быть другим?

Любовь

Такая огненная боль —
На белом саване заплата.
Не погасить ее прохладой —
Охота пуще всех неволь.

Воспламененный уголек —
Какая зрелищность отваги! —
Он догореть спокойно б смог
Цветком из бархатной бумаги.

Такое лживое «люблю» —
За нетерпение расплата.
Как трудно признавать вину,
Когда ни в чем не виновата!

Всепогребающий костер
Из всепрощающего ада —
Твой холодящий веки взор —
Такая грубая пощада…

Мудрец

Ты не мечтатель больше, ты мудрец.
А мудрецов мечта не занимает…
Юрий Сапожков

Оставим бабочкам святое метаморфоз,
Философ, над землей парящий, — смешно до слез!
Мечты на головы спадают, как дождь, как град,
При этом жертв не выбирая, — на всех подряд.
Романтик, сладким соком тешась, промокнет весь.
Продрогший взалчет снисхожденья, отбросив спесь.
Мудрец спокойно ожидает, пока мечта
Сквозь недра, словно муки ада, дойдет туда,
Где, в чистоте, пребудет в русле подземных вод
И выход на поверхность — как ключ — сама найдет.

Он вмиг узреет тот источник,
Но не мечты уже, а воли —
Избегнуть ран и червоточин,
Не изменив земной юдоли.

Стена

Стена безличьем тупит взгляд,
Томя мучительно зеницу.
Нелепая из всех преград —
Как безысходности граница.

Глуха, нема, и вид стены
Прост, но безжалостен, как камень.
Как будто вырос пласт земли
Пред беззащитными глазами.
Она тверда, не различит —
Бьют молотком ли, головою…
Бывает: человек на вид,
А на нутро — стена стеною.

* * *

Шоколадное крылечко, шоколадный дом.
Шоколадные окошки сквозняками в нем
Распахнуло, разметало, ставни сорвало —
Залетевшей птице грею рваное крыло.
Не страшна, а так желанна в этом доме ночь.
Ты отведать вкус страданья с моих губ не прочь.
И внезапный поцелуй — мнимый отклик счастья…
Сладок горький шоколад, горько — сладострастье.

* * *

Просыпаясь и нежно целуя
Жизнь в холодные, злые уста,
Ты люби ее — даже такую —
Лишь за то, что приемлет тебя.





МИХАИЛ ПЕГАСИН

Драка

Рассказ

1

Белая бабочка-капустница беспорядочно порхала над цветами, теплицами и легкими дачными домиками. Наблюдая за мельканием ее крыльев в ярких лучах предполуденного июньского солнца, трудно было сказать, в каком именно месте пространства она окажется через мгновение. Еще труднее объяснить, почему, покружив над грядой, засаженной большими бледно-зелеными кустами томатов, она внезапно изменила направление движения и полетела к мальчику, который сидел в стороне на корточках и полол клубнику. Может быть, причиной была его зеленая футболка, а может, просто резкий порыв теплого ветра подхватил бабочку. Так или иначе, Андрей не обратил на нее никакого внимания. Вырывая траву своими детскими пальчиками с черными полосками земли под ногтями, он был слишком занят собственными мыслями. Мыслями, которые ему диктовала обида на отца.

Всего лишь десять минут назад Андрей играл в «футбол» по ту сторону сетчатого забора, который отделял принадлежавший их семье огород от широкой лесной дороги. Всего лишь десять минут назад он поддал мяч слишком сильно и так высоко, что тот залетел на участок и, попав в злосчастную гряду с цветущими кустами помидоров, сломал лучшую ветку на лучшем из них. За это он, Андрей, был наказан отцом, давшим ему подзатыльник и заставившим полоть эту дурацкую клубнику. Но причина обиды крылась не только в этом. Меньше чем через месяц Андрею исполнялось одиннадцать лет. Сверстники с его двора в эту минуту играли в настоящий футбол на почти настоящем футбольном поле с воротами, а он, несмотря на граничащие со слезами просьбы и попытки убедить отца оставить его в городе, был вынужден приехать сюда, на огород, на котором вся их семья и так проводит с утра до вечера каждые выходные.

Всю свою обиду, переходившую в детскую злость, Андрей вымещал на пучках травы, с треском отрывая зеленые побеги, оставляя в земле ее цепкие и живучие корни. В эти минуты в его голове рождались самые невозможные планы, как заставить отца пожалеть о своем несправедливом отношении к нему.

Мальчик полол клубнику, а вокруг дышало зеленое лето. Солнце светило в полную силу, в лесу громко перекликались птицы, над видневшимися всюду дикими цветками заботливо гудели шмели. Андрей сам не заметил, как чувство обиды потеряло свою власть над ним. Рвать сорняки было неинтересно, и он принялся пересыпать сухую песчаную землю из пригоршни одной руки в ладонь другой. Но и это занятие наскучило мальчику. Тогда он начал смотреть в сторону дачного домика с похожей на «если бы можно было…» мыслью как-нибудь вернуть мяч, отобранный и спрятанный отцом.

Стены домика были оштукатурены и покрашены белой краской, двускатная крыша — покрыта светло-серым шифером, а доски фронтона — выкрашены в желтый цвет. В ярких лучах солнца вид домика слепил глаза. Андрей перевел взгляд немного левее — туда, где его старший брат Павел по наказу отца поливал из шланга плохо переносившую зной молодую яблоню. Закатанные по колено штаны, оголявшие юношескую худобу длинных босых ног, отцовская рубашка с обрезанными по мальчишескому размеру рукавами и не менее нелепая, чем у самого Андрея, панама — составляли рабочий гардероб Павла. Вся его долговязая фигура с левой ногой, закинутой спереди за правую, и согнутой правой рукой, державшей шланг, выражала мечтательное спокойствие. Струя воды, вытекавшая из шланга, ярко искрилась на солнце и с хлюпающим звуком падала на влажную землю.

Поливать интересней, чем полоть, — так всегда казалось Андрею. При виде «мечтательного поливальщика» у него появилось нестерпимое желание вывести брата из состояния безмятежности.

Павел был старше его на три года. Но если дело доходило до выяснения отношений, Андрей почти не уступал брату ни в силе, ни в ловкости, ни, более всего, в смелости, — и очень этим гордился. Он, *в отличие от некоторых*, никогда не вел себя как трус и не избегал драк со сверстниками. Замечая разницу в характерах сыновей, отец не раз упрекал Пашу, когда тот жаловался на задирания младшего брата вместо того, чтобы раз и навсегда хорошенько его проучить.

Андрей высмотрел пучок травы побольше, вытащил его из земли и, не отряхивая корней, с замахом, как гранату, бросил в направлении яблони. Снаряд пролетел несколько метров по воздуху и попал Павлу в бедро чуть выше колена, оставив на светлой ткани штанов грязное пятно. Павел, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Сообразив, в чем дело, он намеренно громко крикнул: «Что ты делаешь?!» — а сам, зажав отверстие шланга пальцем, наставил далеко забившую струю воды на брата.

Началась игра, в которой один бросал в другого что под руку попадется, а в ответ получал меткую струю воды из шланга. Было весело; братья смеялись тем задорным детским смехом, который способен заставить улыбнуться самого угрюмого взрослого человека.

Внезапно Павел застыл на месте, зажмурился и поднес тыльную сторону кисти к лицу: земля с одного из брошенных пучков травы, веером рассекши воздух, попала ему в глаз.

Веселье прекратилось. Андрей, не понимая, случилось с товарищем по игре что-то серьезное или нет, настороженно замер в ожидании его дальнейших действий. Но чем дольше длилась пауза, тем яснее ему становилось, что брат не шутит.

Павлу действительно было не до шуток. Не желая так оставлять случившегося, он намеренно раздраженно крикнул: «Ну, держись, дурак!» — и, бросив извернувшийся змеей шланг, пустился вдогон за убегающим Андреем.

Еще через несколько секунд началась драка. Братья кричали, колотили друг друга по рукам, спине и ногам; их панамки разлетелись в разные стороны, а сами они качались в пыли. В то мгновение, когда Андрей, лежа на спине, сопел и сопротивлялся попыткам Павла заломать ему руки, на шум из домика вышел отец.

Одетый в заношенную, испачканную краской рубашку времен своей молодости и такие же брюки, Степан Емельянович был навеселе. Это состояние, а также старые тупоносые башмаки на ногах и плачевного вида сетчатая бейсболка на голове придавали этому сухопарому, довольно высокому

мужчине сорока с лишним лет комический вид. Однако для мальчиков отец, направлявшийся к ним со сдвинутыми сердито бровями, выглядел совершенно не смешно. Заметив его приближение, братья как по команде перестали мутузить друг друга и поднялись с земли. Молча, с хмурыми лицами, стояли они и ждали наказания. Расправа была короткой. Взяв Павла левой рукой за правое ухо, а Андрея правой — за левое, Степан Емельянович начал поднимать обе руки вверх. Тон его речи, медленной, с большими паузами между произносимыми сквозь зубы словами, был назидательным.

— Сколько раз, вашу мать, вас успокаивать!

— А чего он?.. — быстро начал оправдываться Павел голосом жертвы, не заслуживающей наказания.

— Он, он! — оборвал, передразнив его, отец и, постепенно убыстряя темп речи, продолжал: — С самого утра начали — нормально сказал: не деритесь! Сюда шли: сцепились — предупредил, в последний раз сказал: не деритесь! Этот со своим мячом! — резко дернув за ухо Андрея, от чего тот вскрикнул, Степан Емельянович дал сыну подзатыльник. — Что сейчас не поделили? Марш поливать! Почему шланг бросил? — Павел с надутыми губами направился к яблоне. — А ты в дом!

В тот самый момент, когда отец воспитывал Андрея с помощью подзатыльника, к калитке огорода подошла Татьяна Сергеевна, мать мальчиков и жена Степана Емельяновича, бывшая двумя годами младше мужа.

Татьяна Сергеевна пришла на огород немного позже остальных, потому что нужно было закончить несколько хозяйственных дел по дому и приготовить обед, который она принесла в небольшой на вид, но довольно тяжелой сумке, оттягивавшей ей руку.

Сцена наказания, эффектно дополняемая вскрикиваниями сына от боли, заставила сердце матери зайтись от жалости. Несмотря на то, что от места происходящего женщину отделяло несколько десятков метров, все ее дородное тело с высокой грудью и сильными, привыкшими к труду руками как бы сделало движение в защиту сына. Но это был душевный порыв — не более. Татьяна Сергеевна знала, что, когда муж в гневе, останавливать его бесполезно. К тому же она сама побаивалась мужа, потому что не далее как вчера между ними случился скандал — и притихшие по углам дети с испугом в глазах наблюдали, как твердые кулаки отца мерно и зло ударяли по мягкому телу их охающей матери.

Вообще в семье Вскипаевых, в силу вспыльчивости ее главы, такие скандалы, возникавшие часто и порою на ровном месте, были делом привычным, словно без них существование этой семьи было бы неполноценным. Каждый из сыновей, не имея возможности изменить положение вещей, в душе осуждал отца; однако в их поведении нет-нет да улавливалось невольное ему подражание в небрежном отношении к матери.

Татьяна Сергеевна, ни слова не говоря, покачала головой, закрыла за собой калитку и, мягко ступая в тряпичных кроссовках по сухой земле дорожки, зашагала по направлению к домику.

2

Широкая лесная дорога, вплотную прилегавшая к одной из длинных сторон прямоугольного участка Вскипаевых, пользовалась большим спросом. Это была та главная магистраль, по которой стекались из города все огородники, чтобы затем разбрестись по своим наделам. С самого утра и до обеда вдоль вскипаевского забора со стороны города шли, тяжело переваливаясь с

ноги на ногу, полные пожилые женщины с корзинами и в платках да с треском крутили педали своих велосипедов разномастные мужички в неприглядной одежде. Иногда они, поприветствовав хозяев, останавливались: женщины — чтобы расспросить о том, как у Степана получается выращивать такие хорошие помидоры, огурцы или другие овощи; мужчины — поинтересоваться, не отключили ли воду, или, наклонив велосипед и опершись одной ногой на землю, а другую оставив на педали, выкурить с Емельянычем по сигарете и обругать матом ту шатию-братию, «благодаря» которой из никем не охраняемых дачных домиков то и дело пропадали годившиеся на продажу вещи. Доставало ругани и хитрым воровкам, которые приходили поздно вечером или рано утром, чтобы «помочь» отсутствующим хозяевам унести урожай с грядок, с той же целью — на продажу.

Воровство было всеобщим бедствием; и у Вскипаевых также постоянно что-нибудь воровали: с грядок — летом, из домика — осенью.

Некоторые из дачников, наиболее активные, в летний сезон объявляли войну ворам, оставаясь ночевать на участках, полные решимости проучить любителей поживиться за чужой счет и даже вооружавшиеся для этой цели топорами и вилами, словно партизаны Отечественной войны 1812 года. И если взять во внимание тот факт, что ночные гости приходили тоже не с пустыми руками, а захватив — кто кусок железной трубы в полметра длиной и сантиметра три в диаметре, кто древний обрез, — то можно утверждать, что между огородниками и досаждавшими им «посетителями» шла настоящая война.

Другой бедой огородников, особенно тех, чьи участки находились с краю, являлись так называемые отдыхающие. Дело было в том, что дорога, ведшая к огородам, собственно на них не заканчивалась, а уходила дальше в лес, к старым строительным карьерам, заполненным хорошо прогревающейся летом водой. Ближе к полудню полуголая молодежь с майками, повязанными вокруг голов, и включенными магнитофонами «на плечо», загребая песок шлепанцами, беспечно пылила в сторону всеобщего места для отдыха. Молодежь была разного «калибра»: от семилетних пацанов до великовозрастных недорослей. Далеко не все из них выглядели «паиньками». Но некоторые — на фоне беспрекословно слушавшихся отцовской руки Павла и Андрея — казались отъявленной шпаной. Проходя мимо чьего-либо забора и заметив за ним сгорбленные спины хозяев участка, эти волчата непременно вступали с ними в перебранку, насмехаясь над внешним видом работающих и самим фактом их тяжелого труда. В зависимости от фантазии и наглости, проходящие мимо «юмористы» или незатейливо обзывались матом, или забавлялись, разыгрывая из себя немцев, въехавших в деревню и на ломаном русском требовавших «млеко» и «яйки», или начинали орать какую-нибудь похабную песню. Наиболее циничные негодяи находили удовольствие в том, чтобы бросить в спину согнувшейся над грядкой пенсионерки огрызок яблока или палку и, отбежав для безопасности на несколько метров, разразиться грубым хохотом. В таких случаях хозяева участков по-мужски грозили хулиганам, посылая им вдогонку крепкое словцо, но дальше угроз дело не заходило.

Все эти напасти сильно отравляли огородникам жизнь. Но забиравшие большую часть сил и времени несчастные наделы были им жизненно необходимы. Без них жившие «по талонам» люди не смогли бы достойно прокормить свои семьи. И поэтому все они — рабочие и инженеры, учителя и врачи — были вынуждены с наступлением выходных дней менять приличную одежду на ту, которой «не жалко», чтобы до ломоты в теле полоть, поливать, окучивать и перекапывать свои любимые проклятые грядки. Они ничем не могли помочь тем вконец отчаявшимся и забывшим обо всем святом

собратьям, которые приходили воровать плоды их нелегкого труда и скудное имущество; не могли перевоспитать тех отбившихся от рук сорванцов, родители которых, после того как великая страна стала грудой никому не нужных обломков, сами потеряли ориентиры в жизни. Они могли только трудиться, терпеть и бороться за право жить в то непростое и ненадежное время, которое выпало на их долю.

3

Вскоре после того, как потасовка между братьями, приведшая к наказанию, закончилась и все члены семьи принялись без слов заниматься каждый своим делом, недалеко в лесу послышались громкие детские голоса и смех. Двое загорелых и чумазых мальчуганов лет десяти направлялись «на карьеры».

Татьяна Сергеевна тем временем собирала на небольшой столик под открытым небом, аккуратно закатывая верхи не раз стиранных целлофановых мешочков, в которых находилась еда, и расставляя их один возле другого. Семья готовилась обедать; мальчиков отправили мыть руки. Недавнее наказание еще помнилось ими, но настроение с той поры значительно улучшилось, и, поочередно поливая друг другу из пластиковой бутылки, они осторожно, чтобы не заметил отец, опять начинали баловаться. Сам Степан Емельянович уже удвоил дозу выпитого — «для аппетита», — но не торопился подходить к столу, словно ожидая, что его пригласят отдельно, и в то же время не сомневаясь, что без него не начнут.

Теплый ветер шевелил ветви яблони, и по поверхности столика перемещалась узорчатая тень, вся в солнечных просветах. На опушке леса, длинной полосой тянувшегося вдоль дороги, лениво шелестели кроны берез.

Все Вскипаевы уже заняли свои места, приготовившись обедать, когда громко смеявшиеся в лесу сорванцы вышли из-за деревьев и поравнялись с забором их участка. Никто из членов семьи, занятый своими делами, не обратил на проходивших мимо мальчиков особенного внимания. Паша толкал под руку Андрея, пытавшегося макнуть кончик вареной картофелины в белевшую на розовой бумажной салфетке соль; Татьяна Сергеевна подавала мужу бутерброд с печеным куриным мясом на кусочке черного хлеба.

И тут произошло событие, из ряда вон выходящее.

Один из шалунов резко остановился как раз напротив начавших трапезничать Вскипаевых. Опершись левой рукой на ближнюю к себе опору забора, а правую приложив к животу, наглый мальчишка слегка наклонился над землей, а затем издал громкий утробный звук, похожий на тот, который издают люди, когда их тошнит. Закончив свое издевательство, он громко и неестественно захохотал; стоявший рядом его товарищ смеялся от души. Не задерживаясь долее, они вместе побежали в сторону карьеров.

Вот-вот перейдущему в ярость возмущению Степана Емельяновича не было предела.

— Ах, ты ж, сволочь, сопляк! Погляди на него! — слова не находили выхода, заставляя его задыхаться. — Я ж тебя...

С этими ругательствами не совсем уверенно державшийся на ногах глава семьи сделал попытку встать и кинуться вдогонку за убегающими хулиганами. Попытка оказалась неудачной. Степан Емельянович, неуклюже вставая из-за стола, за что-то зацепился и боком упал на землю, повредив при этом несколько сочных и ломких стеблей тмина, тут и там беспорядочно торчавших по огороду.

Татьяна Сергеевна охнула.

Нашарив слетевшую с головы бейсболку, Степан Емельянович начал подниматься с земли под укоризненные вздохи жены. Павел и Андрей обменялись многозначительными взглядами, которые слишком явно говорили, что произошедшее показалось им забавным. Отец заметил веселое удивление в глазах сыновей и закричал раздраженно, глядя на Пашу:

— Что смешного?! Догнал бы его — и всыпал как следует!.. Ты, ты — что смотришь?.. Младше тебя лет на пять...

Взгляд Павла сделался виноватым. Он внезапно подумал, что отец прав, и ему стало стыдно за то, что какой-то «малой» только что грубо посмеялся над всей их семьей, а он даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то ему отомстить. Андрей обратил внимание на правое ухо брата: оно начало наливаться кровью, становясь от этого пунцовым, — так было всегда, когда Павел чувствовал за собой вину.

Сами того не замечая, братья одновременно посмотрели в сторону карьеров. Облако золотистой пыли, поднятой ногами скрывшихся из вида беглецов, медленно опускалось на дорогу.

4

Закончив обедать, Степан Емельянович со снисходительным благодушием поблагодарил жену. Спустя несколько минут он сладко дремал в домике на пружинистой сетчатой кровати. Сложенные на животе руки и слегка приоткрытый рот делали его похожим на исполняющего арию оперного певца, не хватало только торжественного звучания поставленного голоса.

Татьяна Сергеевна, стараясь не шуметь, убрала со стола. Привычный рабочий наряд, который состоял из синтетических спортивных штанов и светлой хлопчатобумажной футболки, придавал ее крупной фигуре мужские черты. Накинув на волосы белую в синий горошек косынку, не привыкшая долго отдыхать женщина со слегка нахмуренными бровями принялась осматривать знакомые грядки, решая и примеряясь, какую работу ей обязательно нужно сделать сегодня, а какая подождет.

Павлу не составило труда войти в дом и, воспользовавшись тем, что отец спит, отыскать без особенной хитрости спрятанный мяч. Уже через минуту предоставленные сами себе мальчики мирно играли на дороге в «двадцать одно». Игра состояла в том, чтобы поочередно набивать мяч ногой, не давая ему упасть на землю и считая каждый удар. Выигрывал тот, кто раньше набирал таким образом двадцать одно очко. В этой игре братья часто ссорились из-за счета, но в этот раз споров не возникало.

Прошло около получаса.

Солнце, миновав зенит, светило ярко, нагревая землю и воздух, вызывая жару. Над участками стояла та послеполуденная летняя тишина, которая возникала в этих местах по причине всеохватывающей усталости, вызванной зноем.

Казалось, все вокруг застыло в неподвижности, только братья шевелились возле забора да на фоне леса маячила группа молодых людей, медленно двигавшихся в направлении карьеров. Когда группа приблизилась, Павел взял мяч в руки и отошел в сторону, чтобы позволить двум парням лет восемнадцати и такого же возраста девушке беспрепятственно пройти по дороге.

Разминувшись с прохожими, ребята собрались возобновить игру. Однако не успели они уточнить счет, на котором остановились, как их внимание привлекли доносившиеся из леса звуки ломающихся веток. Кто-то, преодолевая

заросли, приближался к их огороду. Еще через мгновение на дороге, метрах в десяти от места, где они играли, показался загорелый мальчик одних лет с Андреем — в шортах, майке и резиновых шлепанцах, которые были размера на два больше положенного. Очутившись вне леса, мальчик начал быстро оглядываться по сторонам. Сначала, бросив взгляд в сторону братьев, он не обратил на них никакого внимания, затем повернул голову еще раз — и его глаза начали наполняться ужасом.

— Это же тот самый... — быстро зашептал стоявшему рядом брату Андрей; брошенный им на произвол судьбы мяч медленно покатился к обочине.

Но Павел уже и сам узнал «того самого», который совсем недавно своей выходкой пытался испортить им аппетит.

Понимая, что возвращаться назад старым путем для него чревато неприятностями, ставший для Вскипаевых «врагом семьи» мальчишка решил обойти опасный участок лесом, но заблудился и по случайности выскочил прямо на своих неприятелей. Столь неожиданный поворот событий заставил его застыть на месте, как загипнотизированному.

Павел и Андрей, со своей стороны, тоже замерли — в замешательстве перед выбором, как им следует поступить.

5

Общее оцепенение длилось считанные секунды.

Первым из него вышел маленький разбойник. Он, словно поднятый заяц, сделал испуганное движение на месте и, не чувствуя ног, дал стрекача в направлении города. Братья инстинктивно рванулись за ним вслед, как хищники за жертвой. Теряя на бегу шлепанцы и путаясь в них, бедный мальчишка боялся оглянуться назад, в слепом испуге надеясь с помощью одного только частого перебирания детскими ногами уйти от преследователей.

Оставив Андрея позади, Павел бежал большими шагами; ботинки, надетые им для игры в мяч, громко стучали твердыми подошвами о землю. Возможность отомстить обидчику семьи заставляла юного Вскипаева испытывать чувство, каким упивается человек в минуту внезапной удачи, а осознание того, что его жертву охватил панический страх, заранее добавляло этому чувству привкус победного ликования. Что-то теперь скажет отец!

В считанные секунды настигнув цель, Павел подгадал момент и ударил побледневшего как полотно, совсем лишившегося прежней развязности пацаненка сзади ногой по лодыжке, отчего тот потерял равновесие и кубарем покатился по пыльной земле.

Подбегавший к месту Андрей видел, как сутуловатая фигура брата угрожающе возвышалась над поверженным противником, — и опьяняющее чувство восторга овладело им тоже. Приблизившись, он слегка склонился над лежавшим и с задорным злорадством спросил: «Ну? Что?» Несчастный явно не знал, что отвечать. Вид его был жалок, лицо искажено; ужас и мольба о пощаде читались во взгляде. Недалеко, в пыли, лежал резиновый шлепанец, который слетел с его ноги в момент удара.

Сердце Андрея ликовало: обидчик их семьи лежал на дороге, боясь пошевелиться, и молил о пощаде! Это ли не урок? Теперь будет знать, как насмехаться над ними!

Но старшему брату свершившегося показалось мало. Какой-то бесенок внутри него жаждал большего, требовал еще действий. Словно повинуясь

этому требованию, Павел отвел свою ногу назад и резким движением ударил не торопившегося подниматься мальчишку по ноге. Твердый носок ботинка врезался в кость ниже колена. Громко взвыв от неожиданности и боли, пацаненок поджал под себя ногу и завертелся на земле.

Чувство вины за ненужную жестокость своего поступка неприятным холодком пробежало по сердцу Павла. Он вдруг ясно осознал, что ударил человека, и от этого ему стало еще больше не по себе. Андрей, глядя на брата, стоял в нерешительности.

Все произошедшее длилось считанные минуты, и двигавшиеся в сторону карьеров молодые люди с девушкой не успели далеко уйти. Ветер донес до их слуха жалобный крик ребенка, который заставил каждого внимательно посмотреть туда, где две детские фигуры — одна из которых принадлежала не такому уж и маленькому подростку — возвышались над кем-то лежавшим на дороге. Кто кричал, было не понятно, но не оставалось сомнений, что происходит что-то нехорошее.

— Пацаны дерутся, пошли, — нетерпеливо заговорил парень в темно-зеленых спортивных штанах и белой футболке. — Пошли, Леха!

— Там старшие маленького обижают. Леша, надо помочь, — возразила говорившему девушка, и тревожный тон ее просьбы подействовал сильнее.

— Сейчас пойдем, Саня. Давай посмотрим.

Сами того не замечая, молодые люди уже шли назад, становясь все ближе к месту разыгравшейся трагедии. Маленький сорванец, заметив тревожную заинтересованность на лицах приближающихся, лукаво продолжал издавать истошный вой, хотя боли уже почти не чувствовал.

— Что вы ему сделали? — строго спросил, подходя, тот, кого звали Лехой. — А?

— Ничего мы ему не делали, — еще не успев испугаться, ответил Павел и посмотрел в сторону огорода. Отец, только что проснувшись, вышел на крыльцо домика.

Мальчуган, лежавший на земле, заскулил еще жалобней и громче.

— Что значит «ничего»? Что значит «ничего»? — принялась повышать голос девушка, под влиянием женской природы начавшая накалять обстановку выше меры. — Вон он как кричит!

Заметив, что отец смотрит в их сторону, Павел ответил грубо:

— Что вы к нам пристали? Идите куда шли.

— Что-о? Ты совсем, что ли, офигел, пацан? — тот, кого звали Саней, сделал шаг и толкнул Пашу в плечо, отчего тот невольно ступил назад, подсев на отставленную ногу.

В этот момент поодаль раздался вызывающий хриплый окрик — и все невольно посмотрели в ту сторону, где за секунду до этого стоял Степан Емельянович.

— Эй-эй! Ты чего там?

Последние слова относились, очевидно, к тому, кто толкнул его сына, и кричал их Степан Емельянович уже на бегу. Заметив, что против его детей затевается что-то неладное, разъяренный отец схватил подвернувшуюся под руку большую совковую лопату и ринулся им на помощь.

В это же самое время ничего не подозревавшая Татьяна Сергеевна полола грядку на дальнем конце огорода. Звук громко хлопнувшей калитки заставил ее обернуться. Увидев бегущего по дороге с лопатой мужа и в мгновение ока вообразив себе, что он может натворить, она, трясясь всем телом, побежала его останавливать.

6

Все присутствовавшие на дороге застыли в ожидании: дело начинало принимать неожиданно опасный оборот. Вид пылящего вдоль забора Степана Емельяновича, выкрикивавшего угрозы и размахивавшего над собой лопатой, заставил молодых людей попятиться к лесу и стать на изготовку, чтобы ловчее отразить нападение. Инстинктивно они расположились так, что девушка оказалась за их спинами.

Павел и Андрей были, конечно, рады, что им не пришлось в одиночку разбираться с ребятами, которые были старше их, но чувство тревоги за действия отца не покидало братьев. Зная по себе его крутой нрав, они не позавидовали бы тем, кто подвернется ему под горячую руку.

Все еще лежавший в пыли мальчишка, смекнув, что пора «делать ноги», перестал кричать и поднялся с земли. Не обращая на себя внимания, он подобрал свой шлепанец и быстрым шагом, поминутно оглядываясь назад то через правое, то через левое плечо, исчез с места событий в направлении города.

За это время Степан Емельянович пробежал те тридцать-сорок метров, которые отделяли его от приготовившихся ко всему Сани и Лехи. Держа лопату обеими руками наискосок перед собой, он остановился перед ними и, глядя в глаза тому, кто минуту назад толкнул его сына, прорычал:

— Убью!

Глаза его были красны, козырек бейсболки — сдвинут набок, а на шее вздулись две большие жилы. Угроза воспринималась более чем реально.

Леха, который выглядел физически более крепким, чем его товарищ, взволнованно, но без испуга спросил:

— Ты чего, мужик?

— За сына — убью! — повторил угрозу Степан Емельянович, сделал полшага вперед и мотнул лопатой в сторону говорившего.

К этому времени и Татьяна Сергеевна подоспела к злосчастному месту. Не добежав несколько метров, она уже начала кричать своим тонким испуганным голосом:

— Степа! Степочка! Оставь ты! Брось их... пусть...

Подбежав к мужу с правой стороны, она ухватилась за его руку чуть выше локтя, пытаясь отвести тем самым лопату в сторону.

— Ну-ка, отстань! Отстань, говорю! Иди отсюда! — Степан Емельянович оттолкнул жену, отчего она резко шарахнулась в сторону. — Иди вон... в дом!

Воспользовавшись заминкой, вызванной вмешательством Татьяны Сергеевны, парень, которого звали Леха, сделал шаг вперед и ухватился обеими руками за черенок лопаты. Потянув на себя, он попытался вырвать орудие из рук противника, но сделать это с первого раза у него не получилось.

Никто из находившихся на дороге не заметил, как началась драка.

Степан Емельяновым и Леха, оба мертвой хваткой вцепившиеся в древко лопаты, выкручивали друг другу руки, стараясь захватить инициативу. Они пыхтели и рычали, поднимая над собой высокий столб пыли. Татьяна Сергеевна как одержимая пыталась то ухватиться за ковш лопаты, то висла на руке у мужа. При этом она просительно выкрикивала упреки обеим сторонам, словно не замечая, что ее слов никто не слушал.

Не помня себя под нахлестом происходящего, сыновья как могли помогали отцу. Они хватали нападавших на него за руки, мешая свободно двигаться; тянули неприятеля за одежду, заставляя тратить силы и время на то, чтобы отбиваться от назойливой «мелочи». Их отчаянными стараниями Лехин товарищ, держа кулаки наготове, никак не мог изловчиться для решающего удара.

Осмелевшая подруга Алексея тоже не стояла в стороне. Держа руки согнутыми на уровне груди, а брови — сердито сдвинутыми, она немного по-танцевальному выбрасывала правую ногу вперед, и все норовила попасть Степану Емельяновичу носком своей босоножки в пах.

Наконец Леха отпустил лопату. Оттого, что его последним движением был рывок, который не имел точки приложения, парня повело назад, и он едва не упал на спину, лишь в последний момент успев опереться рукой на землю. Степан Емельянович торжествующе выпрямился, опустив лопату вниз. В эту же секунду находившийся рядом второй парень подскочил к нему и нанес хлесткий удар кулаком в переносицу. Кровь пошла почти сразу. Широкой струей она стекала по подбородку мигом протрезвевшего Степана Емельяновича и, сочась сквозь пальцы приложенной к носу горсти, полупрозрачными рубиновыми шариками падала в обволакивающую капли пыль.

Резко наступившая тишина словно заставила всех опомниться. Не говоря ни слова, молодые люди начали удаляться, довольно долго шагая спиной вперед. Даже отойдя на значительное расстояние и уже повернувшись лицом в сторону карьеров, они продолжали настороженно оглядываться назад.

Погони не было.

Все члены семьи Вскипаевых были ошарашены случившимся и стояли на месте как вкопанные. Татьяна Сергеевна с ласкающейся тревогой в голосе просила мужа успокоиться и все стремилась отнять его руку от лица, чтобы посмотреть, не сломан ли нос. Степан Емельянович не отталкивал ее, но руки от лица не отводил. Он, скосив глаза вниз, с задранным подбородком смотрел вслед удаляющейся группе.

Сыновья, испытывая смешанное чувство стыда, разочарования и удивления тем, как все закончилось, тяжело дышали и без слов смотрели на родителей.

Простояв таким образом на дороге до тех пор, пока вышедшие из драки победителями не скрылись из вида, Степан Емельянович зашагал к огороду.

— Да перестань ты! — сделал он попытку осечь, слегка гнусавя, жену, не перестававшую причитать и тянуть его за локоть. — Ну, чего тебе?

— Так помочь же, — продолжала жалобным голосом не умевшая справиться с волнением женщина.

— Помочь, помочь... Раньше надо было помогать. Ты за кого была: за меня или за этих? — Степан Емельянович кивнул в сторону карьеров. — Лопату у меня вырывала, за руки держала...

— Так они же дети еще, Степа...

— Дети! Они твоих детей не жалели! — кровь, начавшая было останавливаться, пошла сильнее, и Степан Емельянович вынужден был замолчать. Через несколько секунд он добавил: — Да и пугал я их только лопатой...

Братья шли вслед за родителями и не говорили ничего. Уходя с «поля битвы», Павел поднял брошенную отцом лопату и теперь тащил ее ковшом по земле, держа за край черенка. Раздавался звук трущегося о песок железа.

Солнце уже касалось верхушек деревьев. Ощущалась близость летнего вечера.

Вернувшись на участок, никто из членов семьи не находил себе места. Андрей, вспомнив про мяч, который остался лежать у обочины, решил принести его. Павел поставил лопату в большой железный шкаф, в котором под массивным навесным замком хранился весь инвентарь, и, стоя на улице, не мог отделаться от мысли, что не ударь он этого злосчастного мальчишку, ничего последовавшего за этим не случилось бы. Татьяна Сергеевна все-таки добилась от мужа позволения осмотреть переносицу. Аккуратно потрогав

кость и хрящ пальцами, она осталась довольна тем, что признаков перелома не было.

Общее возбуждение прошло. На смену ему пришла подавленность, граничащая с тоской. Оставаться на участке в таком состоянии не имело смысла, и Вскипаевы засобирались домой. Через некоторое время их пешие силуэты с ведомыми рядом тонкими силуэтами велосипедов скрылись в лесу в направлении города.

7

Уже в шесть часов следующего утра Степан Емельянович крутил педали своего велосипеда, торопясь на огород. Дурное предчувствие владело им. Он, несмотря на свое вчерашнее состояние, слишком хорошо помнил все, что произошло накануне. Слегка увеличенная в размерах, болевшая при каждом прикосновении переносица не давала ему забыть свой позор. Голова тоже болела, но к этой ноющей тяжести в мозгу он привык и не обращал на нее особенного внимания.

Еще не доехав до места, Степан Емельянович сквозь редкие деревья опушки начал рассматривать огород. Не замечая ничего такого, что могло бы его потревожить, он слегка успокоился и продолжал путь; однако, подъехав ближе, понял, что перестал волноваться преждевременно.

Картина, которую застал Степан Емельянович, была более чем плачевной.

Самые неприятные чувства охватили его, когда, открыв калитку, замок которой был сломан, он начал оглядывать грядки. Старый огородник, переживший не один случай воровства со своего участка, Степан Емельянович тем не менее не мог смотреть спокойно на то, что его окружало.

Всюду виднелись отпечатки чужих подошв. Среди них, присмотревшись, можно было разобрать следы от легких мужских кроссовок, а также узкие и глубокие вмятины, оставленные изящными женскими босоножками. Везде, где эти следы, пересекаясь, сбивались в кучу, бросались в глаза деяния недобрых рук. Ветви яблонь были сломаны и либо безвольно висели перпендикулярно земле на остатках коры, либо лежали в траве вокруг стволов. Потоптанные плети огурцов начинали желтеть, а загубленные кусты помидоров клонились к земле сломанными верхушками. Плоды кропотливого труда всей семьи были варварски уничтожены в разгуле ничем не сдерживаемой человеческой ярости.

— Я так и думал... Я так и думал... — шептал Вскипаев в унынии. — Я так и думал, — повторял он, заметив новое злодейство.

Побродив по участку минут десять, он присел на крыльцо возле домика.

Знакомый сосед на велосипеде проезжал мимо. Он остановился и, обведя глазами участок, задержал взгляд на лице Вскипаева, протянув при этом:

— У-у, Емельяныч, кто это тебя так? — не ясно было, вопрос касается переносицы или пострадавшего огорода.

— Да вот, видишь, как... — неопределенно ответил Вскипаев и попросил закурить. Сосед протянул сигарету. Вскипаев встал с крыльца и принял ее. Было видно, что Емельянычу не до разговоров, и поэтому, спросив, нужен ли огонь, и услышав в ответ — нет, не нужен, — сосед закрутил педали дальше.

Степан Емельянович вернулся на крыльцо. Взяв сигарету губами, он долго искал по карманам спички, но все не находил их; когда же нашел — закурил.

Сигаретный дым немного успокоил его. И все-таки душа была не на месте. Мутные волны досады одна за другой подкатывали под сердце. Мрачные мысли лезли в голову. Каждая минута размышлений невольно утяжеляла чувства, и без того камнем лежавшие на душе.

Сигарета была без фильтра, и Степан Емельянович выкурил ее до самых пальцев. Более всего его удручало не то, что все эти кусты и ветки, приведенные в негодность, могли бы принести хороший урожай, который всегда так радовал его сердце. Не то, что он, рядовой сотрудник отдела небольшого завода, вместе со своей женой, учительницей младших классов, вряд ли смогут найти столько денег, чтобы купить всю эту продукцию на рынке. Дело было в том унизительном бессилии, которое чувствовал он, глава семьи Вскипаевых, сидя вот здесь, на крыльце, и глядя на свое разоренное гнездо.

«Надо идти в милицию, — подумалось вдруг Степану Емельяновичу. — Надо идти в милицию...»

Эта мысль долго не отпускала его сознание в то утро, словно принося душе успокоение. О чем бы он ни думал, что бы ни делал — каждое действие, каждый звук отзывались у него в голове назойливым «надо идти в милицию...»

Яркое утреннее солнце в безоблачном небе обещало такой же жаркий день, как и предыдущий…

b



РАГНЕД МАЛАХОВСКИЙ

Бережница

* * *

Жемчужина в янтарнейшей оправе,
Моя ты Нарочь, кто я
Без тебя,
Без верности той соловьиной славе,
Не осознавшей все еще себя?!

Мальчишкой
По тропе рассветно росной
Спешил послушать сказки камышей.
Качались в облаках седые сосны...
Вот и сейчас я пред красой твоей.

И снова поплыла душа по волнам,
И вновь мечтаю, будто бы во сне,
О доброте, о вдохновенье вольном,
О всем, что с детства здесь досталось мне.

Любовью под созвездьем Бережницы
Меня обнимет утренний покой.
Бросают звезды серебро
В криницы,
И я ловлю счастливою рукой.

...Путями памяти на этот берег
Вернусь не раз, тоскуя и любя
Своею благодарностью и верой...
Моя ты Нарочь, кто я
Без тебя?!

Исповедь

Прыткий, распахнутый ветер
В лунную даль позовет.
Тихим кочевником вечер
Бродит под каплями звезд.

Мокрыми окнами хата
Смотрит в осенний садок.
Мысли, витая крылато,
Станут дыханием строк.

Ночь мне диктует:
— Пиши
Исповедь тайны души!

Небо, за мной наблюдая,
Тоже как будто прочтет, —
Видимо, не одобряя,
Тенью окна зачеркнет.

Душа поэта

Не вернуть солнцеокого лета,
Не забыть тополиных аллей,
А душа молодого поэта
Очарована пением фей.

Время смотрится в даль вековую
Вновь глазами обиженных звезд,
А слова мои радость милует, —
Растревожила душу до слез.

Бродят тени забытого лета,
Ветер прячет себя в камышах,
А душа молодого поэта
Певчей птицей парит в небесах.

Матери

В ночи, когда гаснут огни
И думы объяты покоем,
Ты нежно меня обними,
Напомни мне детство рукою.

Тень свечки гадает на сон,
Ей лунного света не хватит.
На волнах серебряный звон
Как будто бы сам себя катит.

Я сны твои сердцем приму,
Как голос святой Беларуси.
Ночами, пока не усну,
На образ твой, мама, молюсь я.

* * *

Вдруг некому сказать и «До свиданья»,
И этот эпизод судьбы погас.
Все в сумерках исчезли расстоянья, —
Обиженный, куда иду сейчас?

Сиянием небесным насладиться
Сумеет ли изнывшая душа?
Судьба моя — ей завтра вновь родиться
И пить любовь из звездного ковша.

Здесь колыбельную заводит ветер
На языке, понятном только мне.
Минуты подкрадутся на рассвете,
Чтобы застрять в бессонной тишине.

Спешить боюсь в неведомое завтра.
Соломинкой надежды день помог.
Мой выбор сделан, — в нем святая правда:
Я в жизни остаюсь, что дал мне Бог.

Огонь на ладони

Мне в утешенье шепот волн строптивых
Под вечной высотой голубизны.
Не сосчитать у родников родимых
Бесцельно мною прожитые дни.

Осталось только поклониться звездам, —
Они мудры, в них даже свет тепла.
Они сошлись, чтобы сияньем гордым
Тень дьявола испепелить дотла.

И все ж спасет ли небо от никчемных,
Бездумных и сухих, бездушных слов?
Стремлюсь в мир чувств, ничем не отвлеченных,
Но к ним еще всей явью не готов.

Нет зависти во мне к созданьям Бога,
Я лишь сочувствую сухим ветвям.
Исчезла в тучах звездная дорога,
С ладоней пепел отрясаю сам.

Путь к тебе

Н.Н.

В космической безмолвной тишине
Теперь твой голос чистый и печальный...
Неужто это по своей вине
Я потерял к любимой путь астральный?

Блуждая, даже сам не зная где,
Уже из жизни исчезая тоже,
Увидел я, что грусть моих надежд
Седую мглу высвечивает все же.

Трясина слов засасывает свет,
Провалы в бездну путь его теряют,
А где-то среди тысячи планет
Одна живая — и тебе мерцает.

Мне губы тронет сумрак злого дня
Гортензией измученно сухою,
Ведь голос твой остался для меня
За космосом извечного покоя.

* * *

Залито поле солнечным вином
И васильки поблекшие скрывает.
Кому-то счастье вновь стучится в дом,
А кто-то доски для себя стругает.

А ветер пыль взвивает на песке
И что-то там, на раздорожье пишет.
Как люди, отражаются в реке
Могучие дубы на пепелище.

Над озером, укрытым тишиной, —
Как призрак, всеми брошенная хата...
Кому-то — жить печальною игрой,
Кому-то — лишь судьбою виноватой.

Развеет ветер мыслей череду.
Вино... Мечты... Ничто не будет новым...
О чем-то плачет, чувствуя беду,
И ангел на пригорке васильковом.

Не умерли мы

И станут бесконечными мгновенья,
И на судьбе проступят злые слезы.
А в трещинах извечные каменья
Осветятся сиянием березы.

Былых соблазнов вспомнятся пожары, —
В них наши устремления сгорали.
А жизни беспощадные удары
Нас падать на колени принуждали.

Теперь все только в памяти безбрежной, —
Глубокой ночи высохла река.

В руке младенца, трепетной и нежной,
Сияет синью запах василька.

Сознания святое просветленье,
Туман надежды выплывет из тьмы.
Себя познав, и наше поколенье
Докажет миру, что живые мы.

Бережница

Ты, богиня озер, Бережница,
В бездне вечной, в густой тиши
Спрячь беду, помоги же сбыться
Сокровению души.

Бережница, химера поэта,
Насладиться любовью дай
И в глубинах земного света
Вдохновением возвышай.

Бережница, девчонка земная,
Не чурайся меня, не беги, —
Чистоту свою, грусти не зная,
Навсегда сбереги.

Бережница, мое просветленье
Ослепляешь красой живой, —
Сердца сумрачные сомненья
Хоть немножечко успокой.

Бережница, водица святая,
Жизнестойкая сила твоя
Мне теперь — как волна золотая,
Чтоб очистился я.

Перевод с белорусского Изяслава Котлярова.





АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

Одесские грозы

Рассказ

В Одессу я приехал лечиться грязями Куяльницкого лимана. Одесса летом напоминает большую сковороду, на которой жарится многочисленное племя курортников. Песок на пляже раскаляется так, что ступни дымятся. Словно шагаешь по головешкам разбросанного костра. Люди ловят солнце и изнемогают от него, боятся его и его же жаждут, им грезят и от него защищаются. От неизбежного в этом пекле обугливания спасти может одно — купание.

Представьте теперь, какой неудачной шуткой показались мне слова врача: «Категорически запрещаю купаться. Хотите вылечиться — загорайте, но купаться — ни-ни!»

Однако спорить с медициной не всегда разумно. В первые же три дня боли в пояснице стали невыносимы. Поневоле пришлось воздержаться от купания и ходить на пляж спозаранку, до большого жара. Сделать это было тем проще, что поселился я у самого моря, на Чичерина.

Однажды августовским утром на пляже, полупустом еще в этот ранний час, я увидел необычную пару. Ему было за сорок. Сутуловатый, с плоской грудью и худыми руками, с копной седых волос на большой голове, он был похож на какую-то странную птицу. Черные очки подчеркивали бледность высокого, не тронутого загаром лба. Тонкий с горбинкой нос придавал лицу выражение надменное и, как показалось мне, даже хищное.

С ним была молодая черноволосая женщина. Удлиненные пропорции ее тела, скорбная задумчивость и затаенная боль, угадывавшиеся в ее глазах, в рисунке губ, живо напомнили женщин с картин Эль Греко, которым я тогда был увлечен. Несмотря на заметную разницу в возрасте этих пляжников, я почему-то сразу принял их за супругов. Горьким упреком неумолимому и беспощадному времени выглядели два этих человека рядом.

Он полулежал в шезлонге, и солнечные блики сквозь листву невысокой акации скользили по его лицу, вспыхивая на стеклах очков. Не поворачивая головы, он говорил что-то женщине, а та записывала в тетрадь, что лежала у нее на коленях. Иногда она откладывала тетрадь, надевала резиновую шапочку, и они, взявшись за руки, шли к морю. Черные очки оставались в шезлонге, и тогда вдруг обнаружилось, что глубокие глазницы его пусты. По обычаю слепых он шел чуть позади своего поводыря, изредка наступая на подстилки загоравших. Медленно заходили они в воду. Он не плавал, а лишь окунался да вытягивал руки навстречу волне, будто здоровался с нею. А женщина быстро плыла к волнорезу и тут же возвращалась. У шезлонгов она укутывала его, как ребенка, большим мохнатым полотенцем, и работа возобновлялась. Он диктовал, затененный акацией. Она писала. А капли на ее плечах дрожали и искрились, но вскоре исчезали. На загорелой коже оставались белесые следы соли.

Прошло несколько дней. Мы познакомились. Игорь Петрович оказался музыковедом. Ольга, как я и предполагал, была его женою. Неизменно каждое утро они приходили на пляж, садились после купания в шезлонги и могли сидеть так и полчаса, и час. Потом на ее коленях появлялась тетрадь, и он принимался диктовать. Голос у него был тихий, и диктовал он не торопясь, словно прислушиваясь к словам.

— Как это ни парадоксально, — говорил он, — способность слышать произведение встречается у скрипачей не так часто, а методики ее воспитания до сих пор не существует. Правда, курс сольфеджио так или иначе ставит этот вопрос. Но в специальных классах сознательным развитием умения слышать произведение не занимаются... Сознательным и — добавь — систематичным... Попытаемся рассмотреть эту способность в физиологическом аспекте...

Для меня это было необычно и звучало дерзко: физиология вторгалась в святая святых человеческого духа — музыку! Он говорил об одинаковой реакции на сходные звуковые раздражения, о специализации условного рефлекса целенаправленными повторами, о регуляторной роли тормозного процесса. Мысль его развивалась удивительно логично, и эта гармония строгой логики очаровывала даже непосвященного.

Изредка он просил жену перечитать написанное и что-то исправить. Иногда надолго умолкал. Тогда она, откинувшись, лежала с закрытыми глазами или задумчиво смотрела в море.

А вокруг плескалась пляжная жизнь. Мальчишки присыпали песком девчушку со смешным носом-пуговкой. Неправдоподобно толстые дамы, сидя под тентом, жевали бутерброды и обменивались новейшими рецептами диеты. Лысый толстяк пробирался с бутылками воды; песок обжигал, и он останавливался, поднимая то одну, то другую ногу и высматривая «своих» в этой мозаике тел. Компания длинноволосых парней бренчала на гитарах. Всюду мелькали карты. У еле бьющего фонтанчика питьевой воды не уменьшалась очередь. Босая женщина в грязно-белом халате и соломенной шляпе прижимала к животу большую картонную коробку и хрипло выкрикивала на ходу цены на мороженое. Другая, подвязанная косынкой, с веснушками на лице и загорелых по локоть руках, тащила в корзине вареную кукурузу: «Пшенка! Пшенка! Гор-рячая пшенка!» К ним бежали отовсюду, лавируя меж разноцветных подстилок. По каменным лестницам наверх, к ларькам, лениво плелись за водой и пивом. А в ларьке дородная его хозяйка, ловко жонглируя бутылками и пирожками, жаловалась: «Ви подумайте! Ви только себе подумайте! Жена, как Карла, работает, а муж зарплаточку пропил». И, оборачиваясь, вопрошала: «Ще ж это получается, люба моя?» За пустыми ящиками, у дверей, виновато моргал пьяными глазами красноносый «люба»...

Жизнь плескалась. Деятельная и пустая пляжная жизнь. Она подавляла, парализовала, в нее незаметно включались все. И удивительны были музыковед и его молодая жена: их словно не касалось то, что творилось вокруг.

— Каковы же физиологические причины трудности различения звуков в аккорде? — вслух спрашивал он себя. И, помедлив, отвечал: — Причины в том, что более сильные, интенсивно действующие звуки создают в нервном звуковом анализаторе сильные очаги возбуждения. Тем самым, согласно физиологической индукции, затормаживаются остальные, более слабые пункты комплексного раздражения, вызываемого аккордом. На этом же механизме основано совершенство или несовершенство слышания полифонической фактуры.

Однако и в мир этих людей влетали временами пляжные брызги. К их ногам вдруг подкатывался мяч из соседнего кружка волейболистов. Ольга,

словно очнувшись, вскакивала, поднимала мяч и кидала его игрокам. А потом, отрываясь от тетради, посматривала на девчонок, что вместе с ребятами прыгали в кругу. И было в ее взгляде не одно любопытство, но и какая-то дальняя грусть.

Однажды она ушла купаться одна и уплыла далеко за волнорез. Туда, где плавилось солнце, где белые паруса гонялись друг за другом. Где маленькие лодки встречали белый катер и качались на волне, рожденной им. Она уплыла далеко и долго не возвращалась. Видно было, что он начал волноваться. Склонив голову, он слушал, пытаясь выделить из массы звуков те, что связаны с нею. Я тоже не мог различить на воде Олиной шапочки.

Когда она, наконец, появилась у мола, я поспешил успокоить Игоря Петровича.

Вернулась она возбужденная.

— Ты устала?

— Что ты! — отвечала Ольга, широко улыбаясь. Потом, накинув полотенце и присев на горячий песок у его ног, она оживленно рассказывала ему. Рассказывала о том, чего он не мог, но должен был увидеть. Увидеть сквозь слепоту.

Наутро я застал их на обычном месте. Игорь Петрович не спеша диктовал. Речь по-прежнему шла о физиологических тайнах обучения скрипача.

— Опытами установлен весьма важный факт. Если воспитывался комплекс, в котором одни компоненты — сильные раздражения — подавляли другие — слабые раздражения, то многократное применение комплексного раздражителя не приводило к иному результату. Когда же воспитывали... в скобках напиши — укрепляли... подавляемый компонент отдельно, то после такой тренировки он не подавлялся уже и в комплексе.

Подиктовав немного, он замолчал. Закрыв глаза, Ольга отдыхала.

— Простите, если помешал, — послышалось рядом.

Высокий загорелый юноша стоял у ее шезлонга. Глаза его задиристо блестели.

— Я принес вам счастливый камень с дыркой. Возьмите его.

И он протянул Ольге мокрый ракушечник, усыпанный мелкими черными мидиями. Нерешительно оглянувшись на мужа, она приняла необычный подарок.

— Спасибо. Но за что же?

— За смелость. Вы хорошо плаваете. Мы с другом видели вчера. Поплывете снова туда, к яхтам, — позовите и нас. Обещаете?

— Я не знаю, — смущенно улыбнулась жена музыковеда. Она вновь взглянула на мужа и положила свою ладонь на его руку, как бы прося поддержки. Или, быть может, защиты. Сейчас они были похожи на отца с юной дочерью.

— Да, конечно, — негромко произнес Игорь Петрович. И было непонятно, ответил он жене или юноше.

— Мы будем здесь, на пляже. Вон видите ту рыжую бородку возле этюдника? Это мой друг Виктор. А мое имя Давид... Так мы ждем.

Сказал и ушел к своему другу. А она, удивленная, смотрела ему вслед и видела его загорелые ноги и следы, оставшиеся на песке. Глянув на серый камень с ожерельем из черных мидий, она обернулась к мужу и осторожно положила ему на ладонь неожиданный этот приз. Повертев камень в руках, он опустил его на песок и попросил вдруг:

— Запиши-ка, пожалуй, вот что. Там, где говорим о возможных раздражителях... Нашла?.. Добавь куда-нибудь. Раздражителем является также

пауза, то есть прекращение действия раздражителя. Все эти раздражители положительного действия дополняются гипнотизирующими раздражителями, которые вызывают торможение в корковых клетках, так что пианиссимо, например, может вызвать гораздо более интенсивную реакцию, чем самое громкое звучание.

Она писала, украдкой глядя в ту сторону, где в окружении нескольких пацанов сидели у мольбертов Давид и его бородатый друг. Видно, весело им работалось — оттуда то и дело слышался заразительный смех.

Начинало припекать. Друзья, убрав кисти и этюдники, отправились купаться. Меж тем Игорь Петрович размышлял вслух:

— Еще менее разработанным является воспитание у музыканта умения запоминать изучаемое произведение... Пожалуй, припомним тут Асафьева... Асафьев справедливо подметил, что без гимнастики запоминания нет прогресса восприятия музыки, нет эволюции музыкальной культуры.

Он помолчал и тихо продолжал:

— Совсем выпадает из деятельности специальных классов развитие наиболее творческой способности музыканта — умение обогащать свои звуковые впечатления, то есть... звуковое воображение... Ты не слушаешь меня?

Ответа не было. Она действительно ничего не слышала. По пляжу шел к ним сияющий Давид. Капли воды сбегали по лицу и груди его и подмигивали, словно осколки зеркала. В одной руке покачивались на трубке мокрые ласты и маска. В другой руке он держал притихшего краба, новый дар моря жене музыковеда.

И побежали дни, не похожие один на другой. Выдумкам друзей не было конца. То, упросив Ольгу позировать, они наперегонки писали ее портрет. То все вдруг бросались искать камни поинтересней. Лучшие находки сразу расписывались краской. Получались одноглазые рыбки и клетчатые черепашки, морские коньки и попугаи, гуахаро, кинкажу и другие диковинные птицы и звери, которым тут же придумывались названия. Потом Давид устраивал соревнования по борьбе. Парни, пыхтя и отплевываясь, барахтались в песке, и каждый старался уложить другого на лопатки. Еще не совсем просохшие сувениры получали все, побежденные тоже.

Пригласив с собой Ольгу, они шли нырять: один за другим взбирались наверх, на горку, скатывались по скользкому пластику и скрывались в кружеве брызг. Не знаю, завидовал ли Игорь Петрович молодости этих выдумщиков. Внешне он оставался невозмутимым, но в разговоре со мной внезапно умолкал и, как мне казалось, напряженно вслушивался. Впрочем, у людей творческих способность умолкать среди беседы, словно отгораживаясь на время от окружающего и замыкаясь в себе, случается не так редко. Мне же нравилось говорить с ним; суждения его отличались основательностью и своеобразием. Однако к удовлетворению от наших бесед примешивалась жалость — не то к Игорю Петровичу, не то к самому себе. Боли в пояснице не поддавались лиманским грязям, и врач заставлял меня безжалостно печься на солнце.

Однажды Давид и рыжебородый Виктор появились на пляже с двумя огромными пятнистыми арбузами. Собрались у шезлонга музыковеда. Арбузы оказались слегка перезревшими и трещали под ножом. Сидя вкруг этих красавцев, все шутили, смеялись и ели ароматные алые дольки, истекающие прохладным соком. Покончив с арбузами, друзья пригласили нас пройтись под парусом. Игорь Петрович и я отказались и остались на пляже. Они ушли втроем, и парус их яхты долго петлял и кружил в хороводе далеких белых треугольников...

А потом начались грозы. Ослепительные, звонкие. Одесские грозы. Вечерами они накатывали внезапно с моря и буйствовали всю ночь, стихая лишь к рассвету.

В тот вечер я никак не мог уснуть. Духота плотно обнимала своими липкими руками, тюрбаном окутывала голову. Не помогали открытые окна. За стеной шепелявил сифон и мурлыкал вентилятор. В квартире напротив диктор бодрым голосом читал выпуск новостей. Чья-то скрипка снова и снова начинала грустный этюд Сен-Санса, но спотыкалась и сконфуженно умолкала. Кто-то невидимый выдохнул в темноту: «Скорей бы уж...» По двору звонко процокали каблучки.

Я оделся и побрел к морю. Тускло светили фонари, словно измученные духотой. В разрывах облаков мерцали светляки звезд. Верещали в кустах цикады.

Несмотря на поздний час, на лежаках и в воде чернели фигуры — одесские пляжи не ведают сна. Я сел у самой воды. Уф-ф! Наконец-то! Воздух здесь был прохладнее, пахло морской травой и рыбьей чешуей. Под черным небом лениво колыхалось море. Мигал невыспавшийся глаз маяка. Плавно скользили огни проходящих судов; над ними уже мельтешили молнии: там рождалась гроза.

Поблизости, на камнях, выступавших в море, сидели двое. Вспышки молний отчетливо вырисовывали их силуэты.

Постепенно ворчание грома становилось все громче, а сполохи все ближе и ослепительней. Легкий ветерок порхнул поверху и разбудил спавшие тополя. Проснулось и море. Шумно вздохнуло и заходило, закачалось.

Сверкнуло совсем рядом и залило все серебром. Потом вверху что-то сухо треснуло, раскололось и дробно покатилось по крышам, сотрясая небо и землю. Взвизгнула где-то женщина. Рванул ветер и вмиг сдул ночных пляжников под тенты и навесы. Я тоже оказался под каким-то бетонным козырьком.

Новая вспышка. Белый песок. Серебряные гребешки волн. И две завороженные фигурки на белых камнях, уходящих в море.

Молнии всплескивали одна за другой, разделяемые краткими промежутками режущей глаз черноты. Разом ударила во все барабаны крупная дождевая капель. Ударила, замерла, словно прислушиваясь, и — рухнула шумная водяная лавина. Мимо пробежали те двое, и я узнал в них Давида и Ольгу. Они бежали, рука в руке, и смеялись. А кругом мелькали голубые молнии и хлестал косой летний ливень.

Яркая вспышка залила синеватым светом длинную лестницу. И там, наверху, Давид подхватил Ольгу на руки и закричал что-то в сияющее небо. По лестнице запрыгал счастливый женский смех.

И мне вдруг стало по-детски радостно. Забыв о своих болезнях, я шагнул в беснующуюся темноту. Все так же грохотало небо, и в сумасшедшем танце извивались молнии. И так же бил в барабаны дождь. А мне припомнилось солоухинское: «Не прячьтесь от дождя! Вам что, рубашка / Дороже, что ли, свежести земной? / В рубашке вас схоронят, належитесь. / А вот такого яркого сверканья / Прохладных струй, летящих с неба — с неба!»

К утру гроза кончилась. Когда я проснулся, солнце успело забраться высоко и подсушило улицы и крыши. Поясницу ломило — видно, сказался ночной душ.

Я спустился к морю. На пляже было сыро, лишь кое-где на лежаках виднелись фанатики загара. У этюдников сидели друзья-художники. Виктор быстро писал, даже борода его была в краске. Давид часто посматривал наверх. Музыковед с женой в этот день не пришли.

В оставшиеся до отъезда дни я встречал их на пляже каждое утро. Игорь Петрович подолгу сидел молча, иногда диктовал. Ольга писала. А после

купания укутывала мужа, как ребенка, в мохнатое полотенце. Друзья азартно работали, и выдумки их не истощались. А вокруг плескалась пляжная жизнь... Все было так же. Разве только пореже доносился смех оттуда, где в окружении пацанов сидели Давид и рыжебородый Виктор. Да грустнее обычного казалась жена музыковеда. И все чаще на приглашения друзей поплавать или походить вместе под парусом Ольга отвечала вежливым отказом. «Она решила постричься в монахини», — пошутил как-то Игорь Петрович. Но шутка эта никого не развеселила...

Кончилось мое лечение, я уехал далеко от моря. С тех пор прошло много лет. Изредка вспоминалась мне раскаленная Одесса и ее удивительные грозы. Вспоминался худощавый слепой музыковед и его дерзкая попытка понять физиологию воспитания музыканта. Всплывала в памяти длинная лестница, освещенная молнией, и Давид с Ольгой на руках. А потом ее грустные глаза, когда она отказывалась от приглашений друзей-художников. Как сложилась судьба этих людей? Об этом я мог только гадать. Пока случайно не встретил Ольгу.

Теплоход «Украина» шел из Батуми в Одессу. По пути он должен был зайти в Ялту, куда я как раз спешил. До Ялты оставалось часа два ходу, но мне не спалось. Я вышел на палубу. Звездная ночь дохнула в лицо прохладой, прогнала прочь остатки дремоты. После каютной духоты здесь было даже холодновато. Тускло, словно задремав, светили звезды. Тихо вздыхало море. Казалось, не спят одни судовые машины. Да еще кто-то одиноко стоял у борта. Светляком мерцал огонек его папиросы. Я вынул сигарету, но спичек не оказалось. Возвращаться не хотелось, и я пошел вдоль палубы к курившему. Подойдя ближе, я увидел, что курит женщина, и узнал ее. Это она накануне вечером сидела в салоне и читала, а рядом бегал малыш лет пяти. «Мама, мама, — тормошил он ее, — почитай сказку». Нетрудно было угадать в ней Ольгу, жену слепого музыковеда. За эти годы она мало изменилась, была так же хороша и стройна. Только в черных кудрях появилась седая прядь; но быть может, это всего лишь дань моде.

Подойти к ней тогда я не решился, ведь прошло столько лет. Но теперь я не удержался и спросил, не знает ли она музыковеда Игоря Петровича. Она вздрогнула и посмотрела на меня с испугом и удивлением.

— Он был моим мужем. Но кто вы?

Я напомнил ей об Одессе, о друзьях-художниках, о диктантах Игоря Петровича на пляже. «Да, да», — кивала она головой, торопливо затягивалась и смотрела сквозь дым на удалявшиеся огоньки — мимо встречным курсом прошла «наливнушка».

— Его уже нет, — сказала она тихо, словно боясь потревожить воспоминания. — Случилось это той же осенью. Мы жили рядом с железной дорогой, у самого переезда. Там его и нашли... Он был еще жив. Просил, чтобы меня не пускали к нему. А когда я вошла, сказал мне: «Оплошал я немного... ты прости... и будь счастлива. Хочу, чтоб родился сын...» Он всегда хотел сына. Да, видно, не суждено было.

Хриплый голос ее дрогнул, и она нервно несколько раз затянулась.

— Схоронили его без меня, я долго в больнице лежала. Потом Давид узнал, приехал. Возил меня в горы — на Кавказ, в Саяны. Сын у нас родился, Игорем назвали. Пять лет ему уже. На отца очень похож, такой же выдумщик... Додик защитил кандидатскую. Они ведь не художники с Виктором, теплофизики, все в каких-то экспериментах пропадают.

Она снова закурила. Спичка осветила слегка прикрытые большие глаза, прядь волос и губы — в уголках их пряталась скорбь. Мы молчали. Я не

решался о чем-либо расспрашивать. Море все так же тихо вздыхало. Графили небо метеориты.

— А покоя все нет. Осень близится, и опять все то же... Он всегда переходил пути сам...

Молча докурила она сигарету и, извинившись, ушла проведать сына. Когда вернулась, вдали уже показались огни города. Бархатный бас поплыл над морем — наш теплоход приветствовал Ялту.

Чтобы как-то отвлечь ее от воспоминаний, я спросил о судьбе написанного Игорем Петровичем. Она оживилась и рассказала, что недавно вышел сборник его статей. В консерватории официально утвержден лекционный курс, который впервые разработал и прочитал он.

Мимо нас пробежал матрос. Послышались команды, зазвенели якорные цепи. Теплоход пришвартовывался. Ялта встречала нас огнями и гулом ночного порта.

Мы простились, и Ольга ушла. Я взял в каюте чемодан и спустился по скрипучему трапу. Дойдя до железных ворот порта, оглянулся. На палубе никого не было. В ушах все еще звучало: «Осень близится, и опять все то же... Он всегда переходил пути сам».

Утром я услышал басовитый бархатный гудок. Отходила «Украина». Теплоход шел в Одессу. Он вез туда черноволосую женщину с седой прядью и ее маленького сына. Зачем она ехала в Одессу? Я так и не спросил ее об этом.

В один из мартовских дней, когда по утрам воздух крепок и сух и хрустят под ногами прохожих льдистые блюдца, отлитые ночными заморозками, я дописал этот рассказ и, едва дождавшись полудня, понес его в редакцию журнала. Солнце било в глаза, отражаясь в каждой оттаявшей луже. Наверно, пели уже жаворонки. Всегда удивительно и радостно услыхать среди уличного шума, где-нибудь над пустырем, их переливчатые звонкие песенки. Если же долго всматриваться в небо, различишь едва заметную трепыхающуюся точку. Но в этот день мне было не до жаворонков. Точно маятник, болтался я у входа в редакцию. Редакционная старушка — не то гардеробщица, не то уборщица, — с лицом добрым, как у моей мамы, и кожей в мелких морщинках, словно измятая пергаментная бумага, взглянула на меня поверх блюдца, из которого с шумом потягивала чай, и, прервав чаепитие, участливо спросила:

— У нас-то впервой? Ну, не трусь, ничего. Рассказ или повесть? Ну-ну, это к Дронову Павлу Максимычу. Лучше всего — к нему. Скоро придет, он всегда в это время в редакции. Аккуратный. Не было дня, чтобы опоздал. Автобусам не доверяет, всегда пешком... Ты его сразу определишь: при усах и с тросточкой...

Я вышагивал по улице, поглядывая на дверь и невысокую мраморную лестницу и гадая, понравится ли рассказ усатому Дронову. Утром я был уверен, что рассказ получился. Особенно удачной казалась концовка; и как это меня осенило?! Я открывал папку и перечитывал знакомые строчки. Но от волнения или еще почему они уже не казались мне так хороши, как ночью.

Высокий седеющий Дронов, с необыкновенно густыми лохматыми бровями и такими же густыми усами, прочел вслух название, молча пробежал глазами начало, заглянул на последнюю страницу и раздельно, с паузой после каждого слова, произнес:

— Укажите ... адрес... Оставьте. Звоните... через неделю.

Не помню, как пережил я ту неделю. Наконец в трубке диктующий голос Дронова:

— Прочел. Зайдите. Поговорим.

Я примчался в редакцию.

— Кровожадны вы, молодые, — седеющие усы топорщились, но глаза из-под нависших бровей смотрели добро. — Не цените жизнь... Не заметили, как входили, ступеньку лопнувшую?.. Так вот... представьте: летом из трещины — одуванчик. Пробился!.. А вы человека — на рельсы... Придуман конец? Так и знал... Положите лет на пять в стол и забудьте... Потом приносите... Когда гуманнее станете.

Я послушался Павла Максимовича. Правда, не сразу. Толкнулся еще в другую редакцию, но и там безуспешно. Через несколько лет, наткнувшись в старых рукописях на полузабытые странички, я переписал концовку. Будь терпелив, читатель! Получилось теперь по-новому.

Вторую неделю нежимся мы втроем на севастопольском пляже. С комнатой нам повезло — сняли у самого Херсонеса. Стоит пересечь развалины древней греческой колонии и спуститься с обрывистого берега, и ты оказываешься у самой воды, на узенькой галечниковой полоске — она-то и служит пляжем. Здесь не бывает людно, поэтому вода даже днем прозрачна. Громкоговорителей здесь пока не наставили, и кроме шума и плеска волн слышны гулкие звоны колокола. Безъязыкий колокол этот подвешен — не знаю, в какие времена, — на двух столбах, у самого обрыва. Редкий мальчишка пройдет мимо, не швырнув камнем в бок этого колосса. И на всякий удар многотонное тело отзывается низким звуком, то громким, то приглушенным.

Утром, шагая к морю, мы встречаем слепую девушку с собакой-поводырем. Заметив их, наш сынишка Игорь, вприпрыжку бегущий впереди, останавливается, замирает и пристально смотрит, как рослая овчарка, связанная с рукой хозяйки коротким кожаным поводком, не торопясь шагает по мощеной булыжником мостовой, замедляя шаг у всякой неровности. Они проходят вдоль длинного некрашеного забора новостройки, извилистой улочкой, огибающей микрорайон, поднимаются на вершину незастроенного холма, с которого видно море. Щелкает карабинчик, пристегивающий к ошейнику кожаный ремешок, и пес отправляется читать по запахам собачьи новости, а хозяйка присаживается на большой валун, лицом к морю. Если не знать о ее слепоте, то, увидев ее в это время, подумаешь: ждет, задумалась; может, кто-нибудь в рейсе дальнем. Овчарка не носится по холму, как другие псы — сеттеры, пудели, молодые боксеры. Трудно сказать, результат ли это дрессировки или просто овчарка стара. Пробежавшись и справив нехитрые утренние дела, она ложится у ног хозяйки, кладет голову между лап, и тогда кажется, что собака тоже смотрит вдаль и ждет.

Встретив их в первый раз, я вспомнил слепого музыковеда и почувствовал себя виноватым. Жена не сказала ни слова, но я понял, что и она думает о нем. Мы старались не встречаться глазами, словно провинились друг перед другом. В такие минуты будто стена появляется между нами; так случалось уже.

Игореша отстал, глядя вслед девушке и ее поводырю, а когда я окликнул его, бегом догнал нас.

— Пап, а пап, где продают таких собак? — выпалил он, забегая вперед и заглядывая в наши лица.

Как сумел, я ответил ему.

— Давай подарим дяде Гоге такую...

Возвращаясь с купания, мы зашли на почту и сочинили втроем телеграмму: «Поселились Херсонесе почти берегу Очень тепло Приезжайте обязательно Ждем».

И сразу стало легко. Не нужно прятать глаз друг от друга. Можно снова плыть наперегонки к дальнему бую, качаться на волнах, нырять, находя друг друга под водой, а потом, слушая смех жены и сына, их веселую болтовню, греться на шершавых теплых камнях, обрамляющих водосборные колодцы греческих колонистов. Можно бродить втроем среди раскопанных археологами колонн и пилястр, гадая вслух, каким был древний город...

Назавтра пришла ответная телеграмма: «У Лены ангина приехать не сможем тчк Отдыхайте возвращайтесь ждем тчк Не заплывайте турецкие воды тчк Игорь Петрович».

Хотите знать, кто эта Лена? Двоюродная племянница нашего музыковеда.

Отредактированный и наново оконченный рассказ я показал своей жене. Ольга — мой самый строгий критик и часто говорит дельное. Прочитав, она по привычке подергала мочку уха, — она всегда теребит свое ухо, когда недовольна чем-то.

— Концовка, пожалуй, слишком расплывчата. Не ясно, что стало с Олей. Вообще много неопределенности... И потом, этот радикулит — зачем он тебе? — Глаза ее весело сощурились: — Ты мне нравишься и без радикулита... Слушай, автор! — Она вдруг посерьезнела, возбужденно распрямилась и даже слегка припрыгнула на диване, как это делает, радуясь, наш сынишка. — Эврика! — хлопнули ладони, словно изловив упорхнувшую было идею. — А почему бы тебе не написать правду?! Или жизнь беднее выдумки?..

Неведомым образом мысли моего домашнего критика, даже вовсе чуждые мне поначалу, рано или поздно срастаются со мною, становясь моими. Из оброненного семечка постепенно вырастает плод. Так родилась еще одна — последняя — концовка. Не сердись на меня, друг-читатель. Я не думал водить тебя за усы или за нос, когда молодым юнцом принимался за свой первый рассказ. Мне казалось тогда, что писать о себе — навязчиво и что лучше бы автору стушеваться, спрятать себя, скажем, в солидного многоопытного, да к тому же страдающего радикулитом рассказчика. Признаюсь, радикулит я себе придумал. Все остальное — правда. Были в Одессе жарким летом Оля и ее муж-музыковед. Тогда же приехали в Одессу и мы с Виктором; на его щеках в тот год только-только закурчавилась рыжая бородка. Был знойный пляж, этюды и грозы. И наши свидания с Олей. До самого внезапного их отъезда... К счастью, это нелегкое время — в прошлом. Теперь Игорь Петрович и Леночка, его племянница, живут неподалеку от нас, и мы часто бываем у них всем семейством. Пожалуй, мы даже не гости в их доме; скорее, это наш второй дом. Маленький Игореша тоже в большой дружбе с Леночкой и дядей Гогой.

Но и сейчас мне страшно вспомнить, как, желая быть рядом с Олей, влюбленный в нее и ревнующий к мужу, я мысленно и на бумаге, в рассказе, который писал тогда, толкал Игоря Петровича к самоубийству. Никакие самоуговоры «быть справедливым» ничего не меняли. Он или я должен отказаться от Оли! Он... или... Нет!.. Я совсем забывал о его слепоте. Мне не было жаль его. Мы были равны, несмотря на его возраст и недуг. И... и... я завидовал ему. Да, да! Завидовал за то сострадание и нерушимое уважение, почти благоговение Оли к нему.

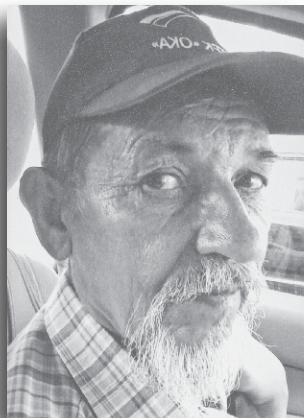
Только теперь, ближе узнав Игоря Петровича, я понял эти Олины чувства.

Долгое время после нашей женитьбы я испытывал большую неловкость при встречах с музыковедом. И чем приветливей и радушнее был он со мною и Олей, тем невыносимее становилось мое состояние. Видимо, он догадывался обо всем. Как-то, оставшись наедине со мной, он сказал:

— Напрасно вы терзаете себя. Напрасно! Мне действительно в радость ваши визиты. Поймите меня!.. Вы сумели наполнить жизнь Оли. Ведь женщине природой суждено быть матерью. Только женщине-матери открывается подлинная жизнь. Только родив дитя, она обретает землю под ногами... Вы, конечно, знаете — у нас не могло быть детей... Жестокая шутка природы! Или какой-то вывих природы... Мне казалось, что Ольга несчастна со мной и только уважение к моему делу, а может быть, просто жалость не позволяли ей раскисать. Она неизменно была нежна со мной. А я чувствовал... чувствовал страшную вину перед нею. Хотя, если подумать, — в чем же вина? Я и сам долго ничего не знал... Когда появились вы, мне было горько... и радостно, только радость пришла много позже. Горько было — ведь мы прожили вместе столько лет! Как я расстанусь с нею? Нет! Нет! — кричало все во мне... Я заставлял себя думать о ее будущем, о том, что она должна узнать материнство... Признаюсь, я не верил сначала вам и ловил себя на мысли, что вы окажетесь недостойным ее и она вас покинет. Да, я хотел вашего разрыва! Надеялся на него!.. Не обижайтесь и поймите мою откровенность. Теперь я знаю вас лучше и говорю вам сейчас лишь потому, что этого не случилось. Все трудное позади... Я пережил свою слабость, свой эгоизм, и рад — да, да, говорю вам искренне — рад, что этого разрыва не произошло. Она счастлива с вами, и это главное. Но я люблю ее!.. Она и сейчас наполняет смыслом мои дни... Когда мы были вместе, я был благодарен судьбе и ей — заботливой, нежной, умной. Но я не догадывался тогда, как много для меня — само ее существование здесь, на земле! Видеться с ней, слышать ее шаги, ее голос, чувствовать, как расцветает со временем ее душа, — разве это не счастье?! Я слушаю, как она смеется с детьми, разговаривает с вами, — и я прозреваю: мир наполняется не только звуками и запахами, но красками, цветами, воздухом. Мне кажется, я вижу!.. Вы сняли с меня клеймо моей вины перед ней, вы сделали ее счастливой, — как же я могу не любить вас?! Простите мне это признание... И, пожалуйста, приходите к нам всей семьей. Мы с Леной всегда вам рады...

Не раз и не два после того памятного разговора я думал с волнением и неприятной дрожью: окажись я на месте Игоря Петровича, смог бы я поступить, как он?.. Не пошли никому таких испытаний, судьба.

b



ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

Поэзия — моя работа

* * *

В гору бор поднимается, хвоей звеня
Над стрелой обелиска.
Вы качаете, словно колыска, меня,
О холмы Волковыска!

Вот взбегу я на холм и споткнусь сгоряча:
Красной ржавью на солнце
Мне распорет ботинок обломок меча
Крестоносца-тевтонца!

Здесь рубились в сраженьях такие умы,
Сталь сверкала кровисто!
Все в себе погребли вы, немые холмы,
О холмы Волковыска!

О как гордо на пашни взираете вы,
Как молчите вы долго,
О живые свидетели древней Литвы,
Тени князя Миндовга!

Упаду я на холм, и тотчас у лица
Обнажит мне природа
Средь ежи-костреца горстку гильз образца
Сорок первого года.

* * *

Я не любил. Но словно вызов
Своей судьбе, я знал игру:
Ходил я к ней и телевизор
Смотрел в натопленном углу.

Пока курил я равнодушно,
Уставя в линзу тусклый взгляд,
Она в соседней комнатушке
Снимала старенький халат.

Кидала валенки под койку,
Искала туфельки ногой,
Срывала с головы заколки
И прыгала полунагой.

Глаза светились влажным блеском.
Ей было трудно и легко.
И чувствовала — вот он, близко.
Я близко был и далеко.

Смотрел я холодно и узко,
Мне шевельнуться было лень,
Когда она вбегала в блузке
И сарафане до колен.

Я был бесчувственною глыбой,
Но с поволокой, чуть кося,
И выпуклые, как у рыбы,
Ее красивели глаза.

Она ничуть не притворялась,
Хоть некрасивою была.
Она как будто отворялась
И чем-то за сердце брала.

На лоб ей падал быстрый локон.
Я таял. Я за ней следил.
Я приближался издалека,
Я забывал, что не любил.

* * *

Под нами — край, обрыв, карниз.
И всюду — пропасть, всюду — бездна.
Мы — из двадцатого, мы — из
Той юности, чье имя — бедность.

В потертых куртках и пальто
И в обуви, что просит каши,
Мы Божьей милостью — никто,
Мы — из потери и пропажи.

Никем не узнаны в толпе,
Всегда нигде и всюду близко,
Мы — в перечне из и т. п.,
Из и т. д. — за гранью списка.

Из тех, кто, вторя соловью,
Щебечет в рифму до восторга,
Кто душу вечную свою
Не выставлял предметом торга.

Кто над одной строкой рыдал,
Отмытой от вселенской пыли,
Кто свою совесть не продал
Не потому — что не купили.

Пусть оккупируют Олимп
Рабы тщеславия и рвенья,
Возносит наши космы в нимб
Священный ветер вдохновенья.

Мы, как ручьи, слышны в тиши.
А вы попробуйте пробиться
Сквозь залежи печатной лжи
И пролежни чужих амбиций!

Над нами неба решето
Сквозит созвездьем наудачу.
Мы Божьей милостью — никто,
Но вы без нас — никто тем паче.

* * *

Не подличал я и не крал,
Но те, что судьбу нагадали,
Солгали! Я жизнь проиграл,
Я жизнь проиграл на гитаре!

Пока упражнялся в баре
И тремоло крепко освоил,
Высоцкий хрипел во дворе,
Народ коммунизм не построил.

Как будто порвалась струна,
Что стоила мне, может, жизни, —
Распалась на части страна,
Сменились, как вывески, «измы».

А я под гитару, нелеп,
Опять подставляю колени,
Хоть всюду звучит ширпотреб —
В ларьках, в кинозалах, на сцене.

Когда впереди все черно
И близко от плахи до праха,
Пора не играть ничего
Уже, кроме Сора и Баха.

И что уже время жалеть
И жаждать успеха мирского,
Коль нежно поет флажолет
Душой Иванова-Крамского!

На бруствер

Не медли! Пора подниматься
В окопе своем в полный рост
Под пули чужих публикаций,
Свистящие наперехлест!

Бежать в наступление скопом
Уютнее, чем одному.
И все ж я себя над окопом
Презреньем к себе подниму.

Хоть тянет пригнуться пониже
И манит окоп, как магнит,
Встаю в полный рост, чтобы выжить,
В болотной отсидке не сгнить.

Встаю, неказистый и малый,
Скорее изгой, чем солдат.
Штабисты и литгенералы
За мной из укрытий следят.

И с мыслью и верой — пробиться,
Встаю, все сомненья поправ,
На доты бетонных амбиций
И танки прижизненных слав.

На бруствер, не дрогнув и бровью,
Оставя сомненья и страх,
Навстречу огню и злословью
С одной только лирой в руках.

Кедрач[1]

Весь горизонт в дожде размяк.
И это, кажется, навеки:
Размытый склон и березняк
В последней бронзовой камлейке[2].

Домишки хуже мокрых кляч,
Дождем стреножены, не ропщут.
Осинки голы, лишь кедрач
Избегнул участи всеобщей.

За что, ей-богу, не пойму
Он зелен, попирая старость,
И юность вечная ему
За грех иль праведность досталась?

---

[1] Кедрач — кедровый стланник, кустарник
[2] Камлейка — корякская национальная одежда, летняя накидка типа плаща, изготовленная из оленьей шкуры, лишенной мехового покрова.

Зимой и летом вечный жар
И кровь зеленая по венам.
Чем платит он за этот дар —
Ценой любви или измены?

И почему, вертясь, юля
Перед березой откровенно,
У самого ее комля
Стоит он молча на коленях?

Как бы стремясь укрыть ее
От стужи колким одеялом
В смешном раскаянье своем,
В своем порыве запоздалом.

И почему она над ним
Надменно высится нагая,
Стволом морщинистым, кривым
Свою судьбу превозмогая?

Поэзия — моя работа

Юрию Сапожкову

Все перепробовал без счета
Под хладным небом и в тепле.
Поэзия — моя работа
Единственная на земле.

Кидал бетон, точил детали
Иль грелся в тундре у костра,
А мысли где-то там витали,
Где рифма музыке сестра.

Рубаха, мокрая от пота,
Взлетает сейнер на волне.
Внутри шла главная работа,
Второстепенная — вовне.

Но от которой тело ныло,
Какая жгла жарой горнил?
Второстепенная кормила,
А главную — собой кормил.

В ее голодную утробу
Бросал, насытилась дабы,
Свои прозренья, радость, злобу,
Восторги, жалобы, мольбы.

Когда народ наш пил без меры,
От бездуховности сомлев,

Поэзия была мне верой
И смыслом жизни на земле.

Попробуй от нее уволься!
Я знал сквозь приступы стыда:
Она мне не простит довольства
Собой и жизнью никогда!

Тебя до смерти не покинет,
Но ты ее, как ни судачь,
Не проведешь и на мякине
Страстишек, выгоды, удач.

Твоя Венера и наяда,
Твоя мечта, злой гений твой.
И женщине с тобою рядом
Быть не позволит ни одной.

И как бы сердце ни хмелело
От ласк, настигнувших его,
Ей счастья хрупкую химеру
Разбить не стоит ничего.

Все, что меня обуревало,
Я мерил на ее аршин:
И бездны духа, и провалы,
И взлеты выше всех вершин.

Душа порой бывала рада
Покинуть мир земной тщеты.
Еще больнее было падать
С той запредельной высоты.

Но, быв не робкого десятка,
Себя на землю водворив,
Вновь крыльев жалкие остатки
Вязал я проволокой рифм.

И тех певцов сладкоголосых
Я перешел уже межу.
Все больше на библейский посох
Я с каждым годом похожу.

За этот чад самоотравы,
За дерзость — выше головы
Я от нее не ждал ни славы
И ни прижизненной молвы.

А только горнего полета
Пусть и с прорехами в крыле.
Поэзия — моя работа
Единственная на земле.

Послесловие

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной...
Арсений Тарковский

Я тоже жизнь свою прожил не мною,
И никого я в этом не кляну.
И вот уж семь десятков за спиною,
И я неведом в мире никому.

По чьим-то меркам прожил жизнь я плохо,
Вплетая тихий голос в общий хор.
Я в подмастерьях бегал у эпохи,
Корреспондент, газетчик, репортер.

Я был системой ложных догм испорчен,
И жил грешно, как всякий лицемер,
Но из себя я гения не корчил.
Писал, как мог, и мыслил, как умел.

Мой век ушел, и мой читатель умер.
Я обошел признанье стороной.
Но все равно я шлю в пространство зуммер,
Ища сердца, согласные со мной.

И вот пред тем, как вскоре кануть в Лету,
Я знаю, мне воздастся по делам:
Я разменял на мелкую монету
Отпущенный Хозяином талан.

И вот, когда не за горами немощь
И дождь нет-нет да надо мной всплакнет,
Я обменять спешу творений мелочь
На крупного достоинства банкнот.

Прости меня и дай мне время, Боже,
Пусть в нищете и на исходе сил,
Трудясь душой и словом, приумножить
Хотя бы вдвое то, что получил!



ВИКТОР СУПРУНЧУК

Николай Борода и конь Голубок

Рассказ

В городке Береза возле красного костела, где уже который год размещается военный магазин, Борода встретил Ядя из Ворожбитов. Постарел человек, сдал. Совсем уже дед. Еле ноги волочит. А вроде ж ровесники. Должно быть, это в тридцать шестом подхорунжий Манец вмазал Ясю кулаком. Да так, что тот, бедный, без двух зубов остался. Беззубым и домой из армии вернулся. И правильно поступил подхорунжий: не калечь животное, смотри за ним лучше, чем за собой. Это же лошадь, а не железная машина. Но что бы сделал подхорунжий Манец, увидев сегодняшних лошадей? Нет хозяина... И вот результат — одни клячи. Хочешь объяснить, что такое колхоз, просто покажи лошадей...

Борода стоял у реки и думал. Куда спешить? Впереди летит бешеная мутная вода, а позади конь потихоньку грызет сено. Пусть поест: все равно крыльев нет, реку не перелетит. Придется оглобли поворачивать назад.

Вчера ночью за Клебанцом у старой конюшни выл волк, словно его кто-то покалечил. Может, в речку попал и спасался. От страха и выл. Ясельда уже неделю как взбунтовалась. Столько наглоталась воды, что поперло из горла. Не счесть, в скольких местах прорвала большак. Пять мостов выстроили на ее пути, а ей все мало и мало. В Симониках подтопила дубы. Еще немного — и от диких груш и яблонь, которые кучерявятся на хуторской усадьбе, и следов не останется. Кругом будет вода, вода...

— И чего ты здесь, Николай, стал? Езжай лучше на Подречье. — Он и не заметил, как подошла Колбасеиха. — К сенокосу вода успокоится.

— Вижу, вижу. Что-то ж будет.

Он и без нее знает, что еще с полмесяца и — стихнет Ясельда. От игры реки с водой останутся только ямы-вымоины. Они глубокие, словно великан или небесный царь прошелся ножом по земле. Тяжело будет ездить возам в лес. Ну, ничего. Потихоньку да полегоньку. Разве в первый раз показывает река свой характер. При поляках, когда трелевали лес к Блудню на станцию, еще не то было.

— Так ты едешь, Николай, или нет? — Колбасеиха трогает его за плечо.

Старая женщина выбилась из сил. Идет, словно на плечах копна сена. Это все колхоз боком выходит. Лошадь даже не дают, чтобы дров привезти. Походи за бригадиром Малахецким, покланяйся ему, рюмку поставь, а может, и еще что. Мне не нужно кланяться, просто попроси — и не откажу. Все чтоб по-человечески. Вижу, я все вижу. А скотом я не был и не буду.

— Еду, Антоля, еду, — Борода вздохнул, глядя, как прет взбаламученная вода, таща за собой сучья, ветки, бревна. — После обеда привезу. Иди домой. Как твой Янек?

— Ой, плох, совсем плох. Бегал за этой пенсией, бегал. Еле ноги волочит. А ты оформил себе пенсию, Николай?

— Кто ж мне даст пенсию? Я ведь не колхозник. Проживу как-нибудь и без их милости. Но, Голубок! — Борода чмокнул раз-другой, и конь, словно услышав его мысли, дожевал сено и не спеша двинулся от первого моста к Подречью. Дорога тут была лучше, и Борода, немного пройдя пешком, вскочил на телегу.

Где-то впереди ревел трактор. Вороны на столетних вербах каркали, каркали. Грустно им. Может, эти же вороны сидели тут и год, и два, и десять лет назад, когда он проезжал мимо в лес. Вчера в кино сказали, что они долго живут.

Покаркала, покаркала себе и полетела. А тут соображай, как завтра. Но, Голубок! Думают, что я глупый. Сами они глупые. Не могу я жить в этой их общей конюшне. Как гляну на них, плакать хочется. Скажу вот тебе, Голубок: словно и не живу я. Все время в мученьях, на распутье. Когда это уже закончится? Один Бог знает... Наберем сейчас хворосту и завезем Колбасеихе. Как не помочь человеку? Чем печь топить будет? Наверно, какой-то запас и есть, но пока живет человек, до тех пор и думает о завтрашнем дне. Привезем ей, Голубок, дров, привезем.

Небо что-то тучами заволокло, ветер холодный; только б снег не посыпал. Но ничего, Голубок, сено и картошка у нас есть. На хлеб заработаем. Буханки на день тебе хватит. Хочешь, куплю сегодня белого? Ай, лучше не надо. Заважничаешь как пан, сено поперек горла станет. Веселей шевелись. Подъедем ближе к Сошице. Там много сухостоин. Пугают меня, что без разрешения вожу дрова. А что: они — собственность председателя колхоза? Купил их, как когда-то Симоник при поляках? Так Симоник не ел, не пил. Злотый к злотому, грош к грошу. Тужился, тужился. Стал хозяином, лес заполучил. А тут бац — большевики. Все забрали. Слава Богу, что в Сибирь не выслали. А этот откуда-то выскочил, приблуда! Сухой был, как щепка. Штаны на мягком месте светились. Теперь не узнать. Живот, как у бабы, родившей десять детей. Словно беременный. Пузо разъел. Нашелся мне начальник. Да я тебя не знал и знать не желаю. Но, Голубок...

Конь невысокий, узкий в кости. Много на телегу не нагрузишь. Однако Голубок идет быстро, только пофыркивает, будто человек. Все понимает, чувствует лучше человека. Шороха колес почти не слышно на мягкой дорожке. Разве что где-нибудь на корнях подбросит и тогда глухое: ляп-ляп.

Лес тихий, спокойный. Сосна с сосною говорит, береза к березе клонится. Все живое и мирное, кроткое, когда с ним по-человечески.

Около болота, не доехав с полкилометра до Ясельды, рукав которой пробил здесь себе дорогу, Борода срубил пару десятков сухостоин, подобрал хворост потолще. Аккуратно сложил все на телегу. Как раз вышло на пол-ладони выше ее. Можно и назад к Сельцу.

Пока не вышли на большак, Борода шел пешком. Там-сям колдобины, подталкивал воз, помогал Голубку.

Скоро и картошку сажать. Солнце поднимется выше, земля подсохнет.

Напротив Ковальца, только миновали кладбище, обогнал «бобик». Затормозил резко. Голубок прямо мордой воткнулся в брезент. Из машины вылез толстый, разжиревший председатель колхоза. Подошел почти вплотную.

— Кто разрешил брать дрова? Ятить твою переятить! Заберу завтра лошадь, точно заберу! — И опять криком: — Кто разрешил брать дрова?

Борода поднял глаза и мягко, улыбаясь:

— Хозяин разрешил, хозяин.

— Какой еще хозяин?

— Бог, пан начальник, Бог. Он — хозяин всего: и леса, и людей, и Ясельды...

Спокойно ведет беседу Николай. Сидит на возу, широкоплечий, крупный, необычная для местных борода. Лошадь у него. В колхоз не ходит. Не пьет, не курит. Ничего не просит. Какой-то не такой как все. Неприятно это.

— Покажу тебе и бога, и черта! Придурок!

Председатель, возможно, и по зубам заехал бы, но все же в правой руке у Бороды топор. Словно придерживает его. Что у него в голове? Председатель длинно и замысловато выругался, вновь вспомнив и бога, и черта, и мать, и детей Николая, да поехал своей дорогой. Тронул Голубка и Борода. Спустя минуту забыл о встрече. Сверху все видно, и каждому воздастся.

Вороны разговорились, волнуются из-за чего-то. У него к председателю никакого вопроса нет. Прожил почти всю жизнь и никому не кланялся, ничего не просил. Все добывал сам. Обойдусь и в старости. Когда придет последняя минута, значит, так и решено наверху... У меня есть Голубок, он мне и товарищ, и собеседник. Он все понимает. Но, Голубок!

Идут женщины с вилами, здороваются. Конечно же, завидно им, что едет Николай на своей телеге, везет дрова. Какая-то копейка будет. А главное — сам себе хозяин. Жалко их, но у каждого своя голова на плечах. Каждый живет по своему разумению. «Кто разрешил брать дрова?..» Тебя не спросил. Сколько дров гниет по лесам! Никто не видит. Палку не возьми, не тронь! Пусть сгниет, истлеет, только бы не людям. Возил на Голубке и буду возить. Никто мне не запретит и не остановит. Правда, Голубок? Отвезем дрова Колбасеихе, после отдохнешь. Дам тебе сечки с картошкой. Попою водой. Если бы был овес, сделал бы тебе праздник.

Колбасеиха уже выглядывала со двора, ждала его. Заслышав стук колес, выскочила на улицу, захлопала от радости руками. Конечно, Бороде было приятно, но он даже вида не показал. Лицо равнодушное — обычная работа. Мало ли он перевез таким женщинам дров. Все радовались. Кругом лес, а попробуй возьми хоть палку. А тут тебе сразу во двор. Пусть немного, но и деньги какие? На две бутылки. Зато дрова сухие, не труха. Бери и в печь. Борода в дровах толк знает.

Дает ему Колбасеиха деньги и думает: «Это ж если привезет по два воза в день, сколько денег в месяц заработает... Хитрый Борода. Нашел себе легкую работу. Лошадь у него есть. Ни у кого нет. А у него есть. Это ж, видишь, как! Разве ж она б отказалась от лошади? Пусть бы от самой плохонькой. Подняла бы, откормила. Где же ее взять? Как забрали со двора в сорок девятом — так и все.

— Может, щей похлебаешь да картошки отведаешь? — спрашивает, а в голове: только бы отказался.

Он и отказывается. Есть свой дом, в печи — картофельный суп да в горшке картошка в мундире. Возьмет в магазине селедки для аппетита. Эх, люди, люди! Привез тебе дрова, благодаришь, а в глазах зависть. Голубок не дает вам покоя. Все бараны. Хотите, чтобы и я был бараном. Ходил с вами в одном стаде. Ну нет, ничего не получится. Думайте что хотите и как хотите.

— Может, еще дров возок привезешь, Николай? — побежала за ним Колбасеиха.

Бедолага ты, бедолага. Поехала бы после войны в Польшу на немецкие участки — жила бы по-пански. Юбка — заплата на заплате. Навряд ли выработала в Березе свою пенсию. Бегал, бегал Колбасей и вот который уже день лежит. Если б хоть поднялся, а то и пенсия не понадобится.

— Посмотрим, — бросил Борода.

Остановилась возле дома телега бригадира Малахецкого. Не идет — бежит. Матюками сыплет, что горохом. Привык командовать. Боятся его больше солтыса. Старый Сашко, когда был солтысом, хоть бы голос повысил.

Уважали: власть. Этот же сразу в крик, угрожает. Хоть ты и при портфеле, я тебя не боюсь. Кричи сколько хочешь, уши выдержат.

— Сколько заплатила ему? — обращается бригадир к Колбасеихе. — Говори, а то заберем дрова! Он их в лесу украл. Говори: сколько?

Борода, взявшись одной рукой за уздечку, а другой за оглоблю, задом выталкивает коня со двора. Будто и не слушает Малахецкого. Побелела бедная женщина от страха, даже язык отнялся. Уже и плачет, почти руки целует начальнику. Едва говорит, только Борода все слышит. Еще, слава богу, не глухой.

— Дала три рубля... — сказала и заплакала. Кажется, влепил бы по зубам ему, как когда-то подхорунжий Малец Ясику из Ворожбитов. Пусть Бог его покарает за то, что бедную женщину обижает.

— Заберем коня, заберем! — это уже к нему. — Кто дал тебе право дрова возить и продавать?

Тебя не спросил. Но, Голубок, но... Всем ты глаза колешь. Счастье было бы, если б бегал в колхозном табуне. Или еще лучше, если б забрали тебя на колбасу. Вчера видел в кино, что у цыган даже в городе лошади есть. Никто их не забирает. Почему же у крестьянина нет права держать лошадь? Кричат: «Незаконно!» Кто выдумал этот закон? Плевал я на него. Цыганам можно, а нам нельзя. Я что — не человек?..

У отца было три лошади и жеребенок. Или даже двое жеребят. А я — уже какой-то враг. Что это за дикость? Если б мог, табун бы держал. Зажил бы как пан. Всем завидно, все что-то имеют против Николая. Я к вам не лезу, и вы ко мне не цепляйтесь. Но, Голубок, но... Поехали.

Борода только повысил немного голос, и конь сразу побежал трусцой, будто чувствовал его настроение. Даже хвостом не махал, поджал к правой ноге. Он во всем был согласен с хозяином. Только одно было неприятно: дядька Николай уже не однажды говорил, когда они возвращались из леса либо выбирались в лес, что нужно купить еще коня. Зачем ему это? Голубок и так старался, тянул как мог. Он любит своего хозяина. А будет ли любить тот, которого дядька приведет в хлев? Да и как им быть в одних стенах?..

Они остановились на минуту у клуба. На кривой запачканной зеленой доске висело объявление, что вечером покажут кино «Калина красная». Борода подумал: «А какая должна быть калина?» Конечно, красная. Сколько прожил, а калину другого цвета не видел. Но им там, наверху, лучше знать. Да и какое кино киномеханику Ивану дадут, такое и крутит. Надо же как-то деньги зарабатывать. Ходит долговязый, худой, все время в одних штанах и рубашке. Беден, как и все. Что он за свое кино получит? А ничего. Может, как уборщица в магазине, эта Валя Шурина. А попробуй же влезь на это место. А ни-ни. Увидишь, что за калина и насколько она красная.

Борода зашел в магазин. Там были только старый Сэльвесь и Богдан Виктор. Они поздоровались. Как-никак, разница в возрасте незначительная. Но что удивительно, с годами все отдалились друг от друга, каждый в своей раковине, чужие, будто с разных концов земли.

За прилавком — улыбчивая Маня Катриничевая, которая за Маляком. Ласково спросила: «А что, дядьку Николай, хотите?» Он взял одну селедку и несколько буханок хлеба. Что сам съест, а что и Голубок. Поедим, подкрепимся, отдохнем.

Эх, кони мои, кони... Была за Ковальцем напротив кладбища солидная постройка. Это же ее придумал Лиховид, по слухам, казак с Дона. Приехал на железном возке, лучший, чем у войта, был, в серой папахе. Он любил лошадей, разбирался в них. Здание из самана выстроил. Удивлялись вначале: как это из глины и соломы можно хлев сделать. Да и зачем, когда леса вокруг неи-

моверно. По-пански строить — значит, из кирпича. Кто из кирпича в здешних местах хлева делал? Не было такого обыкновения. Хотя, если от Сельца ехать, то возле аэродрома, который разместили большевики еще при первых Советах перед войной, находились Мартусовы ямы. Немец Мартус был, конечно же, умен и находчив. Столько красной глины, способной на чудо. Он запустил завод и делал кирпичи, а деревенским осталась только память. Глина — это земля, от которой холодно. Она очень податлива. Что хочешь из нее слепишь. Однако она и теплая, словно мать.

Конечно, в дереве скотине теплей, здоровей. Летом не жарко, а зимой не холодно. Такая была постройка... И тот малой сопляк поджег. Нашли место, где играть в прятки. Леса им мало. Сколько лошадиных душ развеял ветер вместе с пеплом. Это ж целый, полнехонький табун пошел в небо. Когда они, живые, горели, не могли через запертые ворота вырваться на волю, что было с их сердцами?.. Если б умели говорить, их крик услышали бы, наверное, где-нибудь во Франции. Такая беда.

А теперь эти же начальники хотят, чтобы подарил им Голубка. Не бывать этому! Как ржал Голубок в тот день, как ржал, копытами в стену бил и бил, будто чувствовал смерть табуна. Бежит теперь мимо конюшни — сопит и храпит. Должно быть, на этом месте ему пахнет смертью. Наверное, видит, как одна за другой поднимаются лошади в воздух в огне и в дыму. Тают, будто воск поминальной свечи.

Борода распряг Голубка, напоил его, дал полное ведро запаренной с мукой мелкой сеяной сечки. Как-то неспокойно было на душе. Может, оттого, что налетел на него Малахецкий, хотя, кажется, уже и не думал об этом. Он не обижался: тому тоже ведь нужно как-то заработать свой кусок хлеба. Все жить хотят.

Он пообедал, слушая радио. Передавали записи песен Руслановой. Ох, как красиво она пела! Сразу душа стала мягче. Слушал бы, кажется, бесконечно.

Дом небольшой, теплый. Незаметно потянуло на сон. Он прилег на кровать, набросил на себя кожух. Вот уже и старик, а все хочется, чтобы накрыла мама, провела рукой по голове: отдохни, сынок. Пусть бы отцов ремень прошелся по спине. Сразу почувствовал бы себя ребенком, почувствовал, что чей-то сын. Нет их давно, а будто ушли вчера, и нет за спиной прожитых лет... Отец по слогам читает Библию, потом откладывает ее в сторону и начинает рассказывать о мальчике Давиде и великане Голиафе. Где-то есть большая пустыня, там жили, а может, и теперь живут евреи — Богом избранный народ. К ним повадился бандит по кличке Голиаф, не дает житья бедным людям. Вредит им, разрушает жизнь. А иногда и какого несчастного еврея стукнет по голове. Потом, живой он или нет, никто не знает. Хоть чаще всего его закутывают в материал, лучше всего белый, и закапывают в песок.

Бандит Голиаф царствует, жрет и пьет что хочет и сколько хочет. Мальчику Давиду надоело это. Он ловкий, голова варит за десятерых, а то, что ростом меньше Голиафа, так и ничего. Бывает, маленький, а наделает и лихого, и доброго больше, чем взрослый. Так и Давид. Смастерил пращу (рогатку по-нашему) и пальнул балбесу Голиафу прямо в лоб. Бандюга от страху и боли упал, а увидав, что над ним все смеются, от стыда и помер...

Проплывает где-то далеко-далеко в голове рисунок, как столкнулся Голиаф с Давидом, как сражаются. Сверху над полем боя сидит отец и смеется, смеется, пальцем показывает на старшего сына. Потом туман охватил все пространство, укрыл, будто одеялом. Только колышется туда-сюда... А уже мчится навстречу пятая батарея четвертого уланского полка. На сивом жеребце ездовым — он.

Их приветствует сам президент Польши Рыдз-Смиглы. Топот лошадей, звон сбруи, орудия, а сбоку — бескрайняя темная толпа мужчин в черных шляпах и женщин в белых платьях. Он оглядывается от непонятного ощущения, будто кто-то собирается прыгнуть ему сзади на спину — и не зря: правое колесо орудия вихляет, почти спотыкается, как одноногий нищий, и будет вот-вот что-то страшное, ужасное. Вздыбятся лошади, упадут люди, затрещат кости и белые платья. По всему полю, как следы костров на зеленой траве, лежат черные шляпы. Рыдз-Смиглы летит, ухватившись за облако, возникшее из орудия дядьки Николая. А он стоит около своего сивого жеребца, сломавшего все четыре ноги, и просит Бога о помощи. Значит, это не простое облако, а дым от снаряда, о котором они с Ясем из Ворожбитов забыли. Дым все густеет, густеет...

И уже нечем дышать, будто чья-то широкая ладонь закрыла рот и нос. Но нет желания раскрывать глаза, сбросить с ног кожух. Качает, как на волнах или в колыбельке. Однако он уже с бородой, внуки — взрослые люди. А лошади ржут, ржут. Сильнее всего слышен Голубок, который словно подскакивает, поднимается на дыбы. Его гриву рвет ветер, из ноздрей пышет огонь, а из глаз — слезы ручьем. Плачет, словно бобр. Потом скажет: «Дядьку! Хозяин! Папочка! Вставай, вставай, иначе уйду от тебя...»

Будто бы усталость всех прошлых лет обрушилась на тело и не вытекает из него, плющит к земле. Еще же рано в нее идти, много работы ждет, очень много. Скоро огороды пахать. Лошадей в деревне нет. Балбату обещал дрова привезти, и Марыле Скоробогатовой, и Ганде Клечковой. И вновь Голубок: «Дядьку! Хозяин! Папочка!»

Открыл Борода глаза: не мог не откликнуться Голубку. Сначала не понял, где он. Дом был вес окутан дымом, который плотной дерюгой накрыл окна, шкаф, стол, лавку, печь, дверь. Ничего не видно. Кто-то сильно стучал в дверь, словно ломал ее. Вот-вот затрещит, ищи тогда доски, ремонтируй. Лучше сам открою.

Ноги отчего-то не держали тело, подгибались. Руки дрожали, как у последнего селецкого пьяницы, тезки Николая, жившего на Свиной улице и хромавшего на одну ногу, покалеченную в Донбассе.

На ощупь, на ощупь, поцеловав пару раз лбом стену, наконец, добрел в сени и почти упал, зацепившись за стенку. Успел ухватить засов и, обессилев, как малое дитя, едва отодвинул его.

Хлынула волна света и невероятно чистого воздуха. Он увидел белое лицо соседа Степана Данилевского. Тот схватил его и вытащил на двор.

Поднял дядька голову — отошли сон и слабость. Его дом средь бела дня горел, как свечка. Пламя весело трещало, жадно пожирая крышу, которую он в прошлом году накрыл из молодой ржи, складывал соломинку к соломинке, обласкал их все своими руками. Думал: надолго хватит крыши, переживет и его. Зимой тепло, а летом — холодок. Здоровый запах — запах хлеба.

И по стенам уже пошел гулять огонь.

— Боже ж ты мой! — только и вымолвил дядька Николай. Горит его дом, дом, который он сложил бревно к бревну. Сначала на плечах деревья таскал, после помог Голубок. А он, он где?

Конь стоял у забора соседа Рошки. Жив! Слава Богу: жив!

— Боже ж ты мой... — вновь просто выдохнул дядька Николай. — Люди, люди, что же это такое?

Соседи бегали, ведрами таскали воду, лили ее на огонь. Привычно командовал Данилевский. Как-никак, был же когда-то председателем сельсовета. Стараются люди, пробуют потушить дом Бороды, а в голове у каждого: как это, откуда? Печь не топил, не курит, а дом горит. Упаси Бог! И это же рядом, тут, на площади, которая всю жизнь и раньше, со времени Великого Княже-

ства Литовского или когда правила пани Королева Бона, называлась Место. Была тут еще станция извозчиков, где стояло несколько пожарных возов с помпами. Совсем недавно в них запрягали лошадей и летели спасать Клебанца, тоже горевшего от чьей-то нечистой руки.

Окинув взглядом людей, которые или стояли в цепочке, или носили полные ведра воды от Северинца, глянув на дом, доживавший после чьего-то издевательства последние минуты, Борода прямо застонал от горя, отчаяния и боли. Кому навредил старый Николай? Может, позарился на чужую жену? Или украл хоть на копейку сена, соломы или картошки? Ни у кого ничего никогда не просил. Жил сам по себе, спрятал душу в оболочку, которую сам для себя создал, чтобы не зависеть ни от властей, ни от людей. Значит, нет, все равно мешал кому-то. Сколько дорог в этом мире. Не раз читал в Библии, что у каждого своя дорога. Он шел, кажется, никому не мешая. Однако есть кто-то, кому он — бельмо на глазу. Чем-то мешал. Огонь, бушевавший среди ясного дня, хотел уничтожить не дом — хозяина.

Люди успокаивали Бороду, что-то говорили — он не слышал. Плакал от обиды.

Потом его рвало, изнутри выходил дым. Кашлял чуть не до крови. Кажется, кишки выворачивало.

Крыша сгорела, обуглились углы дома. Был он как огарок: маленький и несчастный, склонился возле улицы под деревьями. И он, хозяин, такой же покинутый, сгорбленный, с всклокоченной бородой, без шапки, в одной рубахе. И холод не чувствуется совсем. Глядел на свое жилище, но не верил глазам. Не мог понять то, что видел.

Постепенно люди расходились. Оглядывались на дядьку Николая: он уже не плакал. Стоял, словно в раздумье. Хотя и не догадаешься, что у человека в душе. О чем он мог теперь думать возле своего разоренного гнезда?

Однако жалость к себе, отчаяние, которое возникло было у Бороды, вдруг пропало. Вновь, как в конце войны, придется ему вспомнить плотницкое дело... И тогда, словно свечки, горели дома на Предместье, на Новой улице, на Березовской. Наступали Советы, а за католическим, или, как называли, польским, кладбищем и дальше по выгону до самой рощи немцы нарыли окопов. Не своими руками — крестьянскими. Зачем работать своими, если чужие есть. Советы стреляли, стреляли и никак не могли прорваться. Лежало побитых, как снопов в добрый урожай.

Была война — огонь хозяйничал. Теперь затишье — обуглился дом. От беды никуда не спрятаться. Спасибо, люди, за сочувствие, но слова не вернут крышу над головой.

В глазах старой Авдоли и Хреновой Тафили Бороде увиделось не сочувствие, а радость, будто праздновали. Тушили пожар, спасали соседа, однако хорошо им, что у соседа хозяйство пошло дымом. Обе такие уже святые, головы разобьют, восхваляя Всевышнего, крестятся каждый раз, увидев маковку церкви. Эх вы, овечки, — как говорил когда-то учитель Петро Андреевич! Вера должна быть не в словах, а в поступках, в сердце. Кого обманываете, кого надуваете? Сами себя, а не бородатого Николая. Сами себя, свою душу, которой лжете, над которой издеваетесь...

Вот так, уже спокойно рассуждает он, наблюдает за людьми. Некуда спешить. Он у своего дома, для раздумий хватает времени. Ничего не вернешь. Остался от дома только скелет.

Недаром припомнил Петра Андреевича. Душевный был человек, образованный, добрый. Как-то мылись вместе в бане, и Петр Андреевич, лежа на горячей лавке, баял дядьке Николаю: «Ты им — кость в горле. Завидуют тебе многие. Сальери отравил великого Моцарта из зависти. Император Нерон из

зависти сжег вечный город Рим. Думаешь, зависть пастуха меньше зависти императора? Все то же. Смотри, Николай, смотри...»

Что смотреть? Все уже перед ним. И теперь он знает: его дом подожгли. Не божья это кара, не ангел сошел с огненным факелом с неба. Какая-то соседская рука поднесла спичку к соломе. Ни по лицу, ни по спине не догадаешься, кто из них вынес ему приговор. Кому он перешел дорогу? Или, может, правду сказал Петр Андреевич?

— Николай, Николай!

Оглянулся, узнав голос. Не выдержала, прибежала Гандя, узнав о пожаре. Во двор не пошла, прислонилась к забору на улице. Лицо белое, волосы всклокоченные выбиваются из-под платка. Пот и слезы на лице.

— Слава Богу, живой! — выдохнула, оглядываясь по сторонам.

— Живой, как видишь. Иди домой, — махнул рукой. — Иди.

Они давно не жили вместе. Она с детьми на Предместье, а он — тут. Так сложилось. Он даже не хотел вспоминать, почему начал жить отдельно. Привык жить один. Дети выросли, как птицы, полетели в мир. Ему было хорошо так, как есть. Завистники говорили, что так он устроился нарочно, чтобы иметь два участка. У всех один, а у него два, да еще и конь. Он об этом не думал: жил как жил.

Кто-то толкнул в спину. Борода повернулся. Голубок тыкался в него головой, комкал губами рубашку. Будто успокаивал, переживал за хозяина, горевал вместе с ним. Хоть и животное, а понимает лучше человека, сочувствует и не завидует. «Коник ты мой, коник... Если б не ты, завтра понесли бы меня за Ковальца на кладбище. А как же это ты явился во сне, и в ту именно минуту, когда жить или умереть? Должно быть, Бог так сделал, что через Голубка я получил помощь».

До сумерек Борода возился возле дома, пробуя привести в порядок хотя бы то, что уцелело в огне: обгоревшие доски, бревна. Стены были из кусков. После войны лес везли в Донбасс. Людям на дома не очень давали. Уже и тогда нужен был блат. Сельсоветский Федул всем обещал выбраться из землянок за пару месяцев, но тянулась эта песня не один десяток лет. Чтобы Федул справку дал на лес, неси ему благодарность. Известно какую: прежде всего сало и самогонку. Бывший партизан Федул любил выпить и закусить. Он же не лишь бы кто — начальник: «Товарищи, мы все товарищи! Бога нет и не будет!» Не дожидаясь сочувствия от Федула, Борода втихаря навозил леса, пряча бревна на телеге под хворостом. Когда бревно, когда и больше. Ему и тогда завидовали, потому что у него была лошадь. Он не пошел в колхоз, где даже конюх уже большой начальник. Может поизмываться над бедной вдовой.

До весны еще как до Минска, а мужчины уже обсуждают друг с другом, планируют, как подступиться к конюху Ивану Казаку. Он идет по улице, ног не чувствуя под собой, здоровается сквозь зубы. Знает, собака: завтра придут к нему просить лошадей, чтобы вспахать сотки или привезти дров из леса. Показывает свою власть перед каждым соседом. Вот такая лакейская сущность в людях. Вчера сам гнул спину, а сегодня только кнут взял в руки, пастухом, считай, стал — и уже нос задрал. Сам Бог ему не товарищ. Эх, дурень, дурень... Никогда не будет из хама настоящего пана. Хам останется хамом, хоть ты дай ему портфель в руки и посади в легковушку. Борода все видит и смеется — ведь у него есть Голубок...

Опять кто-то тыкается в затылок. Сзади запах Голубка, сена и конского пота. Вот кто предан, верен до той минуты, пока жив. Каждый день чувствует и он на спине заботливую руку хозяина. Никогда не пробовал ни кнута, ни палки. Ему хватает хозяйского голоса. Чувствует, когда надо быстрее, а когда можно идти не спеша, не рвать жилы в оглоблях.

Борода погладил коня по гриве, привычно пощупал спину, не мокрая ли. Хотя тот уже больше часа стоял на дворе. Сделал это не думая.

Все-таки вокруг сильно пахло дымом. И понуро чернели недогоревшие стены дома. И никого живого вокруг, кроме Голубка. До вечера еще далеко. Ночевать он пойдет к Ганде, хотя и Данилевский приглашал. Но нужно, пожалуй, к ней. Или, может, нет... Ладно, видно будет.

Что-то нехорошо ему. Тяжесть наполнила, казалось, все тело. Даже ноги не хотели идти. Однако запряг Голубка в телегу и двинулся в лес. Чего стоять горевать? До вечера есть время — подвезет еще дров Колбасеихе. Теперь ему понадобится больше денег, чтобы восстановить дом. На зависть недоброжелателям. Пусть завидуют. Николай не сдается. С Голубком они еще ого-го...

Примерно в полукилометре от большака у него были заготовлены дрова: березовый сухостой. Думал себе забрать. Теперь нужно отдать Колбасеихе. Ничего, новых соберет. С Голубком привезут они еще не один воз.

В лесу было тихо и спокойно. Шелестел ветер. Был он холодный, со стороны Гуты Михалина. Это значит с севера. «Видно, будет снег», — подумал Борода.

К дровам он подъехать не мог. Место было болотистое, сырое. Дал Голубку сена и, даже не привязав — куда пойдет без него, — направился к своему тайнику, чтобы за несколько ходок перенести дрова на телегу.

В тот момент он даже забыл о своей беде. Занимался обычным делом, которое привык выполнять спокойно и хорошо. Дошел до заготовленных дров, немного передохнул — все-таки восьмой десяток — и, вскинув на плечи сколько смог сухостоин, двинулся назад. По дороге несколько раз отдыхал, слушал лес и вдруг удивился, насколько быстро пролетела жизнь. А может, он сам виноват, что остался только с Голубком? Мало видится с детьми, когда они приезжают в деревню. Возможно, не так он жил, не то делал... Напрасно сопротивлялся... Может, все было напрасным. От этих мыслей у него словно ослабли руки. Стало тяжело нести дрова, и он сильнее прижал их к плечу и, слегка пошатываясь, добрел до телеги. Кажется, впервые в жизни у него дрожали ноги и по лицу тек холодный пот.

Вокруг все было по-прежнему: тихо шумели деревья, сладковато пахло болотом. Однако Борода вдруг почувствовал что-то непонятное, странное и спустя мгновение увидел: Голубок медленно опускался на передние ноги и хрипел, хрипел, хрипел. Борода подбежал к коню, у которого изо рта текла бело-кровавая пена, обхватил его за шею, но удержать не смог. Голубок, едва не придавив его к земле, упал и затих со слезами на закрытых глазах. Левый бок коня был в крови.

Борода стоял, смотрел и молчал. Дрожали ноги и руки, будто онемел язык. Собрав последние силы, он схватил с телеги остатки сена, поднес к голове Голубка, положил аккуратно и сел, обняв его за шею.

Перевод с белорусского Никиты Супрунчука.



ГАНАД ЧАРКАЗЯН

Двое — совсем не мало

Внучке

Тебе сегодня десять лет.
Ровесник твой — наш новый век.
Он, как мальчишка за калиткой,
в руке сжимает свой букет.
Ромашки в нем и васильки
с живой доверчивой улиткой.

А твой знакомец давний, шмель,
уже с утра гудел, шумел.
На день рожденья прилетел
и познакомился с кувшинкой,
что в нашем маленьком пруду
свою всем дарит красоту.

И ты сегодня, как цветок, —
вся в белом с головы до ног —
нам счастья даришь лепестки.
В венке, что бабушка сплела, —
ромашки там и васильки —
взлетаешь к небу на качелях.

Ты в небесах царишь, светла.
А мы — восторженная челядь —
тобой любуемся внизу,
роняя тихую слезу.

* * *

На исходе дня и года
подвожу трудам итог —
что не смог, а где погода
ураганом сбила с ног.

Все на свете, в общем, просто:
правит всем одна любовь.
От нее остался остов
да колонки стылых слов.

И обида, что дорога,
вновь с любовью развела.
Так хотелось бы немного
животворного тепла.

Отразиться в чьих-то близких
и сияющих глазах,
чтобы снова счастья искры
отогнали тьму и страх.

* * *

Истончается год високосный,
как весенний обманчивый лед.
Пролетели и лето, и осень,
и зима, наконец, настает.

И шаги мои все осторожней,
все внимательней пристальный взгляд —
чтобы год високосный был прожит
с минимальным набором утрат.

Загрузил он меня до предела,
у забот и печалей в плену.
Но коль грузят — нечего делать,
упираться надо, тянуть.

Есть дороги полегче, короче,
где о легких победах трубят.
Но меня проверяет на прочность
моя собственная судьба.

От нее не смогу отказаться
и другую, полегче, найти.
Только с ней мне даровано, братцы,
испытать все земные пути.

* * *

И все-таки что-то осталось,
бесследно и я не уйду.
Заслужена тихая старость
и утро в весеннем саду.

Дома, что построены прочно,
спокойно и гордо стоят.
Простые сердечные строчки
за ними становятся в ряд.

Но все-таки привкус печали
о том, что хотел, но не смог.

Как долго топтался вначале
на перекрестках дорог.

Как ощупью, робко, но все же
узнал свой единственный путь.
И в темноте, в бездорожье
с него не посмел повернуть.

* * *

Пусть говорят, что тают льды
и океаны движутся на нас,
но с каждым днем все меньше теплоты
и добрых человечьих глаз.

Улыбок меньше, нежности, любви.
Все чаще локтем получаешь в бок.
Куда ни глянь и что ни назови —
повсюду черт хохочет, плачет бог.

Ничем утешить бога не могу —
вражда растет меж наций и племен.
На людных площадях, в глухом углу
неясной злобой каждый заражен.

Нас слишком много стало на земле.
Куда несемся? Что это — вперед?
Коль нет тепла и нежности в семье,
то рухнет дом и всех нас погребет.

* * *

Того я, братцы, не забуду,
Что человек я, хоть мужик.
Янка Купала

Дороги все в забвение ведут.
Нас в мире сохраняет только труд.
Но созидать нам на века
никак нельзя без мужика.
Он безымянен и безлик
и потому всегда велик.
Дома и храмы, и дворцы —
кто ваши гордые творцы?
Не пустозвоны-болтуны,
а соль и золото страны,
что пашут землю, нас растят
и так в грядущий день глядят,
что он торопится навстречу.
И я Купале не перечу,

я тоже славлю мужика —
фундамент наш на все века.

Возвращенец

Потеряла родина меня.
Потеряла парня, не заметила.
Только я с ней не прощался,
а доверчиво
каждый день —
с утра до вечера —
все носил любимую в себе.

Ее песни напевал беззвучно
и слова родные повторял.
Только сбереженная,
она
жизнь мне сохранила
и надежду,
что вернусь в родимые края,
без которых жил я безутешно,
день и ночь
о родине скорбя.

Дом родной,
береза у окна,
я стою, рыдаю на коленях,
лбом уткнувшись
в белую кору.
Детства молоко мое парное,
запах материнский на губах —
оттого что помнил,
оттого я
в тех горах суровых
не зачах.

Мое далекое детство

Мое детство не роняло слезы,
боль обид не затеняла взгляд.
И грозы весенние угрозы
мне доныне сердце веселят.

Когда гром гремел над целым миром
и дождь стоял прозрачною стеной,
выбегал я нагишом и мигом
становился словно ледяной.

И стуча от холода зубами,
и смеясь от радости слепой,

подбегал я к печке, чтобы пламя
погонять застывшею рукой.

Все стихии — и воды, и жара —
мне хотелось так соединить,
чтобы время побыстрей бежало
и сучило плазменную нить.

Будущее звало, торопило,
мир далекий волновал меня.
Небо щедро влагою кропило
и отчизна грела у огня.

Как теперь хотелось бы вернуться
к тем дождям и грозам молодым,
чтобы в майский ливень окунуться
и вдохнуть тот горький, сладкий дым.

И замедлить время, чтобы годы
не катились камнями в провал,
и на все закаты и восходы
отстоять законные права.

Купала и Колас

Чтоб Беларусь
Беларусью стала —
Колас пришел
и Купала.

Купала
и Колас —
народа душа
и голос.

Чтоб Беларусь
жила, процветала —
Колас есть
и Купала.

Двое —
совсем не мало,
чтоб Беларусь
не пропала.

Перевод с курдского Валерия Липневича.

Три поколения армянской прозы

Предлагаемое собрание переводов из армянской прозы складывалось во многом случайно, на протяжении многих лет. Тем не менее этим рассказам свойственна одна общая черта — ровное и последовательное качество авторских текстов, что позволяет свести их в репрезентативную мини-антологию современной армянской литературы. Подборка не претендует на исчерпывающий характер. Читатель, знакомый с армянской прозой, не найдет здесь многих армянских авторов, представляющих гордость армянской литературы — Егише Чаренца, Агаси Айвазяна, Вардкеса Петросяна, Мушега Галшояна и других, зато увидит их единомышленников и достойных современников.

Первым из этой плеяды представлен ***Аксель Бакунц*** *(1899—1937), родившийся в одни и те же годы с Чаренцем (1897—1937) и погибший, как и он, во время сталинских репрессий. Бакунц был главным агрономом Зангезурского уезда. Печататься начал в 1918 году. Широко известны его повести и рассказы «В темном ущелье» (1927), новеллы «Альпийская фиалка», «Фазан», «Лар-Маркар», «Письмо к русскому царю», «Беседа Муро», «Белый конь», «Орешники братства», «Сын гончара», «Закат провинции». Он также написал несколько сценариев («Под черным крылом», «Зангезур» и другие).*

Далее следует рассказ ***Гранта Матевосяна*** *(1935—2002), самого выдающегося представителя армянской литературы поколения шестидесятников. Он автор сборников «Деревья», «Мать едет женить сына», «Наш бег» и ставших классическими рассказов «Алхо», «Буйволица», «Зеленый луг». По его произведениям сняты фильмы «Мы и наши горы» (1969), «Осеннее солнце», «Август» (1977). Он был признан классиком армянской послевоенной литературы при жизни. Его произведения переводились на русский язык, языки народов СССР, а также на английский. Уильям Сароян, познакомившийся с произведениями Матевосяна в английских переводах, приехав в Армению, потребовал познакомить его в первую очередь с Матевосяном. В тяжелые времена, наступившие после распада СССР, Г. Матевосян разделил тяготы и лишения карабахской войны и блокады вместе со всем армянским народом.*

Три рассказа ***Левона Хечояна*** *(р. 1955) принадлежат новой эпохе борьбы за национальное достоинство армянского народа, которая совпала с восстановлением независимости в 1991 году и народно-освободительной войной армянского народа в Карабахе (Арцахе). Профессиональный литератор, Левон Хечоян прошел эту войну и стал одним из основоположников новой армянской военной прозы. В результате появились роман «Черная книга, тяжелый жук» (1999) и множество рассказов; некоторые из них печатаются в данной подборке.*



АКСЕЛЬ БАКУНЦ

Два рассказа

Тигрануи

Как-то зимней ночью пришло Василю в голову завести нечто вроде дневника, чтобы хозяйство развивать по плану, и решил он записывать, сколько вспахано буйволом и сколько ему задали корма, сколько хлеба они съедают за месяц, сколько сена нужно двум коровам, когда отелится одна из них, сколько яиц он везет в город на продажу и так далее.

Поразмыслив малость о перспективах на будущее, Василь повернулся на бок, устроил поудобнее голову на подушке и уснул таким глубоким спокойным сном, коим спит, наверное, капитан корабля после бури на пути в приветливую тихую гавань, проверив перед этим, все ли ладно у него на судне.

Единственной прорехой в хозяйстве Василя была задолженность соседу, и в ту прореху хлынули неисчислимые беды и мешали нормальному плаванию корабля, раскачивали и сбивали с курса, вселяя трепет и смятение в души мореплавателей — матери, жены, сестры и четверых детей.

Той ночью, когда вьюга выла словно в одну глотку тыща кредиторов, мысль завести дневник для учета расходов возникла у Василя, конечно же, подсознательно, и неразрывно была связана с неизбежным возвратом долга. И тогда же, по всей видимости, перед тем как поудобнее устроиться на подушке, Василя посетила вторая мысль: пробоину в корабле можно заткнуть с помощью Тигрануи.

Дневниковые записи велись на полях, между строк и страниц старого потрепанного сонника. Писал он не каждый день. Видать, в начале весны, когда он, его буйвол и все семейство вкалывали с восхода до заката, писать каждый день не хватало времени. Летописец ограничивался тем, что записывал лишь самые важные события недели, пока его не одолевал сон. А в начале весны сон всегда его одолевал. Написав два-три слова, он ронял из пальцев ручку, даже не дописав предложение.

Дневник Василя начинается со списка членов семьи, составленного, судя по всему, на следующее утро после приема пищи, о чем свидетельствует отпечаток большого пальца Василя, вымазанного некоей мутной и несколько жирной субстанцией, в уголке страницы.

Согласно списочному составу, на корабле плавало восемь душ: он сам, мать, жена, четверо детей и Тигрануи. Против имен значился возраст членов семьи и степень родства. Например, «Тигрануи — сестра, 16 лет». Весь живой инвентарь Василя состоял из двух коров, буйвола и восьми кур. Коровы и буйвол с кличками, о возрасте не говорится. Этот перечень следует непосредственно за списком членов семьи: «Тигрануи — сестра, 16 лет». Затем: «корова Цветик».

Поскольку Василь не преследовал творческие цели, из дневника не видно, какого цвета были волосы у Тигрануи, черные или светлые, а глаза голубые или

карие. Единственное упоминание о ее внешности сделано в мае: «купил для Тигрануи платье», рядом цена, из чего явствует, что обнова была из простенького ситчика.

И еще одно упоминание о Тигрануи без числа и месяца: «тапки для улицы ей не купил». А вот что написано на той же странице сонника: «увидишь во сне обувь — быть большому убытку, сон сбудется через семь дней». Можно представить, как была огорчена Тигрануи, оставшись необутой, и как грезила она парой тапок. Доподлинно же известно, что на прополку Тигрануи отправилась босиком, о чем пишет Василь через несколько дней.

Многие дни расписаны Василем во всех подробностях. Вот что он пишет 11 июня: «Мама гостила 4 дня у племянника. Варсеник (жена) была занята дома по хозяйству. От коровы надоили 12 фунтов молока, а Цветик не доится. Тигрануи отправилась на мельницу намолоть муки, да ее очередь не дошла, так и вернулась домой. Буйвол не работал; чтоб дать ему отдых, пасли его в поле. Был дождь. Бадалов сын вернул долг — полмеры пшеницы. Купил черенок для лопаты. За неделю куры снесли еще 12 яиц; из них 5 продали, всего за 10 копеек».

Во всем дневнике день 12 июня отличается долгими нудными отступлениями. Поведав о страховании, которое он оформил, видно, в тот же день, Василь не поленился написать следующее высказывание: «Приходил агитатор от правительства, рассказывал, как страхуют у нас и как там у буржуев. Народ все понял. Да здравствуют Советы».

По прошлогоднему календарю 11 июня приходилось на воскресенье. Наверное, Василь принял в этот день вина и к вечеру зафилософствовал о «Советах» и «как там у буржуев». Спустя несколько дней, 16 июня, Василь пишет: «Тигрануи делала какую-то работу. Дали полмеры пшеницы беженке за вино».

В июне Василь впервые упоминает о долге. Он пишет, что гусеницы поедают капустные листья и добавляет, что «Тигрануи отработала десять рублей долга, еще 12 рублей дал деньгами».

В июле сведения о Тигрануи отрывочны и скудны. Наверное, весь месяц девушка отрабатывала долг брата. «Тигрануи пропалывала соседскую бахчу в счет долга». «Купил вилы, одну штуку. Тигрануи собирала фасоль против долга. Купил мазь на болячку. Копал яму, потом ходил за дровами. Цветик не доится, в толк не возьму, почему».

В конце июля он пишет: «Тигрануи ходила вязать снопы на верхнем поле в счет долга. Вернул еще 3 рубля». Что там за снопы на верхнем поле и что там делала Тигрануи — не ясно. В тот же день Василь записывает: «Заболела Варсеник, Тигрануи пришла домой с царапиной на ноге. Купил мазь на рану».

На рассвете следующего дня болезнь у Варсеник прошла. Василь пишет: «Родилась у меня еще одна дочка». И больше ничего. За всю неделю он написал лишь одну фразу: «Долгу осталось — сорок».

Новорожденная не прожила и недели. «Ночью дочь умерла, имени дать не успели», — пишет Василь. На той же странице старинного сонника чуть ниже Василевой записи сказано: «Сон к добру, сбудется сегодня же», а напротив рукой Василя приписано: «Купил детям орешков — 16 копеек, керосину, фунт на копейку дешевле, а всего уплачено 30 копеек».

Если впоследствии речь и заходит о Тигрануи, то только «в счет долга» либо «против долга». Она моет шерсть, молотит зерно, собирает в огороде фасоль. 21 августа Василь почему-то счел необходимым сделать запись о том, что в этот день Тигрануи не работала, «занозила ногу».

Хроника августа примечательна денежными подсчетами Василя. Почти на каждой странице небольшие записи о расходах за день: «косцу за один

день работы на нижнем лугу — рубль шестьдесят», «купил косу у Манучара, задолжал 60 копеек», «поливальщикам — пуд пшеницы».

Еще раз о тапках для Тигрануи речь заходит в конце августа. И хотя Василь вел дневник до конца года, упоминания о ней и насчет ее обуви очень редки.

В конце концов Василь покупает пару тапок, но обувь, приобретенную для Тигрануи, присваивает Варсеник по той причине, что оказалась той велика. По этому поводу Василь высказывает множество поверхностных суждений вроде того, что, мол, все в этом мире обречено на забвение: и добро, и зло.

Ну как тут не заподозрить, что из-за этих тапок у Тигрануи с Варсеник вышла ссора. Тигрануи поревела и опять босиком отправилась на луг («купил ей мази на болячку») «против долга», а Варсеник запрятала тапки в сундук, принесенный из отцовского дома. И как понимать фразу Василя о том, что «Тигрануи обиделась, насилу притащили с гумна домой».

В сентябре у Василя отелилась вторая корова. И в этот день он ничего больше не записывает. Одним из замечательных событий сентября был счет сена. Василь подробнейшим образом подсчитал приход и расход люцерны, дважды высеянной и дважды выкошенной. И приход превысил расход («от сена чистая прибыль»).

Через неделю, делая запись об урожае ячменя, он вдруг вспоминает про Тигрануи, что когда мерили ячмень, в доме вдруг раздались плач и причитания, рука задрожала, он захлопнул сонник и вскочил. Что там стряслось да как, доподлинно ничего не известно. Вот только эта запись: «Тигрануи померла. От чего, не знаем. И не жаловалась ни на что, а так прямо на месте и умерла. Схоронили как полагается. Расходу было восемь рублей деньгами. Попу — пуд ячменя. Всего 9 рублей 70 копеек. Еще купил две свечи».

О Тигрануи больше не сказано ни слова. Прожила шестнадцать лет, поработала и умерла так же внезапно, как та новорожденная, о которой в конце июля отец написал: «Ночью дочь умерла, имени дать не успели».

В дневнике о смерти Тигрануи других подробностей нет. И эту страницу сонника Василь пролистнул тем же большим пальцем, сальная печать которого осталась на многих страницах книги.

Следующая страница, на которой через несколько дней была сделана запись, начиналась так:

«Долгу осталось — четырнадцать...»

1925

Мтнадзор — ущелье мрака

Единственную тропу в Мтнадзор так заносит с первым снегом, что никто не сунется в лес до весны. Однако и поныне в Мтнадзоре есть непролазные леса, куда не ступала нога человека. Деревья валятся, гниют. На месте павших деревьев прорастают новые. Медведи устраивают свистопляску, словно чабаны, воют волки, задрав головы к луне, кабаны роют клыками чернозем, собирают гнилые осенние желуди.

Мтнадзор — особый мир, а не просто девственный и дикий. Кажется, будто этот край позабыт богом еще с тех времен, когда человека и в помине не было, а ископаемому динозавру жилось так же привольно, как в наши дни медведям. Наверное, таким был мир, когда образовались гигантские слои каменного угля, а в его складках сохранились давно исчезнувшие растения и рептилии.

И сейчас в Мтнадзоре встречаются темно-зеленые ящерицы, не видавшие человека, человеком не пуганые. Лежат на камнях на солнцепеке.

Можно часами наблюдать, как трепещет кожица на брюшке, словно слабая жилка. Можно ее поймать. Ящерицы в Мтнадзоре нас не боятся.

Оттого, что горы в Мтнадзоре высоки, длинными летними днями лесу достается всего несколько часов солнечного света. И когда над отдаленными равнинами солнце только начинает клониться к закату, в Мтнадзоре тени сгущаются, под сенью лесов воцаряется непроницаемая тьма. Выходят на охоту медведи, кабаны спускаются на водопой, волк поднимает перед волчицей вой, который эхо в тысячу глоток разносит над Мтнадзором.

С наступлением ночи обитатели Мтнадзора выходят охотиться. Медведи поедают груши, пихают друг дружку лапами, катаются кубарем по жухлой листве, устраивают засады, как только почуют приближение кабанов. Медведь знает мощь кабаньих клыков, первым не нападает. Если от стада отстанет какая-нибудь ослабевшая свинка, медведь одним ударом раздробит мягкую шею, вырвет пару кусков, завалит тушу хворостом и листвой, а сверху привалит камень и уходит, бормоча, пока мясо не протухнет.

Если вдруг кабаны заслышат визг отставшей свинки... Засверкают клыки, как остроконечные сабли, и медведю останется неуклюже вскарабкаться на дуб. Кабаны фырчат, словно осатаневшие жеребцы, перепахивают землю под дубом, бьются клыками о ствол. Как-то весной один старый мтнадзорский лесничий набрел на скелет кабана — клык вонзился в дерево по самое основание, а в развилке ветвей застрял околевший медвежонок.

Лесник Панин был подобен дикому кабану. Он был чудовищем в обличье лесника и носил фуражку с кокардой. Он возникал в лесу внезапно и становился подле дровосека, наблюдая, как последний второпях рубит дерево. Потом вдруг как выйдет из засады да так зарычит, что просыпались медведи в берлогах. Перепуганному дровосеку оставалось либо улепетывать, либо извиваться по-змеиному под ударами панинской плетки.

Панин был охотником. Держал шесть псов, один другого свирепее. Ходил с ними охотиться в мтнадзорские чащобы. Зимними лунными ночами, когда никто не смел и близко подойти к Мтнадзору, панинская свора на поляне завязывала драку с медведем или травила изможденную косулю. Панин бегал за собаками, оглашая окрестности восторженными воплями. Ночная охота была его родной стихией.

Наступало утро. На снегу виднелись ручейки крови, клубок следов, труп задушенного волка, ободранные ветки. У дупла сидел Панин, дожидаясь, пока собаки насытятся добытым мясом.

Но сам он к убитому зверю даже не притрагивался, а возвращался домой, как только собаки покончат со своей трапезой. Если по пути ему попадался кто-нибудь с ворованными дровами на спине, псы набрасывались на него и грызли, пока взмыленный, окровавленный человек не находил себе убежища.

Таков был Панин. Он внушал ужас далеко за пределами округи. Молва о нем передавалась из уст в уста. Никто не ведал, какого он роду-племени, веры и происхождения. Поговаривали, будто он бывший офицер — убил человека, отсидел срок, потом ушел в лес. В северных лесах, на ночной охоте он убил свою жену, точнее, затравил собаками.

Вот что рассказывали про лесника Панина.

* * *

В своем селе Ави слыл хорошим охотником. Часть пропитания для семьи он добывал в дебрях Мтнадзора. На лужайках добывал фазана, в полях — перепелов и куропаток. Ставил силки на лис. Иногда забирался в мтнадзорские чащи. Часами просиживал за камнями, пока не приходили на водопой кабаны. Ави метко прицеливался из берданки, и пуля выбивала

в жирном кабаньем боку большую рану. Кабан катался по земле, рыл ее от боли клыками, вырывая корни, и, наконец, испускал последний хрип.

И если Ави не боялся Панина или знал, что лесника нет в Мтнадзоре, то сооружал из сухих ветвей волокушу, припрятывал в укромном месте, чтобы ночью притащить домой.

В тот день он тоже вышел поохотиться. На снегу виднелись свежие следы. Ави пошел по одному следу и только взошел на пригорок, как увидел двух лисиц. Не успел он выстрелить, как лисиц и след простыл. Для Ави это было дурным предзнаменованием. Не видать ему удачи на охоте. Походил он еще немного. Заметил след косули. Поискал, но не нашел. И так как Панин в этот день не должен был появиться в лесу (он прослышал, будто лесник захворал), то Ави счел возможным отнести домой вязанку дров.

Смеркалось, когда Ави опустил со спины дрова на камень и присел на пень перевести дух.

Появилась охотничья собака, обнюхала Ави. Душа у него так и ушла в пятки. Показалась вторая собака, третья, а за ними Панин собственной персоной. Словно из-под земли вырос.

У одного лицо как полотно, у другого как свекла. Панин изошел слюной, как мтнадзорский медведь. И когда занес кнут, Ави выгнул спину и обхватил голову руками. Ави показалось, будто у Панина окаменела рука, кнут застыл в зимнем морозном вечернем воздухе. Панин отвел кнут в сторону, и когда Ави поднял голову, ему померещилось, будто в Мтнадзоре загоготал бес.

Альтернатива показалась ему странной. Или плати штраф двадцать рублей за ворованные дрова, или добудь мтнадзорского медведя. И когда Панин повторил свое предложение, то его губы расплылись в ухмылке и он глухо засмеялся. Ави вскочил, бросил дрова и той же тропой пошел обратно в Мтнадзор. Ни один медведь в лесу не стоил панинского штрафа.

Ави осмотрел патроны от берданки, заправил за пояс полы чухи, надвинул на голову папаху. Он передвигался по снегу так же легко, как медведь по сухой листве.

Оглянулся раз Ави на пройденный путь — ни Панина, ни его псов. Луна, словно большущий снежный ком, заливала все светом, который отражался в кристалликах снега. Ави отчетливо различал стволы деревьев, пройденную тропу, валявшиеся толстые бревна.

Спустился в ущелье, прислушался к журчащей подо льдом воде. Журчание напомнило ему кипящий котел, дом, огонь в очаге. Дома, наверное, уже заждались.

За спиной послышался треск сломанной ветки. Ави подумал, что ветка не выдержала под грузом снега. Поднимаясь, почувствовал, что за ним следят. Оглянулся. Неподалеку стоял медведь в человеческий рост с веткой на плече, словно с пастушьим посохом.

Ави направил на него берданку и выстрелил, когда медведь отбросил с плеча ветку и встал на четыре лапы. С веток посыпался снег. Медведь взревел. Сквозь дым выстрела Ави разглядел, как лесной гигант прыгнул и протянул лапы к берданке.

В Мтнадзоре завязалась неравная схватка человека и зверя. Медведь бил лапой, пытаясь дотянуться до человека. Ави одной рукой защищался от ударов, а другой старался запихнуть ствол берданки зверю в пасть и выстрелить еще раз.

Медведь встал на задние лапы, раскидывая снег, упал, поднялся. Вдруг ему удалось схватить зубами ствол. Рука Ави скользнула по берданке, палец машинально нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Медведь взревел пуще прежнего, завалился на спину, покатился, как подрубленное бревно. Докатился до льда, попытался подняться.

Ави выстрелил в третий раз. Пуля вонзилась в снег, зашипела, как раскаленный лемех в воде у кузнеца. Третий выстрел был последним возгласом берданки. Ави так и не понял, почему она не приняла четвертый патрон.

Ревущий медведь прыгнул еще раз. Ави очень близко ощутил горячее дыхание раненого зверя, пригнулся, и когда медведь погряз в снегу, отбежал назад, плюхнулся в снег и вскочил. Медведь преследовал его. Ави бежал, перепрыгивая через бревна, ветви раздирали ему лицо, как острые когти. Спотыкался, снова вскакивал. Ему казалось, за ним гонится все мтандзорское зверье.

Папаху пронзили колючки, она слетела. В этот момент он почувствовал тяжкий удар в спину. Шерстистая лапа вонзила когти в мех воротника. Раздался выстрел, но Ави ничего не почувствовал.

Панин гоготал, как сатана, пиная труп медведя.

* * *

Ави жив и поныне.

Нельзя без содрогания смотреть, как он, спрятавшись от уличной суеты в укромный уголок, вяжет чувяки всем желающим.

Ави одет в чуху и чувяки. Обычное туловище, крепкие руки проворно дырявят кожу, вяжут узлы из кожаных нитей. А на обычном туловище вместо головы человеческий череп, совершенно ободранный. Ни волос, ни кожи.

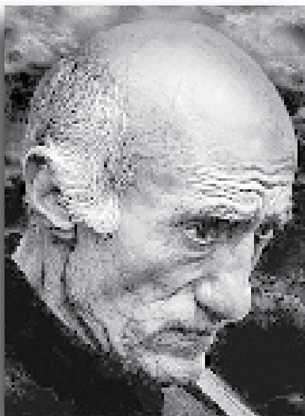
Одним ударом раненый зверь взрезал когтями мягкую плоть на затылке и со всей яростью сорвал с черепа кожу, а с ней — волосы, брови, глаза и нос.

У Ави нету губ. Из открытых костных щелей виднеются зубы, обнажена носовая пазуха, и когда Ави говорит, как глухонемой, воздух выходит и сквозь носовую пазуху. В глазницах сохранились куски иссохшей плоти. На дереве в лесу полувысохшая кожа, как сморщенный абрикос.

На черепе уцелели только уши. Смотришь и не можешь понять, стар Ави или еще молод, откуда исходит его голос, может, и не человек он вовсе, а чучело, может, под чухой скелет, и ни тела, ни плоти.

Однако на руках у него есть и плоть, и кожа. Пальцы сноровисты. И когда он поминает Мтнадзор, видно, как выпячиваются его зубы, из горла раздаются звуки.

И не разберешь, гневается старый охотник или улыбается.



ГРАНТ МАТЕВОСЯН

Прозрачный день

Рассказ

— Тебя к телефону.

— Спасибо.

Подтянутый, холеный, неотразимый, подхожу, руки в брюки, беру трубку и тяну французисто, нараспев:

— Але-у.

Я, вчерашний деревенский паренек, доволен собой: мне не угрожает перспектива стать чабаном, попасть под град, страдать от ломоты в суставах. Живу как у бога за пазухой, удостоен чести обладать собственным телефоном, друзья у меня люди выдающиеся, стало быть, и я им под стать.

— Але-у.

— Ты как-то говорил мне, что хочешь съездить в Ани.

— А, вот оно что... Ну мало ли...

— Я, ты, Минас, свояченица, из архитекторов кое-кто.

Жарища. Снега на Арарате угасают. Шелестит виноградная лоза, наливается сладостью. Коньяк. Совсем чуть-чуть, граммов пятьдесят. Свояченица в заграничных солнечных очках и воздушной нейлоновой косынке, втирает крем от загара. Хороша. Не помешала бы чашечка кофе.

— Этот, что зовется Гарсия Лорка, он же испанский вариант нашего Исаакяна.

— Угу. Поэзия у нас что надо.

— А чего ты ухмыляешься?

— Тебе-то что?

— Ты скажи, скажи. Мы тоже посмеемся.

— Скажу, обязательно.

Не возница я, мой буйвол не обломает себе ног в дальней дороге, со мной не будет лаяться бригадир. Я имею дело не с каким-то там заумным словом «архитектор», а со всамделишными архитекторами. Некоторые из работ художника Минаса мне очень нравятся, а кое-что — нет. Во время бесед с Минасом лучшее из того, чем богата мировая цивилизация, попадает в наш язык. Есть Сезанн, Мане, и Моне, кажется, есть. Вместо слова «грабли» я произношу «Сезанн». Я не интересуюсь ящуром, а любопытствую: «Кто были те чехи у тебя вчера в мастерской?» Волчий вой, собачий гомон и переполошенный пастух в темной палатке — как далеко все это от меня. Ноющие суставы как предвестники ненастья — уже из области народных преданий, как тучи саранчи для современного крестьянина. Чья-то заботливая-презаботливая рука перенесла меня с поля в город и усадила в кресло. Меня так и распирает от радости, что я больше не косарь, и

я нет-нет да и вверну колкое словечко в адрес косарей. А также пастухов. Достанется и начальству. В том числе, Мао Цзэдуну. «Этот мост, — изрек Мао, и слова его засверкали золотыми буквами на мосту, — соединяет один берег реки с другим». Я, сын пастуха и кандидат в пастухи, саркастически хмыкаю, вспоминая слова китайского божества. Я, крестьянский сын, деревенщина, вполне освоился на асфальте и заявляю, что на асфальте не бывает колдобин. Эта «Волга», и дух захватывающая скорость, и нейлоновая косынка, и кофе в цветастом термосе, и леность обремененных садов, и села, смахивающие на города, Арагац, придорожный родник и старинный караван-сарай, отары, укутывающие горные склоны словно облака, и прохлада, напоенная цветочным ароматом, — все это принадлежит мне. И море лугов, и город Гюмри. И командир погранзаставы, ростовчанин, и его сдержанная готовность проводить нас до границы. И ощущение того, что моя страна начинается у двуглавого Арарата и простирается до Чукотки. Порой я путаю Ширак с Кубанью, подобно тому, как русский не отличает крымский виноград от араратского.

Вот такой окрыленный и могучий, я стою на вышке в окружении таких же, как я, счастливых и сильных друзей, с биноклем у глаз, и смотрю, как посреди зеленой пустоты колышутся обезглавленные мечты. В кино это видно и четче, и резче. Да Ереван стоит семи таких Ани, и сам я ереванец.

— Ты что плачешь?

В наших горах турки-азеры разбивали свои шатры. Они приходили со своих желтых пастбищ, наливались соками на наших лугах, затем собирали пожитки, запрягали быков и — «цоб-цобе» — уходили восвояси.

И поехали мы, значит, с моим дядькой покупать у них масло. Впервые в жизни я слышал чужую речь, и мне стало не по себе. Дети-сатанята носились как угорелые, обзывались, тузили друг друга исподтишка, лыбились нагловато, и у всех были какие-то бездумные глаза. Они приснились мне двадцать лет спустя: будто я в крепости Карно, глинобитные стены и эти самые дети. И вот мне, тридцатилетнему, стало страшно во сне.

Среди них был один мальчуган. Он сидел, обхватив коленки, и глуповатыми своими глазищами, казалось, то ли таращился на нас, то ли смотрел сквозь нас. Его окликнула какая-то женщина. Он вроде бы собрался подняться с места, но тут она снова его позвала, стало быть, он никуда не уходил. Она подошла, подол ее колыхался, чтобы отвесить ему тумака, он вскочил, как будто даже отбежал на пару шагов, а потом то ли ему стало лень убегать, то ли он обо всем позабыл.

Дядя торговался. У него была лысина, орлиный нос и раскосые глаза. Цена его не устраивала. Обиженный якобы их мелочностью, он делал вид, будто собирается уходить, что разговор окончен, и говорит мне «вставай, парень, уезжаем», а сам подмигивает. В селе он похвалялся перед нашими, а по дороге — передо мной, мол, увидите, как ваш дядя турок вокруг пальца обведет. А теперь он доказывал мне и самому себе, что это ему удается. Они уже готовы были уступить, как вдруг ему надоело торговаться, а может, он забыл, что приехал турок надувать: «Ладно, давайте за вашу цену». Они и продали за свою цену, да еще всучили ему добрый ком овечьего жира, смешав с коровьим. Дома ему за это досталось от невесток, но его мысли были уже где-то совсем в другом месте. Он заметил мальчишку, сидевшего обняв колени, и остановил на нем свой взгляд. Выпустил из рук весы, позабыв, зачем пришел, и позвал мальчика:

— Подойди, сынок. Подойди, армянский отпрыск.

Ребенок сидел неподвижно, не откликаясь, прислушивался к голосам, что доносились из шатра, и смотрел широко раскрытыми, казалось, немного косящими глазами на погружавшиеся в сумерки ущелья.

— Он что, не армянин? — растерялся дядя.

— Армянин он, армянин, — ответили ему, — ты бы лучше занялся своим маслом, а то будешь потом говорить, что мы тебя обвесили.

— То-то же, — загордился собой дядя, — свою кровь из тысячи признаю.

А мальчик тем временем взял прутик и принялся лупить быка. По морде, по глазам, по рогам. Едва ли быку было больно. Сдвинься он хоть на шаг — раздавил бы этого клопика, а тот залез ему под шею и хлестал его, да так отчаянно, что на ногах не мог устоять, и казалось, все время жалеет, что бьет. Бык повернулся и пустился наутек, а мальчишки с собаками — за ним в погоню. Мальчонка же снова уселся, обхватив колени, и уставился на темные ущелья.

— Свою кровь и среди тысячи признаю, — снова пробормотал дядя, словно в этом было что-то выдающееся. — Признаю, из тысячи признаю, — сказал он, подсаживая меня на повозку среди поклажи.

В стародавние времена жил да был в своем Зангезуре один известный человек, сам хлебнувший лиха и причинивший немало горя другим, тертый-битый в междоусобных смутах. Поварился он в гуще событий, да так и не разобрался, чье дело правое, чье нет, а потом взял в один прекрасный день перешел Аракс и очутился в Тебризе. Завел торговлю, зажил по-человечески и позабыл запах гари и пороха, как забывается вчерашний зной или стужа. Вот мои ворота, вот мой дом, подушка, жена, дети.

— Ну как там Армения, существует еще?

Армения существовала, просто обязана была, потому что его сын внезапно затосковал — тоской по родине. Боже мой, сколько на свете болезней и снадобий, а этот щенок взял да заболел ностальгией. Доктор сказал, что это недуг звериный, а не человеческий. Персидский тигр, к примеру, в Германии не приживется, и тому подобное. Врач дал лекарства и сказал, что все эти пилюли на самом деле чепуха, потому что вылечить ребенка может только родина.

— Где он родился? — спросил он.

— В Зангезуре, вроде, в Кафане.

— Где это? — поинтересовался лекарь.

— Ну, там, за Араксом, в России.

— Не знаю, не знаю, — сказал врач, — если дорог тебе твой сын, отвезешь, а нет — медицина тут бессильна.

Господи Боже... такое случалось только в окутанных гашишным дымком старинных персидских сказках, десять тыщ лет назад, и вот теперь в Тебризе, в семье Герасима Атаджаняна, в 1927 году от Рождества Христова.

И вот Герасим Атаджанян, человек с антикоммунистическим прошлым, прицепил на бок маузер, взял мальчика на закорки, перешел ночью Аракс и поднялся в горы. Наступило утро, солнце позолотило горы, зазвенели голубые ущелья. Там, где разбили свои палатки крестьяне из села Арцваник, вился дымок, а чуть дальше — дымы Гехануша, Давид-бека и Цава. Вдалеке над лесами и ущельями висело голубое марево, вершины гор мерцали золотистой пыльцой. И понял Герасим, что, оказывается, не только его сын болен звериной хворью.

С утра пораньше перед горисским ревкомом выстроился отряд красной милиции и получил приказ: схватить нарушителя границы Герасима Атаджаняна. Марш!

— Гянджунц Симон, — раздался голос Герасима Атаджаняна, укрывшегося в расщелине, — Гянджунц Симон, человек ты или нелюдь, ребенок же больной!

— Атаджанян Герасим, — отозвался красный милиционер, ты что же думал, сбежишь в Тебриз, так мы до тебя не доберемся? А ну выходи, сдавайся!

— Ганджунц Симон, шел бы ты своей дорогой подобру-поздорову, пока цел.

Слава меткого стрелка, ребенок, удачно выбранное укрытие и то соображение, что, в конце концов, эти горы принадлежат и Герасиму, вынудили красный отряд отступить и уйти восвояси, без Атаджаняна. Мирно беседуя, они то скатывались под гору, то поднимались и, вернувшись в Горис, доложили, что нарушения границы не было. А нарушитель тем временем исходил вдоль и поперек все луга и долины своего детства, утолял застарелую жажду ледяной водой из родников и наставлял сына:

— Это — Студеный ключ, а это — Слепой родник, запоминай, вон там — Арчутское ущелье. А это — дуб. Не бог весть что, мало ли на свете дубов, но этот — особенный. Этот был дуб нашего деда, а теперь — наш. Можешь пройти от Тебриза хоть до Египта, хоть до Америки, но это дерево останется твоим и будет с тобою рядом. Заболеешь, тебя спросят: «Чего тебе хочется?», ты должен ответить — «дедовский дуб».

Герасим смотрел, и виделся ему дед, с топором за поясом. Он карабкался по склону, а следом за ним неторопливо брел его пегий пес. Герасим знал этого пса. То был двестидвадцатый потомок рода, состоявшего из семи сотен подобных ему зверюг. Он без остатка передавал потомкам всю премудрость ремесла своих предков, овчарок по призванию.

Герасим смотрел, и виделся ему краснощекий карапуз по имени Герасим, подросток Герасим, с капельками пота на верхней губе, юноша Герасим с изогнутыми в дугу бровями, и как все они ходили взад-вперед к роднику. Герасим прислушивался, и с вечно неизменных горных склонов до него долетали голоса всех своих возрастов и те голоса, что слышал он в рассказах. Красные маки разливались словно море, травы на лугах были неправдоподобно зелены, в воздухе звенели жаворонки. И все это — маки, травы, жаворонки — множилось и перемножалось на алые, изумрудные и звонкие переживания, испытанные им в пору детства, отрочества и юности.

Герасим Атаджанян провел это лето с сыном в горах до листопада, а затем еще два полных лета до глубокой осени, когда море горных вершин, вздымающихся словно волны, холодеет, пустеют шатры, из очагов не поднимается дым и опустевшие горы зеленеют последней осенней зеленью. Вот так и прожил Герасим Атаджанян со своим сыном в горах, а потом, оглядываясь назад, вернулся в Тебриз. Сын выздоровел. А Герасим заболел. Ему нужны были свои горы, по эту сторону Аракса, где осталось его прошлое.

Наскучила писателю Антону Чехову его Москва. И вот пустился он в плавание по своей Волге, пока не добрался до своего Урала, оттуда попал в Западную Сибирь, потом в Восточную, затем в свой Иркутск, в свой Якутск, на свой Дальний Восток и по своему Амуру добрался до своего Сахалина. Приехал, поездил туда-сюда и вернулся в свою Москву с книгой путевых заметок «Сахалин» под мышкой.

Наскучил писателю Деренику Демирчяну его Ереван. И отправился он в путешествие до своего «сахалина» — это в двух часах езды. Перевалил через Севанские горы, спустился в Дилижанское ущелье, проехал по нему и там, где ущелье переходило в равнину, Демирчян промолвил:

— Вот здесь Вардан Мамиконян дал короткий бой. — И, обращаясь к огороднику-азеру, говорит: — Не вар, не йох, а кирва? Кеп? Ал? Как жизнь, как дела?..

Разворачивает машину и держит путь в другой конец царства армянского — это значит в четырех часах езды. «Не вар, не йох, а кирва...» За четыре часа двоечник может схватить четыре «двойки», отличник зарабо-

тает четыре «пятерки». Ракета ненамного приблизится к Луне, море поплещется, синий гранит Матенадарана сменит несколько оттенков, но книгу путевых заметок за четыре часа ни за что не написать.

Спустя шесть часов Дереник Демирчян вернулся домой.

— Вот и объездили мы страну армянскую. Побывали в земле Гугаркской и Котайкской, в провинции Цахкотнской и Великой Айраратской, в земле Сюникской, Сисаканской и Ширакской.

Эх, был бы Наполеон чуть-чуть удачливей... Его ведь не Россия интересовала. Он намеревался выйти через Кавказ в Индию, а по дороге, сокрушив Османскую империю, собирался возродить Царство Армянское. Вот тогда бы и сказал Наполеон своему полководцу Иоахиму Мюрату — Овакиму Мурадяну: «Получай, Мюрат, свое потерянное царство».

Да вот сплоховал Наполеон при Бородино, из-за насморка, как считают некоторые исследователи.

Наивные, доверчивые слабаки!

Изучали бы лучше дипломатическую энциклопедию. Наверняка есть в ней какой-нибудь армянин, зубр от политологии, который, скажем, на благо своей Англии переиграет других зубров, а сам потом попадется, как дитя малое, на россказнях про насморк.

Когда мы были еще дикарями, греки уже умели сжимать пальцы в кулак — знали великий секрет построения фаланги из копьеносцев. Так вот, рассказывает греческий историк, Греция не желала, чтобы мы прозябали в своей дикости, потому что сильные мира сего всегда и везде страдают зудом благих намерений. И вот, значит, нагрянула к нам греческая фаланга о четырех углах и прошлась по земле армянской с запада на восток и с юга на север, сметая все на своем пути. Лагерь свой они разбили в голубых полях близ Муша. Все прошло гладко, как на учениях, потому как с фалангой может справиться только фаланга, а против тарана нужна стена. А наша глина была еще не обожжена, и наша медь с бронзой не выплавлены, потому что наши гончары месили глину, а кузнецы ковали мечи для Великой Персии.

И вот в поле близ Муша, в лагере, ночная стража изловила дикаря. Зажав в руке медный нож, он крался ползком к шатру полководца. Что он там потерял? Греческого он не понимал, по-пластунски ползать не умел, как нож держать, толком не знал. Его били — он скулил, даже кричать как следует не мог. Мужеством не отличался. Когда резали, катался волчком по земле и выл, пишет греческий историк.

Вот таким, непонятным, хилым, перекошенным, замаячил он в двух с половиной тысячелетней мгле, и я узнал себя. И стал на стражу своему бессилию, сжимая в нетвердой руке хлипкий нож.

— В Крыму бывал?

— Нет.

— Зря. Есть на что посмотреть. Ну, конечно, море. Понтом называть его не хочется. Понт — это нечто бездонное, бескрайнее. Заблудившиеся кораблики и отчаянные мольбы морю-божеству. А это и на море-то не похоже, так, тазик с теплой водичкой. И постоянное сознание того, что соленые воды укрепляют здоровье и пользительны при суставных болях. Так, что еще. Мелкий желтый песочек, а на нем... десять, двадцать, пятьдесят тыщ распростертых тел. Грузовик. В кузове — пианино. За пианино сидит некто и тренькает. В такт музычке престарелые артистки, счетоводы и врачихи выполняют всякие оздоровительные телодвижения. Сквозь солнечные очки на все это взирают хорошо сложенные мальчики и девочки, вкушают мороженое, болтают, по-русски, по-казахски, по-молдавски, а то и по-немецки. Едят, флиртуют, острят, пересчитывают рублики. А там, поодаль... наши

запыленные, несчастные, позабытые-позаброшенные пшатовые деревья. Их сюда завезли армяне, еще в древности. Армян здесь уже не осталось, а вот деревья... Смотреть не на что, аромат почти улетучился...

Мои робко благоухающие пшатовые деревья.

И наш бог, Месроп Маштоц, сказавший «Да будет свет!», и стал свет.

И наш безумец из Муша, что черным летом пятнадцатого года бросил жену, детей, хлеб насущный, взвалил на спину дверь монастыря Аракелоц и, пошатываясь, побрел белесыми дорогами в Эчмиадзин.

И тот летописец, что сорок, сто сорок, тысячу сорок лет корпел, сгорбившись, над рукописью в пещере, связанной проселком поросшим вековыми травами со столбовой дорогой, и писал по порядку обо всем, что творилось на этом крохотном клочке земли.

И наше солнце, Комитас, в черном облачении.

И Туманян, постаревший в один год на сто лет.

И тот несчастный мечтатель, который отливал в Европе пушку, чтобы стрелять из нее с сюникских высот.

И сотни сотен бойцов, сжимавших в одной руке книгу в другой — порох, шагавших, чтобы водрузить красное знамя над нашей гибнущей голубой родиной, и сгинувших бесславно на границе под пулями, хлеставшими в спину и в лицо.

И всесокрушающая любовь, молитвы, съеденный хлеб, засеянное зерно, родившиеся младенцы и сложенные песни пятнадцатого года.

И что самое поразительное, вновь заколосились поля, заиграли прохлада и зной, заалели маки и на зазеленевших наделах вновь зазвенел смех. А Мастер, сидя на троне, все думает свою думу о неимоверно жестокой и непостижимо прекрасной тайне мироздания и нет-нет да обронит слово. И что ни слово, то алмаз, ибо за пятьдесят лет слова эти были так опалены солнцем да исхлестаны ливнями, как им не досталось бы и за тысячу.

...Отчего тебе грустно? Чему ты радуешься?

1965

Примечания

Ани — средневековая столица Армении, находящаяся на противоположном берегу Аракса, в Турции. Увидеть Ани можно с армянской стороны, но для этого нужно получить доступ в погранзону.

Исаакян Аветик — поэт.

Минас Аветсян — художник.

Ширак — историческая область Армении.

Зангезур — историческая область Армении.

Муш — историческая область Армении.

Матенадаран — Институт древних рукописей, музей.

Эчмиадзин — резиденция католикоса (патриарха) всех армян, центр Армянской Апостольской Церкви.

Комитас — композитор.

Туманян Ованес — поэт.

Месроп Маштоц — изобрел в 362 году армянский алфавит, применяемый до сих пор.



ЛЕВОН ХЕЧОЯН

Три рассказа

Суббота — воскресенье

Арут знал, зачем явился инопланетянин, и хотел с ним поговорить, когда они останутся наедине.

Арут собирался под каким-нибудь предлогом ненадолго отослать ребят и медсестру из комнаты.

А инопланетянин как нарочно выбрал такой момент, чтоб и они присутствовали при разговоре.

Ребята беседовали с ним, попивая холодную шипящую минералку. Арут заметил, на каждом вспотевшем горле обозначился кадык, и шесть-семь адамовых яблок одновременно заходили вверх-вниз.

Инопланетянин нахлобучил пустой стакан на пластиковую бутылку и заявил, что спустился с неба, прибыл с далекой планеты, на которой очень хорошо относятся к Аруту. Сказал, что пришел уточнить только один вопрос: собирается ли Арут впоследствии снова поселиться на Земле?

Как раз на этот вопрос Арут и стеснялся ответить в присутствии ребят и медсестры, потому что, будучи их предводителем, он не раз твердо заявлял, сомненья — прочь, планета, земля, страна, которую они населяют, очень хрупкие, именно они защищают прогресс и благополучие.

Чтобы остаться с глазу на глаз с инопланетянином, Арут тянул время, говорил о несущественных вещах, в надежде, что утомленные ребята выйдут из комнаты освежиться или еще за чем.

Сказал, что каждая эпоха была порочна, опустошая планету проявлениями воспаленного мышления, отсюда и губительное воздействие минувших веков на последующую жизнь. Зло и разложение заложены в основу всего мира.

— Что поделаешь, — сказал инопланетянин.

Сказал, что так уж устроено место, где обитают люди, руководствуясь инстинктом уничтожения одного народа другим.

Однако он давно знал, что инопланетянин прибыл только ради этого вопроса.

Когда по берегу серебристого озера четверо (и с ними врач) бегом несли Арута на брезентовом прорезиненном плаще, чтобы успеть к санитарному вертолету, Арут вместе с мерным хрустом гальки под их тяжелыми подошвами услышал всплеск ныряющей спугнутой лягушки, а может, белого гуся, заметил отражение сине-белых облаков необъятного неба в воде, увидел густые заросли с желтыми тыквенными цветами вдоль бесконечного забора насосной станции, и вот тогда он впервые увидел инопланетянина, помогавшего ребятам, обессилевшим от эстафетного бега. Давал толковые, очень дельные советы, как сохранить

работу печени, остановить кровь, непрерывно хлеставшую из открывшейся дыры, да как вернуть сознание Аруту, который бился в судорогах.

И в вертолете он сидел подле Арута, а в палате сказал, что бояться нечего и с ним ничего не случится, доживет до старости.

Но вместе с тем он хотел, чтобы Арут конкретно ответил на поставленный вопрос, потому что он за этим и пришел.

Ребята, коротавшие ночь за карточным столом, не спали, и медсестра не отлучалась из палаты по какой-либо надобности, все словно нарочно навострили уши и ждали, когда же Арут ответит отказом.

Арут вынужденно сказал в их присутствии инопланетянину, что нет, он не хотел бы в следующий раз становиться обитателем Земли. Сначала из одного, потом из другого глаза покатились слезы. Инопланетянин вытер влажную щеку Арута подушечками теплых пальцев.

До этого момента инопланетянин все время был один, но перед уходом, казалось, из него возник кто-то еще; и их стало двое. Сказал, что он помощник, останется с Арутом во избежание нежелательных ночных осложнений.

Помощник делал записи на листах в папке, раскрытой у него на колене. Все много говорили наперебой. Арут никак не успокаивался. Дабы он не мучился ночью от бессонницы, помощник дал ему бумагу и ручку, чтобы написать письмо, кому захочет. Сказал, чтобы не вздумал ничего опасаться — многих перо и бумага доводят до пессимизма, но с Арутом ничего не случится — доживет почти до средних лет.

Арут удивился, как это «до средних лет»? К тому же «почти»? Откуда взялся этот срок? Старший инопланетянин до глубокой старости обещал. Сказал, что тут какое-то недоразумение, ошибка вышла. Может, были разговоры, в которых помощник не участвовал, вот и пребывает в заблуждении, не знает истинного положения вещей. Он требует встречи с инопланетянином. Немедленно.

Помощник объяснил ему, что инопланетянин уже в пути. Неудобно както поднимать тревогу, возвращать с полдороги. Мало ли что еще придет на ум. Надо подождать. Вот он придет утром, тогда Арут может задавать столько вопросов, сколько душе угодно. Арут с ним поговорит и все уладит.

Арут знал, что все равно проведет ночь, ворочаясь с боку на бок, и сможет уснуть только доверившись утренней заре. Предложение помощника провести ночь за сочинением письма показалось Аруту неплохой мыслью.

Ребята, занятые карточной игрой за угловым столиком, прервали преферанс и откинулись на спинки стульев. Возникший спор касался совсем другой темы. Сначала — медсестры с бюстом, выпиравшим из глубокого выреза в белом халате, затем из-за Арута. Постоянно и очень громко говорили на непонятном языке с врачом, который прибежал в палату на тревожный вызов.

Аруту мешали сосредоточиться на письме. Он хотел объявить персональный выговор, но странное дело — лишился способности различать чьи-либо лица или изъясняться словами. Сколько ни пытался он наделить лица известными ему следами загара и обветривания, силясь вспомнить их по этим темным признакам, все было тщетно. Мысленно он даже не мог узнать последнее увиденное лицо только что вошедшего врача, который держал его за запястие и лихорадочно искал пульс.

Ни у кого не осталось лица.

Вмешался помощник и сказал, что Арут напрасно тратит время и усилия, пытаясь вспомнить окружающих или понять их речь. Было бы благоразумнее дописать письмо, пока не взошло солнце.

Арут прочел первую строку и понял, что пишет не жене, а Норе, дочери шофера, которая намного его моложе…

Здесь повсюду снег. Взятый нами город торчит, словно обнаженный живот беременной женщины из глубокого снега и окружающих его окопов.

Здесь вопросы и ответы те же самые, даже лица, крики птиц, поток воздуха, протекающий сквозь все щели, черные целлофановые пакеты, гонимые ветром по улицам, бредущие вдовы, одетые в черное, все-все повторяет друг друга, весь занятый город повторяется своим обликом несколько раз, словно эхо…

Потом намело глубокие сугробы. Повсюду гробовое молчание… Помоги мне, скажи, что есть наша любовь: я знаю, она — словно то еще зеленеющее пшеничное поле, где ты, тяжко дыша, стоишь нагишом на колосьях, подмятых твоей спиной, возведя широко раскрытые глаза к полной луне, в ожидании, когда я овладею тобой вновь; ты словно парила в небесах на ковре-самолете.

Нам надо поговорить, потому что иногда даже три-четыре высотных здания в этом провинциальном городишке…

Вдруг Арут услышал ожесточенный стук в дверь. Из-за невыносимого шума он перестал писать. Ему хотелось понять, что это такое: его кровать сотрясалась не от землетрясения, время от времени пробуждавшегося в недрах под городом, и не от валунов, постоянно свергавшихся с гор вместе с селевыми потоками; казалось, по ухабистой проселочной дороге едет машина, ударяясь днищем о камни.

Постепенно он догадался, что это в каждой клетке его тела, от ногтей на ногах до кончиков волос, останавливается сердце, а потом начинает снова гулко колотиться…

Однако помощник, все это время сидевший рядом, сказал Аруту, что он не одинок, обнадежил его, мол, не бойся, продолжай писать: ему обещана молодость, ничего не случится.

Арут помочился в судно, положенное медсестрой под одеяло…

Он недоумевал («а теперь только молодость»). Как же так, молодость? Все урезывает. Он не смолчал, заговорил. Из-за спины помощника медсестра делала ему знаки, прикладывая палец к губам, чтобы Арут придержал язык и не гневался.

Арут ничего не замечал. Замолчал только, когда крякнуло реле, запускающее холодильник. Но немного погодя он тем же тоном потребовал от помощника сей же час вызвать инопланетянина.

Помощник объяснил, что уже поздно. Инопланетянин в эти часы не работает. Было бы не очень правильно беспокоить его во внеурочное время. А завтра, к сожалению, воскресенье, и как знать, придет ли он навестить Арута или предпочтет отдых. Если придет, пусть Арут обстоятельно обсудит с ним все волнующие его проблемы, он не думает, что будет поздно.

Услышав слово «отдых», Арут прямо-таки вышел из себя: значит, он будет наслаждаться воскресным отдыхом, в то время как по отношению к Аруту творится такая роковая несправедливость, а на далекой планете к нему относятся с таким состраданием, ценят и уважают.

Помощник выразил уверенность в том, что завтра Арут прояснит все неувязки с инопланетянином, посоветовал закончить письмо, ибо вот-вот рассветет: не нужно обрывать сказанное на полуслове, к тому же, когда пишешь, на тебя нисходит умиротворение.

Помощник не стал никого просить, пошел, принес ледяной воды из холодильника. Держа одной рукой мокрую, наполненную до краев бутылку, по которой струилась влага, он другой рукой придерживал Арута за затылок и поил его, переговариваясь при этом с медсестрой. Арут жадно

пил из пяти-шестилитровой запотевшей пластиковой бутыли с кристалликами льда, а вода все не кончалась.

«Придет завтра», отозвалось в голове сказанное про себя.

Прежде чем снова приступать к письму, долго говорили втроем. Затем он продолжил.

…**Ночь серебряная… горные козлы с разбега сшибаются лбами… у взятого города, как от ветрянки, вскрылись все дыры, и сквозь них дует буря со снегом… По ущельям течет непроглядная синеватая мгла**…

Он прекратил писать: где-то в глуши скрывался некто очень значительный. Чем дольше он писал о ней Норе, тем неестественней казалось описание…

Арут не смог продолжать: красноватый свет голой лампочки, свисавшей с потолка, запестрил белыми сполохами; на противоположной стене он увидел несметное количество ослепительно-желтых цветов тыквы.

«Это солнечные лучи, — подумал он, — начался хороший день».

Но не прошло и нескольких мгновений, как опять стемнело.

Аруту показалось, что медсестра или ребята подняли-опустили жалюзи, чтобы посмотреть, какая погода. Если бы не рассвело, помощник не забрал бы у него письмо и не собрался бы уходить, приведя в порядок одежду перед зеркалом.

Арут знал, что наступило утро, и стал дожидаться инопланетянина; несмотря на воскресенье, он был уверен, что тот придет, не воспользуется выходным. Невозможно, чтобы он его покинул, ведь на большой далекой планете к нему испытывают особое уважение, переживают за его жизнь.

Ведь во Вселенной, между небесами и земной твердью, упавшего Арута заметили как точку размером с крохотную песчинку и не бросили в беспомощном состоянии.

Однако Арута удивляло, что в палате опять воцарилась кромешная тьма, а противоположная стена украсилась многочисленными ярко-желтыми цветами дыни.

Он потребовал, чтобы подняли жалюзи. И влетел огненный шар, ослепительно заискрились бесчисленные светящиеся пузырьки с канареечным отливом.

В белоснежно-фарфоровом свете Арут заметил инопланетянина: он сидел на кровати у него в ногах, прижимая палец к губам и давая понять, что говорить не следует.

Вместе с тем Арут осознавал, что в палате темно: он только почувствовал, как нечто теплое и крылатое коснулось его лица. Подумал, что это могло быть только прикосновение крупной, величиной с аиста, ночной бабочки в густой тьме.

Он повернулся к стене. Повсюду разлилась тишина.

Вот уже пятнадцать минут, как покинутый Арут лежал на боку под сенью высокой горы. Рядом никого. За пятнадцать минут тело обескровилось до последней капельки. Вокруг него образовалась лужа.

Воцарилось безмолвие; что у подножья горы, что на макушке, что выше — одно безмолвие.

Два ангела

Только на привале на краю оврага Манук осознал, что ночь тянется пятые сутки, а рассвет не наступает. Ему подумалось, что, наверное, тому причиной занавесивший небо и землю густой дождь, непрерывно ливший

всю неделю. Может, воздух пропитался мраком громадных лесистых гор? Или же дело в промокших людях, которые, цепляясь друг за друга, черными виноградными гроздьями облепили борта груженых скарбом тракторных прицепов с дрожащими красноватыми огоньками? Или факелы из намотанных на палки тряпок, освещавшие дорогу идущим впереди, распространяли резкий запах гари? А может, из-за того, что убегавшие в панике люди были обвешаны пестрыми курами, которые болтались у них на груди и на спине лапами вверх? Или потому, что на поворотах сквозь мокрую листву кустарника посверкивали глаза бродячего зверья? Или оттого, что на перевале отступавших вслепую людей сопровождала глинистая жижа? Или оттого, что в постоянно включенной рации в виллисе постепенно угасали голоса ребят, прикрывавших отход беженцев? Или оттого, что монотонным голосом непрерывно передавали об исчезновении трех сотрудников Красного Креста в районе железнодорожного переезда? Или оттого, что на высотке у совхозного конезавода восемь человек, расстреляв все снаряды, попали в окружение вместе со своей гаубицей? Ждали молча. Манук явственно увидел, как обвисли плечи у Гора на переднем сидении виллиса. Немного погодя им захотелось выйти из машины: им показалось, из отвращения к монотонным радиопозывным. Мануку померещилось, будто он спит и видит остановку виллиса, и как они понуро вылезают из машины, наступают друг другу на пятки, перепрыгивая через яму, стоят, окружив репейник, расставили ноги, словно собираются водить хоровод, и не знают, приспичило им мочиться или нет. Ветки шиповника налились, словно разветвленные вены.

На шоссе раздался грохот. Манук догадался, что это ветер со всего размаха захлопнул дверцу пустого виллиса. Монотонный треск и шипение в машине сразу умолкли, и он услышал голоса, доносившиеся с дороги.

— Том, — звал кто-то. Чуть погодя, опять: — Том.

Манук слышал этот клич уже пять дней и воспринимал его как удар кулаком по запертым железным воротам.

— Зачем кулаком по металлу? При чем здесь запертые ворота? — спросил себя Манук.

Он подумал про себя: «Не расслабляйся, ведь так могут звать и пропавшую собаку, и коня, и мужчину».

Он провел на ходу ладонью по мокрой листве и заметил маячивший время от времени над черным кузовом виллиса полумесяц, похожий на сидящую лягушку. Одновременно, услышав завывание ветра среди людей на шоссе, он подумал, что это дующий над землей ветер просачивается в лес. Манук снова услышал, как прерывистый голос раскатисто прокричал: «Том!» Немного погодя, снова: «Том!» И до него дошло, что это, расталкивая отступавших, истошным ором упавшего в печь кричит мать, разыскивающая сына.

Они прикрывали отход беженцев. Ребята уводили их в безопасное место, сдерживая преследователей, которые шли по пятам.

В конце концов Манук сказал Гору и Эндо Срапяну, что с какого-то момента они уже не смогут сопротивляться. Неужели они не боятся? Или все еще надеются на помощь? При свете фонарика они изучали зеленую карту, расстеленную на коленях, и разговаривали, возражая Мануку. Он заметил, стоило ему сказать пару слов, как несогласие перерастало в спор. Манук присоединился к курящим, и ему передали сигарету, из которой струился дымок. Манук откинулся на спину и почувствовал, что одна его половина моментально уснула, а вторая все еще улавливала, как Эндо Срапян, щелкая ключом, передает один за другим радиосигналы. Казалось, он бодрствовал во сне и сразу отреагировал на происходящее, сказал: предчувствую, вот-вот подойдет отступающий отряд. Некоторое время спустя, двигаясь навстречу, на повороте они опять остановились подождать. Манук вылез под дождь покурить, пряча сигарету в ладонях и вглядываясь

во тьму. Прикурил вторую, начал ходить вокруг виллиса, стремясь плюнуть как можно дальше; потом, увлекшись игрой, попытался переплюнуть свое достижение. Тут он заметил, как из дремучего леса гуськом вышли несколько человек. Волоча по земле тяжелую ношу, они, спотыкаясь, притащили закутанного в мокрый брезент Ширака и уложили на заднее сидение. Когда Манук с сигаретой в зубах помогал ребятам, Ширак схватил его за одежду. Манук оторвал его негнущиеся пальцы от своего ворота, успокоил. Тут кто-то попросил еды. Манук достал из багажника влажный хлеб; дождь зарядил еще сильнее. Видно было, как в темноте стоявшие у виллиса люди руками отколупывали от каравая куски и ели. Потом под дождем из разговоров Манук разобрал несколько слов, но знал, что подобные разглагольствования бессмысленны. Затем, продолжая жевать, они удалились, влекомые текучей грязью, по правой и левой обочинам. Немного погодя он заметил, как Ширак колотит себя обеими руками в грудь, словно гасит огонь за пазухой. Манук крепко прижал его голову к коленям. Все равно тот вскакивал с места, пытаясь вырваться. Когда Манук успокаивал и обнадеживал Ширака, то почувствовал, что под ним мокро, пальцы пристают к кожаной обивке. Его осенило — Ширак теряет много крови. В тот момент Манук не знал, что делать. Гор и Эндо Срапян сказали, что тоже не знают. Манук попытался вспомнить хлеб и воду, которыми кормили ласточек. Потом, чтобы прекратить стоны Ширака, прямо на ходу, при тусклом свете фонарика Манук одной рукой прижал его голову к коленям, а другой напоил тутовкой из зеленой, как ящерица, бутылки. Потом Манук спросил себя, а может, он не понял бессвязную речь Ширака, постоянно просившего воды, и зря дал ему столько водки. Он почувствовал, как на фоне водочного аромата в кабине от Ширака сразу запахло потом. Манук проголодался. Он настолько ослаб, что не мог сидеть прямо. Потом он услышал, как Эндо Срапян закряхтел, поворачивая руль, потому что не мог вписаться в ширину дороги и бросал машину от обочины к обочине, объезжая колдобины.

Из темноты возникли силуэты. Манук увидел их через заднее стекло. Ему подумалось, что только вспугнутые телята и упитанные белые козы могут так резво выскакивать из дубняка. Когда Манук снова приблизил голову к окну, то увидел вышедшего на дорогу человека, потом еще одного. Он пристально всматривался, пока глаза не привыкли к темноте и можно было явственно различать, сколько их всего. Потом Манук долго не мог решить, стоит ли говорить об этом Гору. И речи быть не могло, чтобы кто-нибудь из беженцев оставался в этом районе; он был уверен, что опустошаемая территория прочесывается. Потом его внимание привлекло то, как вибрация работающего мотора передается через жесткий пол Шираку, а от него к Мануку. Манук сказал, что за машиной, то появляясь, то исчезая из виду, шагают люди. Все обернулись и начали смотреть. Посомневались. Решающее слово было за Гором. Наконец остановились.

Не вылезая, держась за ручку, Манук приоткрыл дверцу и, выглянув вполоборота, воззвал к темноте. Ответа не последовало. Он подумал, что, может, и они зовут его. Наверное, он их не слышит из-за дождя, барабанящего по брезентовому тенту. Веяло прелью, вероятно, из леса. Потом Манук почуял, что запах исходит не оттуда, а от брезента, в котором принесли Ширака. Стали ждать, пока они, хлюпая по грязи, доберутся до машины. За это время, перед тем как потерять сознание, Ширак успел с мольбой в голосе помянуть добро и зло. Манук побрызгал его лицо водой и, прокричав на ухо «Ширак! Ширак!», вывел из обморока. Тут он заметил, что они пришли и стоят у распахнутой дверцы. В слабом свете, падавшем из кабины, он увидел перед собой двух похожих глубоких старух со сложенными на животе руками. С кончиков носов капала дождевая вода.

Эндо Срапян спросил: почему они так отстали от беженцев?

Манук заметил, как одна из них отвечала, вытирая льющуюся воду ладонью, а потом об одежду. Из-за дождя слов было не расслышать. Ему подумалось, может, дождевая дробь по тенту — это морзянка.

Потом Манук громко запротестовал. Он был уверен, что Ширака трогать нельзя, пусть ему дадут спокойно умереть на заднем сидении. Манук опять вступил в полемику: зачем было вообще подбирать этих старушенций?

Один из них говорил, что они уже не могли даже позвать на помощь.

Мануку подумалось, что после их появления перед виллисом Ширак сразу успокоился. От этой мысли ему стало не по себе. Манук услышал крик ночной птицы, но в машине он бы его не услышал.

Потом, чтобы освободить место, Гор при помощи Эндо Срапяна перетащил Ширака к себе через проход между двумя передними сидениями. Манук услышал, как затрещали и посыпались пуговицы с одежды Ширака. Потом он увидел, как Гор взял его израненное тело к себе на колени, словно ребенка и, обхватив обеими руками под мышки, прижал к груди.

Тут Манук заметил, сколько места занимают старушки после Ширака. Он увидел, что они сидят босиком, словно находятся в очень почитаемой святыне или храме. Они плотно уселись, потом положили облепленные грязью галоши себе на колени; с их волос и бровей сочилась вода.

Мотор не работал, поэтому Манук явственно услышал хруст ветки под ногами в лесу и одиночный кашель. Его напряжение сразу передалось Гору и Эндо Срапяну. Старушка успокоила их, сказала, что это олень забрел в заросли кустарника. Манук полюбопытствовал, откуда она это знает, ведь ничего же не видно. А вот знаю, ответила она. Манук спросил, что она этим хочет сказать, однако заданный вопрос показался ему весьма бессмысленным, и он потребовал, чтобы они надели галоши, потому что пол усыпан осколками разбитых ампул. По-прежнему держа галоши на коленях, они упорно отказывались. Манук вступил с ними в спор и сказал, что зря они их взяли. Та, что ниже ростом, сидевшая поодаль от Манука, сказала, что они уже даже не могли позвать на помощь. Бдительность Манука была так обострена, что при включенном свете, когда заработал мотор, он сразу же заметил оленя, бросившегося наперерез виллису.

— Вышел, — сказала одна из них.

— Подумаешь! — буркнул Манук и опять взялся за свое — сбил ее галоши на пол.

Потребовал, чтоб надели. Та, что ниже ростом, сидевшая поодаль, подобрала галоши и положила на колени. Гор и Эндо Срапян велели Мануку поостыть. Прошло некоторое время, и он догадался, что с тех пор, как они сели в машину, Ширак настолько оправился от страданий и безысходного страха, что у него на губах обозначилась улыбка.

За несколько секунд до кончины Ширака та, что ниже ростом, сидевшая поодаль от Манука, молвила:

— Мы разулись в знак уважения к вам.

2006

Сад

Работая в саду, Элен увидела у ограды холмик. Положила грабли с железными зубьями, подошла, встала рядом. Холмик доходил ей до живота.

Спустя некоторое время в ярком утреннем свете и в густой тени она разглядела россыпи черных лакированных муравьев величиной с семечко подсолнуха, которые извергались на поверхность, словно ключ, бьющий из-под земли. Затаив дыхание, Элен смотрела, как они, спускаясь с вер-

хушки холмика, строились, соблюдая строгий порядок, и по руслу, проложенному в жесткой сухой почве, струились вглубь сада. Она постояла некоторое время, потом пошла вслед за муравьями. Не доходя до яблонь, она заметила, что все ее шаги сопровождаются эхом с того самого момента, как она положила железные грабли и подошла к муравейнику. В утренней тиши Элен слышала отзвуки, исходившие сразу от тысяч и тысяч грызущих муравьев. Она ухватилась за дерево и подумала: «Что-то их слишком много внизу и вверху». Двое работников мэрии открыли щеколду на железных воротах и, поздоровавшись, вошли в сад. В доме, когда Элен платила налог на собственность, она заметила, что рука у молодого человека, заполнявшего квитанцию, искалечена. После этого они опять сами отворили дверь и ушли.

Дерево с густой кроной было напрочь лишено листвы. Элен увидела прорытые с разных сторон подземные ходы. На оголенных ветвях горела красновато-янтарная смола. Она заметила, что муравьи как по линейке взрезали кору дерева от корней до макушки. Колонна, двигавшаяся по разрезу, подчинялась жесткой дисциплине: по одной кромке ползли муравьи, стиснув листья в крючковатых челюстях, по другой, доставив груз по назначению, возвращались порожняком. Элен постояла у дерева, напоминавшего синеватую рыбину, из которой выдавили икру и разметали во все стороны. Под ним в траве валялись недозрелые яблоки, над которыми кружили стрекозы с хоботками и мухи с зеленоватым отливом. Она подумала, что в это время года яблоки кислые. «Интересно, зачем муравьям понадобилось обгладывать дерево?» — спросила она себя.

Она изумлялась, как это они проходят мимо, совершенно не обращая на нее внимания.

Вдруг Элен принялась разрывать лопатой муравейник, пахнувший влажностью и корневищами. Когда она остановилась, то заметила, что остальные муравьи убегают вглубь сада, проникая куда только возможно. Услышав доносившиеся из дому телефонные звонки, она бросила лопату. Сняв трубку, догадалась, что телефон звонил довольно долго. Поговорила с матерью Акопа. Та спрашивала, есть ли, наконец, у Элен весточка от Акопа. А может, по телефону ничего не выяснишь?

Элен сказала, что на звонки или не отвечают, или, если, в лучшем случае, берут трубку, ничего не разберешь.

Ее разбудил рокот тяжелого грузовика на шоссе. Подумала, еще немного и уснула бы, но на улице уже стемнело. Поняла, что действительно долго спала на кушетке.

Элен положила телефон на колени и, включив телевизор, долго обзванивала подруг. В конце концов, они задавали ей те же самые вопросы про Акопа. Элен машинально отвечала одинаковыми заученными фразами.

Утром она вышла в сад. Муравьи по-прежнему лезли гуськом из-под земли, превращаясь в единый организм, и ручейком текли в сторону деревьев.

Элен схватила с плиты кипящий чайник, прибежала и выплеснула клокочущую воду в муравьиную нору. Мгновенно воцарившаяся тишина произвела на нее впечатление. Шум донесся до нее чуть погодя, когда свалилась в траву крышка чайника; она решила, что это от упавшей крышки.

Элен видела, как муравьи хлынули из других нор. Некоторые еще держали в челюстях листья, которые не успели донести до муравейника, и инстинктивно метались со своей ношей из стороны в сторону.

Выливая воду, Элен ошпарила руку паром и уронила пустой чайник. Она успела заметить, что ее тень одной половиной взлетела на ограду, другой — вскочила на стену гаража. Она опять услышала звук, который только что приняла за стук крышки о землю. Оказывается, в кустарнике в поисках улиток разгуливал садовый дрозд.

Она смазала руку кремом от ожогов. Забравшись с ногами в кресло, закурила и выпила кофе. «При чем тут дрозд с крышкой? Это ветер треплет стирку на веревке», — догадалась Элен. Она прошла мимо белых акаций и, прижав к бедру пластиковый тазик, собрала в него белье.

Перед сном Элен, включив громкость на полную мощность, послушала красивую оперу на лазерном проигрывателе.

В третьем-четвертом часу ночи Элен проснулась в кресле, услышала, как с цементного завода мимо пустырей и холмиков удаляется, стуча на стыках, поезд весом сотни—тысячи тонн; высохшая летняя почва и разреженный предрассветный воздух колебались от его грохота.

По пути в спальню, на кухне Элен попила воды и окончательно сбросила с себя сон. Сообразила, что это не поезд, а шквалистый ветер прошелся над пригородным красным озером. Она набрала междугородный код, чтобы позвонить Акопу; послышались размеренные гудки, но трубку на том конце не брали.

Лежа в постели, Элен долго не могла уснуть. Утром ее разбудил скрежет экскаваторного ковша о камни в траншее, которую прокладывали для водопровода параллельно шоссе. Дымя сигаретой, с чашечкой кофе, она пошла в сад. Муравьи, словно бусинки, нанизанные на нитку, выстроились от холмика до дерева. Зажав в челюстях листья, они несли их, подняв высоко над головой; на солнце поблескивали их черные обсидиановые бока.

Элен сказала про себя: «Зачем они опустошают сад?» И диву давалась: «Зачем они сюда явились?»

Когда она причесывалась перед зеркалом, у нее возникла мысль об огне, и она сразу подумала о поджоге. Она не помнила, есть ли дома бензин, но что имеется керосин — знала точно.

На улице Элен повстречала порознь нескольких знакомых. Поговорили. Один из них проводил ее до светофора. Он спросил, не на почту ли она идет. Сказал, что утром уже туда ходил. По его сведениям, ночью из разных мест пришли три-четыре телеграммы, вдруг и оттуда есть что-нибудь? Элен подумала: «Маловероятно, чтобы от Акопа пришла телеграмма». Сказала, что у нее много разных дел, но при случае заглянет и на почту. До автобусной остановки знакомый шел рядом.

Ветеринарная аптека с магазином ядохимикатов располагалась возле художественной школы в фургоне от «Урала», водруженном на четыре камня. Близ магазина, у дерева Элен на квадратном метре, огороженном стальной сеткой, заметила лежащего на земле сонного козла.

— Что это он тут делает? — полюбопытствовала она.

Хозяин ветеринарной аптеки и магазина ядохимикатов ответил, что козла держат для оплодотворения коз, которых привозят из сел.

— Понятно, — сказала Элен.

— Искусственное осеменение коз импортной спермой влетает крестьянам в копеечку. Сейчас пошла мода на козий сыр и разведение коз.

Элен удивилась, с какой стати понадобилось подробно описывать ей затруднения крестьян, дешево ли, дорого ли обходится осеменение козы и популярность козьего сыра.

Так они поговорили некоторое время. Козел время от времени открывал глаза с красными, как ягодки кизила, зрачками и озирался по сторонам. И тут Элен заметила написанную зеленой гуашью картонную табличку, прикрепленную к ограде наподобие заплаты, которая предупреждала: «Не подходить — бодается».

Только теперь, прочитав предостережение, она обратила внимание, что у козла необычные, загнутые назад крутые рога.

Потом вышла сотрудница магазина — знакомая Элен — агроном.

Асмик сказала, что разрывать муравейник, поливать кипятком — никакого толку.

В это время вошел хозяин ветеринарной аптеки и магазина ядохимикатов. Элен взялась за ограждающую сетку.

Асмик продолжала:

— Когда смотришь, какие они мелкие, кажется, что и нора у них поблизости. На самом деле до нее не всегда возможно добраться...

Элен услышала доносящиеся изнутри голоса мужчины и женщины. Когда она стала прислушиваться, Асмик объяснила, что из-за слабоумия старшей дочери она не отдала ее в школу — сидит с утра до вечера перед телевизором, смотрит все каналы подряд.

— Приведешь дочку на работу — начинаются конфликты с хозяином.

Потом Асмик добавила:

— Вообще-то, найти их нору почти безнадежное дело, особенно если она под бетонным фундаментом здания или на десятиметровой глубине. Иногда они докапываются до грунтовых вод. Поливать их кипятком из чайника или раскапывать лопатой холмик — мартышкин труд.

Элен внимательно слушала ее. Асмик объясняла, что в таких случаях погибает лишь незначительная их часть, а в это время большинство находится в ста—ста пятидесяти метрах: «Они просочились под шоссейной дорогой около вашего дома, чтобы разорить соседский сад». Асмик рассказывала, что они роют замысловатые подземные ходы от дерева к дереву, из сада в сад — ни дать ни взять настоящие лабиринты.

В магазине Элен расплатилась с хозяином за ядохимикаты. Там же приметила ребенка с маленьким личиком, круглым, как пуговица.

Элен осталась стоять у ограды и через дверной проем смотрела в полумрак аптеки, где, вероятно, еще сидела слабоумная девочка и сосала большой палец.

На рынке она купила два килограмма помидоров и разговорилась с продавщицей.

Элен готовила салат, когда в коридоре зазвонил телефон. Еще не дойдя до аппарата, она знала, откуда звонок. Предчувствие ее не обмануло. Сколько она ни билась, конкретного ответа ей не давали, хотя все это касалось Акопа. Их просто невозможно было понять.

В это время приехала Асмик, постучалась в железные ворота. Элен вышла. Асмик соскочила с повозки. Вдвоем они отворили скрипучие ворота. Асмик ввела за уздечку лошадь, залезла в фургон, Элен захлопнула створки ворот. Асмик распрягла лошадь и отвела пастись вглубь сада, привязав уздечкой к дереву. Вернулась, зашла за фургон, разделась. Пришла Элен, облокотилась на колесо. Асмик нагнулась, чтобы натянуть рабочие шаровары. Элен заметила девичьи ягодицы. Асмик выпрямилась, откинула с лица локоны. В глаза бросилась белизна бедер, не уместившихся в красных, в обтяжку, трусиках. Элен по спицам колес взобралась на фургон с противоположной стороны. Опустила резиновый шланг, соединенный с краном, в двухсотлитровые бочки. Элен уселась на бетонный выступ. Из-под деревянного сидения фургона Асмик достала целлофановый пакет. Высыпала в бочки равные порции белого порошка, жалуясь при этом, что торговля ветеринарными лекарствами идет вяло. Словно заправский кашевар, она размешивала палкой зелье, заставляя поблескивающую воду в бочках постоянно крутиться.

Элен спросила:

— Зачем они опустошают сад? Чего им надо?

Асмик вылила в муравьиную нору восемьсот литров воды, отравленной неоцидолом. Зашла за следующую железную бочку, опустила в нее резиновый шланг и сказала, что им тоже нужно жизненное пространство. Они пришли ради места под солнцем. Перед тем как высосать из шланга воздух, она насухо протерла его ладонью. Элен велела ей быть поосторож-

ней. Асмик выпрямилась, повернулась к ней спиной, сплюнула на траву и заверила Элен, что не было такого, чтобы она проглотила хоть каплю этой воды. Сказала, что у резины неприятный привкус, а у шланга — желчный.

Потом она говорила Элен, что муравей такое же древнее существо, как человек. Кто знает, из какой точки земного шара они начали свое движение? За бесчисленное количество веков прошли сотни тысяч километров. Как знать, сколько переплыли океанов и пересекли пустынь, сколько поколений сгинуло по пути сюда?

Элен хотела ей что-то сказать, но она заходила то за бочки, то за фургон. В это время у лошади несколько раз заурчала селезенка.

Асмик подозвала Элен к холмику: зажав во рту белую, как рисинка, личинку, спасался бегством муравей. Сказала, еще чуть-чуть — и было бы поздно: через несколько дней народились бы новые муравьи, возникло бы новое семейство; в саду появился бы второй муравейник, потом третий. Тогда уже справиться с ними было бы труднее.

В глубине сада заржала лошадь. Асмик пошла туда и высвободила из поводьев лошадиную ногу. Когда она вернулась, Элен вспомнила, что хотела сказать про муравьев.

— Раз пожаловали, значит, им никакие законы не писаны.

Но где они были, когда еще до них тут появились вода и земля? Они были прахом, когда на горизонте поднималась великая гора. Их вообще не существовало, когда строился ее дом. Где они были, когда они с Акопом обрабатывали землю? В запредельных далях. А когда над садом впервые протянулись электрические провода? Где они были, когда мы стали обживать это место?

Элен увидела перед собой муравьев, которые выбрасывались из всех щелей и улепетывали с белыми коконами во рту. Последние из удиравших то ли под тяжестью личинок, то ли от яда теряли равновесие и начинали кружиться на месте. Элен смотрела, как падают муравьи; поток убегавших становился все тоньше, а потом сразу иссяк.

Предисловие и
перевод с армянского Арама Оганяна.

b

Старый новый Шекспир

В последнее время у русских мастеров литературного перевода появилось новое пристрастие — Уильям Шекспир. Не убоявшись ни Самуила Маршака, ни Михаила Лозинского, они предлагают свои версии текстов немеркнущего поэта. Вот как объясняет это один из переводчиков английского классика Андрей Олеар: «В XXI веке Шекспира нужно переводить принципиально по-новому, поэтический язык нашего времени должен быть абсолютно свободен от традиционных романтических клише XIX века». Во Владивостоке недавно вышла книга профессора Е. А. Первушиной об истории переводов сонетов Шекспира русскими поэтами, о качестве их работ. Значит, разговор об этом приспел. Может быть, интерес и бесстрашие переводчиков подогрела круглая дата: в 2009 году исполнилось 400 лет со времени первой публикации сонетов Великого Барда. Сегодня мы тоже отдаем дань славе гения, помещая переводы нескольких сонетов Уильяма Шекспира поэтов Андрея Олеара (Томск) и Михаила Юдовского (Германия). Оба, кстати, стали победителями Первого Лондонского международного турнира литературного перевода (2009).

Отдел поэзии

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Сонет 1

Все нивы ждут отборного зерна,
чтоб жизнь продолжить в каждом новом всходе
и зрелый колос, бросив семена,
опять замкнул круговорот в природе.

А ты влюблен лишь в зеркало (оно
обильно дарит только то, что видишь) —
хранишь без дела лучшее зерно
и, значит, сам себя же ненавидишь!

Ты чист и свеж, как яблоневый цвет
апрельский воздух дразнишь ароматом...
Весной не сеять для грядущих лет —
одновременно скупость и растрата.
Питают мир всегда плоды любви,
не проедай с могилою — свои.

Сонет 65

Все бренно в мире: и гранит, и медь,
земля и море... Красота ли, роза —
ни шанса не имеют уцелеть
перед дыханьем Времени-мороза.
И как весне, что всякий раз нова,
сберечь свой цвет волнующим и свежим,
коль даже сталь и скалы жернова
веков перетирают в пыль?.. Так где же
храниться самоцветам красоты,
в каких ларцах, а не в гробах столетий?
Кто Время с поднебесной высоты
лишил бы самых быстрых ног на свете?
Уверен, есть одна такая сила —
любовь. Когда добавлена в чернила.

Сонет 90

Оставь меня! И лучше — чтоб сейчас,
когда весь мир судить меня намерен.
Уж лучше пасть от твоего меча,
чем ждать в тебе последнюю потерю.
Но выжив, пусть разбитое мое
плетется сердце средь калек и нищих.
Не приходи смотреть, как воронье
в душе моей кружит над пепелищем.
Не дожидайся самых горьких дней,
когда я стану всеми ненавидим;
пусть камень твой среди других камней,
в меня летящих, будет мной не видим.
И все, что прежде мучило меня, —
ничто пред горем рокового дня.

Перевод с английского Андрея Олеара.

Сонет 35

Ты не горюй — мутятся родники,
Луну и солнце закрывают тучи.
Когда теряет роза лепестки,
Прекрасное становится колючим.
Мы, к сожаленью, все не без греха,
А я — вдвойне, придумав эти строки
И мнимою изящностью стиха
Прикрыв твои проступки и пороки.
Враждебной угождая стороне
Провинность на себя готов взвалить я.
Вершат любовь и ненависть во мне
Междоусобные кровопролитья.

Я так любимым вором дорожу,
Что потакаю молча грабежу.

Сонет 50

Безрадостен мой путь. Я еду в ночь
Бездонную и думаю, скорбя,
Что каждый шаг меня уносит прочь
Все далее и дале от тебя.
Плетется конь, неся мою тоску,
Как будто чувствует усталый зверь:
Покинувшему счастье седоку
Спешить, пожалуй, некуда теперь.
Я окровавил шпоры о него,
Но он лишь стонет, глядя на меня.
И этот стон для сердца моего
Острей, чем шпоры для боков коня.

Он ранит, как отточенная сталь —
Оставив радость, еду я в печаль.

Сонет 59

Но если новизны и вправду нет,
Как это нам внушают, не шутя,
И мы родить пытаемся на свет
Давным-давно рожденное дитя,
Тогда, играя с солнцем в чехарду,
Проделав пять столетий вспять времен,
Я, может быть, ту хронику найду,
Где был впервые ты запечатлен.
И я узнаю, как в былые дни
Цвело превозношенья ремесло,
Кто был искусней — мы или они,
Иль перемены не произошло.

Но верю — отзывался век былой
О меньшем чуде с большей похвалой.

Сонет 66

Измученная, смерть душа зовет.
Коль за заслуги платят нищетой,
И в роскоши ничтожество живет,
И верность оскорбляют клеветой,
И позолотой осквернили честь,
И добродетель развратил порок,
И мощи немощь прививает лесть,
И глупость мастерству дает урок,
И совершенство стонет от острот,
И прямота безумьем прослыла,
И зажимает власть искусству рот,
И сделалось добро холопом зла.

Измученный, я смерти был бы рад,
Но как один ты стерпишь этот ад?

Сонет 74

Но если смерть на вечные века
Меня в острог подземный поместит,
Мой рукописный памятник — строка —
Тебе потерю эту возместит.
Ты ей без сожаления внемли,
И ты поймешь неравность дележа.
Земле досталась только горсть земли.
Тебе — моя бессмертная душа.
Пусть черви мною кормятся гуртом,
Но для тебя я в главном не исчез.
И стоит ли печалится о том,
Что мог отнять любой головорез?

Пусть тешит смерть мой неприглядный тлен.
А я — с тобой. И тем благословен.

Сонет 147

Любовь подобна жару. Беспощадно
Она лелеет собственный недуг.
Ее влечет мучительно и жадно
К источнику невыносимых мук.
Мой разум-врач с заботой беспредельной
Ее лечил, но лишь себя извел.
Тогда он объявил болезнь смертельной
И бросил нас с больной на произвол.
Я обречен. Меня покинул разум.
Полна горячим бредом голова.
Безумием охваченные, разом
Распались мысли, разбрелись слова.

И мнишься всех светлей и благородней
Ты, что темнее мрака преисподней.

Перевод с английского Михаила Юдовского.



Ветер родной стороны...

Представляя читателю публицистические записки Леонида Чигрина, белоруса, живущего в Душанбе, не буду рассказывать о том, как он, уроженец Витебщины, мальчишка, родившийся в поселке Осинторф в 1942 году, попал в Среднюю Азию, какую там жизнь прожил. Об этом в его повествовании сказано немало. Многие страницы пережитого и затем записанного нашим земляком заставляют содрогнуться. Жизнь, сотканная из потерь и трагедий, бед и испытаний, вместе с тем кажется типичной иллюстрацией к трагическому XX веку на советском и постсоветском пространстве. Расскажу я о другом. О том примечательном, богатом на примеры созидательного характера опыте жизни, который через огромный труд и терпение усваивал Леонид Александрович Чигрин…

Профессиональный журналист, сценарист документального кино, он вырос в одного из ведущих русских писателей Таджикистана, Средней Азии. Когда заходит речь о русской литературе, об исторической прозе в бывших советских республиках Средней Азии, на память приходят имена Валентина Рыбина и Павла Карпова из Туркменистана, Мориса Симашко из Казахстана, Сергея Бородина из Узбекистана, еще двух-трех писателей. Развитие таланта Леонида Чигрина как исторического романиста пришлось на последнюю четверть века. Точнее — на 1980—2010 годы. «Великий Шелковый путь», «У подножия Тахти Сангина», «Поражение Цезаря», «Храм Соломона», «Мужество матери», «Озар из Уструшаны», «Хатлонский бастион» — эти и другие романы, исторические миниатюры, новеллы, рассказы сегодня могли бы составить многотомное, в 12—15 книг, собрание сочинений. Но времена… Да, причина невостребованности русского писателя в постсоветской Азии — еще и в том, что времена сегодня и в самом деле непростые.

Сами посудите. Книжные издательства работают в тех же коммерческих условиях, что и во всем мире. Значит, надежда на потребителя рядового, читателя, который не только понимает русский язык, но еще и любит на нем читать. Но ведь как раз в Душанбе, во всем Таджикистане все меньше и русских, и даже русскоговорящих. Леонид Чигрин таджикский язык знает, но пишет-то на русском… Многие произведения нашим земляком созданы в соавторстве с таджикским литератором Ато Хамдамом. В периодике опубликоваться сложно. Тонкий литературно-художественный журнал «Памир», известный еще с советских времен, выходит один раз в квартал. Но Леонид не унывает. Некоторые исторические романы все же удалось опубликовать отдельными книгами. В 2007 году на русском увидел свет «Озар из Уструшаны, или Меч Спартака». В центре повествования — судьба таджикского воина, оружейника Озара, находившегося в школе рабов, где содержали и Спартака. Р. Джованьоли, когда готовился писать роман «Спартак», делая выписки из разных источников, отдельно выделил информацию о таджикском оружейнике. Но, наверное, для романа о восстании рабов она показалась писателю малозначительной или, возможно, не вписывалась в общую канву повествования. Но тем не менее благодаря итальянскому писателю

сообщение о таджике — соратнике Спартака — дошло до наших дней. Первым на нее обратил внимание кинорежиссер Роланд Быков. Он собирался сделать цикл фильмов, посвященных древней таджикской истории. Но замыслы остались только замыслами. А сам факт заинтересовал Леонида Чигрина. Началась кропотливая работа в библиотеке. Довелось познакомиться с десятками книг, летописей, рассказывающих об Италии и Азии в те далекие времена… Кстати, в прошлом году роман об Озаре из Уструшаны был издан и на таджикском языке. Перевели и выпустили в свет книгу о легендарном оружейном мастере и в Италии.

А китайские книгоиздатели тем временем заинтересовались другим романом Леонида Чигрина и Ато Хамдама — «Великий Шелковый путь». Книга в переводе на китайский вышла большим тиражом, получила немало отзывов в китайской периодике. Япония, Турция, Канада, другие, далекие от Таджикистана (впрочем, и от Беларуси тоже), страны открывают для своего читателя исторического романиста Леонида Чигрина. Открывают историями из древней жизни Таджикистана. Возможно, и в Душанбе придет признание. Вот уже и диссертации по творчеству Л. Чигрина и А. Хамдама пишут. Первая из них защищена в Российско-Таджикском славянском университете Валентиной Дмитриевной Струковой — «Исторические жанры в современной русскоязычной литературе Таджикистана (в творчестве Ато Хамдама и Леонида Чигрина)».

Но что-то по-прежнему тревожит нашего земляка. Вот и записки «Зов родной земли» — своего рода проявление этой тревоги. Писатель живет памятью о своей родимой сторонке. И дело даже не в том, что он не представляет Осинторф своего младенчества. Какие-то особые генетические сигналы посылает ему через Небо и Космос сама Белорусская земля. Почитайте записки таджикского белоруса Леонида Чигрина, и вы поймете, что это так.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

ЛЕОНИД ЧИГРИН

Зов родной земли

Беларуси, далекой и близкой

«Много познал я горестей и бед, и многое казалось мне нестерпимым. Что может быть ужаснее утраты любимой, потери близких и родных, бедности и невозможности сказать кому-то о том, что наболело в сердце. Но только потеряв родину и очутившись в изгнании, понял я всю глубину человеческого несчастья. Гонит тебя ветер, как шар колючего перекати-поля, по просторам Вселенной, и не к кому прислониться сердцем, некому излить печаль души своей.

О, мой край! Сумею ли я добрести до тебя или станет моим последним пристанищем канава, поросшая чертополохом?

Камол Худжанди,
таджикский поэт XIV века
(из книги «Откровения изгнанника»).

Вспоминается случай из моего журналистского прошлого. Лет сорок назад жителей отдаленных горных селений Таджикистана вдруг взялись сгонять с насиженных мест и заставляли переселяться в долины. Таджикистану был нужен хлопок, это был его вклад в экономику Советского государства, а рабочих рук не хватало. Горцев везли на пустовавшие земли, где все нужно было начинать заново: строить жилища, обустраиваться, заводить подсобное хозяйство.

Тяжелый труд на хлопковых полях, уходящих к горизонту, резкая смена климата и жизненных условий приводили к массовой гибели горцев. Многие из них убегали и пробирались в горы, где прежние развалившиеся селения стали обиталищем сов, лис и шакалов. Таких беглецов вылавливали и снова возвращали в места переселения. И лишь в середине восьмидесятых годов произошло некое послабление. Официального разрешения возвращаться на земли предков не было, но не было и прежних строгостей, и горцы в одиночку и семьями потянулись туда, где жили когда-то их деды и прадеды.

Мы ехали в одно из таких дальних селений, прижавшихся к подножию высокого хребта. Узкая дорога вилась между скал, за машиной тянулся хвост пыли.

Впереди показалась фигура одинокого путника. Когда мы подъехали поближе, увидели, что это худой, изможденный старик, едва передвигающий ноги. Одет он был в выцветший халат, разношенные сапоги шаркали по земле, на плече висел хурджин, волосяной мешок с двумя отделениями. Мы остановили уазик, помогли старику сесть в кабину и поехали дальше. Разговорились. Старик жил и работал в совхозе знойной Яванской долины. Жена и дети умерли, он остался один и теперь брел в некогда оставленный кишлак.

«Бобо, как ты будешь жить? — спросили мы. — У тебя же нет сил что-либо построить, некому заботиться о тебе?»

«Э, сынки, — ответил он, поглаживая седую бороду. — Люди помогут, а потом, если ты не можешь сделать что-то полезное для родной земли, так хоть ляг в нее, сделай ее плодородной своим прахом».

Эти слова старика сохранились в моей памяти до сих пор.

Когда-то, в студенческие годы, изучая литературу Индии, я прочитал об удивительном дереве — баньяне, из семейства тутовых. Его семена попадают на ствол другого дерева и приживаются на нем. Корни баньяна, столбовидные, не достают до земли. Они простираются во все стороны и вбирают из воздуха влагу и пыль, заменяющую ему почву.

Ныне, вспоминая это дерево, я думаю, что всякий человек, оказавшийся вне родины, напоминает это гигантское растение. Он может достичь благополучия, занимать видное положение, но все равно его корни висят в воздухе, и он вынужден питаться пылью, одной из немногих щедрот чужбины.

Мой дед, Федот Гнатович, родился и жил в небольшом местечке близ Слонима. Выяснить какие-либо подробности его жизни уже невозможно, он умер, когда мне было одиннадцать лет. Бабушки тоже давно нет на свете, и приходится довольствоваться теми отрывочными сведениями, которые остались в памяти с детских лет. Дед в последние годы жизни работал сторожем в пионерском лагере, расположенном в живописном ущелье, неподалеку от поселка Адрасман, на севере Таджикистана. Он находился там зимой и летом. Я приносил ему еду, оставался в лагере ночевать, слушал его разговоры с другими работниками лагеря, и некоторые подробности его биографии памятны мне по сию пору.

Дед был довольно рослым плечистым мужчиной, хотя время высушило его и согнуло. Был он человеком беспокойного нрава, непоседливым, к постоянному труду не имел никакой охоты. Знал грамоту, хорошо и складно говорил, любил порассуждать. Чтобы отбить у него охоту к перемене мест, его рано женили. Бабушка жила в том же селении, что и дед, ее фамилия была — Сулимчик. И это меня очень смешило в детстве.

Однако семья не остепенила моего деда. Он часто оставлял ее и месяцами пропадал в разных районах Белоруссии, отыскивая работу, где не нужно было бы прилагать много сил и за которую бы хорошо платили. Но, должно быть, такое занятие не отыскивалось, потому что он нигде не задерживался надолго.

У деда была странная любовь к цыганам. Может быть, у него в роду был кто-то из этого экзотического племени. Поколесив по Белоруссии, он прибился к цыганскому табору и больше не расставался с ним на протяжении почти двадцати лет. Изредка наезжал домой, нимало не заботясь о молодой жене, а потом опять исчезал надолго. Занимался в таборе исконно цыганскими делами: покупал и продавал лошадей, знал кузнечное ремесло, барышничал, не брезговал и тем, что само прилипало к рукам, а потом перепродавал добытое.

С цыганами он кочевал по Румынии, Молдавии, Украине, затем табор перебрался в Россию. Если где-то цыгане обосновывались надолго, дед вызывал туда молодую жену. При всей привязанности к смуглолицым выходцам из Индии, на цыганке он не женился и сохранял привязанность к своей Евдокии. Бабушка приезжала к нему, но их семейная жизнь длилась недолго. Табор снимался с места, и дед исчезал вместе с ним. Потому старшая дочь, ставшая моей приемной матерью, родилась в Рязани, вторая дочь и сын — в Сибири, остальные, еще один сын и младшая дочь Мария, появились на свет в Белоруссии, когда бабушке надоело гоняться за беспутным мужем. Она махнула рукой и вернулась в родное селение. Бабушка была удивительно стойкой и жизнеспособной женщиной. Имея пятерых детей, она растила их одна, не чураясь любой работы. Была поденщицей, прачкой, уборщицей, вместе со своими нянчила и чужих детей, лишь бы прокормиться самой и поднять на ноги своих отпрысков. Старшая дочь, Анна, уже в четырнадцать лет трудилась наравне со взрослыми, помогая матери, и тоже занималась чем придется, была нянькой, домработницей, рассыльной. И остальные дети, как только обучались что-то делать, начи-

нали самостоятельно добывать себе кусок хлеба, поскольку на помощь отца рассчитывать не приходилось.

Цыганская эпопея моего деда и трудовая его семьи длилась с 1912-го по 1930 год, пока, наконец, бабушка не перебралась из родного селения в Осинторф, где велась разработка торфа, нужны были рабочие руки и можно было получать какие-никакие деньги. Дед тогда исчез окончательно и появился перед самой войной, о чем будет разговор дальше.

Неизвестно почему, но цыгане звали деда «Кураксин», то ли эта фамилия походила на какое-то цыганское слово, то ли дед вместе со своими сотаборниками совершил какие-либо противоправные действия и ему нужно было исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов, но свою родную фамилию Гнатович он забыл раз и навсегда. Как и у всех цыган, документов у него не было, а когда Советская власть решила положить конец свободной жизни нетрудовых элементов и обязать их заниматься общественно полезным трудом, то дед, получая паспорт, назвался Кураксиным и под этой фамилией жил до последних дней своего бытия. Кураксиными стали и все его дети.

В Сибири табор кочевал недолго, она показалась ему неуютным местом, и цыгане вместе с дедом перебрались в Среднюю Азию. Тут простора для исконных занятий было больше, и милиция не столь докучала. В двадцатые годы в Средней Азии было много переселенцев из различных регионов страны. «Ташкент — город хлебный» звучало в те годы по всей России. В Узбекистане табор подрядился заготавливать сухофрукты и поставлять их в города Сибири. Непонятно, как тамошние власти могли пойти на такую сделку с цыганами, ведь их «деловые качества» были известны повсеместно, а может, поверили потому, что дед не был цыганом? Во всяком случае, он, как человек грамотный и единственный в таборе имеющий документы, подписал договор с Ферганской заготконторой под фамилией Кураксин и получил солидный аванс.

Нужно ли говорить, что фрукты так и остались зреть на ветках деревьев, а табор снялся с места и покинул доверчивую Фергану. Но время уже было иным, и новая власть не любила, когда ее не принимают всерьез. Прошли договорные сроки, а никаких сухофруктов не было заготовлено. Табор быстро отыскали в Казахстане. Денег, конечно, уже не было, деда, как основного подрядчика, судили в Семипалатинске и дали ему десять лет с отбыванием срока тут же, в казахстанском лагере.

Шел 1930 год. В Казлаге работы было предостаточно, мой дед впервые в жизни стал вести оседлый образ жизни и занялся общественно полезным трудом. Когда в Осинторф пришла весть, что главу семейства осудили на десять лет за мошенничество и растрату казенных денег, его дети были уже взрослыми. Старшей дочери, Анне, шел шестнадцатый год. Она сказала матери: «Ну, может, теперь отец поумнеет?» На что бабушка коротко ответила: «Дураку никакая наука не впрок».

Жизнь в Осинторфе была скучной и не баловала тамошних жителей разнообразием. Молодости же требуются яркие впечатления и частая смена событий. И потому, когда старшая дочь Анна услышала, что Рязанский камвольный комбинат приглашает работниц из всех республик страны, то долго не раздумывала, тем более что Рязань была ее родным городом. И она, посоветовавшись с матерью, уехала из Осинторфа.

В Рязани в цеху она проработала два года. За это время вступила в комсомол и стала активисткой. Как и все тогдашние комсомольцы, носила красную косынку, кожаную куртку, участвовала во всех молодежных начинаниях. И когда комсомол бросил призыв — активистам ехать в Среднюю Азию и там организовать ячейки Коммунистического союза молодежи, она откликнулась на призыв одной из первых.

Эшелон с молодыми энтузиастами отправился в путь. Анну Кураксину вместе с десятью другими комсомольцами распределили в Таджикистан, а там направили в город Канибадам, на севере республики.

Время было сложным. Борьба с басмачами вроде бы завершилась, но сторонников прежнего байского феодального режима было предостаточно, и угрозы комсомольцам подкреплялись выстрелами по ночам по их жилищам.

Анне Кураксиной подбрасывали записки, в которых советовали убраться из Канибадама, иначе плохо будет. Но это лишь разжигало ее упорство, и покидать город она не собиралась.

Итак, все герои нашего повествования распределились по своим местам. Глава семейства, Федот Гнатович, ставший Кураксиным, отбывал срок в Казлаге, его жена с тремя детьми находилась в Белоруссии, в Осинторфе, где выбивалась из сил, чтобы хоть как-то содержать семью, а старшая дочь Анна в далеком таджикском городе противостояла, как тогда писали в газетах, «байской реакции».

Моей будущей матери, носившей библейское имя Мария, исполнилось к тому времени шесть лет. Что же касается отца, или второй стороны, о которой пришло время поговорить, то тут тоже было не все просто.

Мой отец, Александр Чигрин, родился в Белоруссии, в Рогачевском районе. Жила его семья трудно, и из Белоруссии Чигрины всей семьей перебрались на Украину и осели на станции Знаменка. Кроме моего отца была еще дочь Надежда. Но ни ее, ни деда с бабушкой по отцовской линии я никогда не видел, что с ними сталось, тоже не знаю, и тому есть объяснение.

На Украине Чигрины сумели встать на ноги. Построили дом, завели двух лошадей, коров, овец, имели земельный надел, просторный сад. Выращивали пшеницу и в страдную пору нанимали работников. Считались крепкими хозяевами, что в ту пору было не лучшей характеристикой. В 1927 году их раскулачили и выслали в Сибирь. По Казахстану везли на поезде, а уже в Сибири гнали пешей колонной.

По пути в Абакан Александр бежал. Конвойные по нему стреляли, но не попали, он сумел добраться до перелеска и скрылся в нем. Но пребывание на свободе было недолгим. Стояла поздняя осень, и если днем еще как-то можно было перетерпеть начинающуюся стужу, то ночью было просто невмоготу. Пришлось выбираться из леса и отыскивать ближайшее селение, надеясь на помощь сердобольных людей. Селение отыскал, а вот помощь получил не ту, на которую рассчитывал. Поимка беглых для сибиряков была хорошей статьей дохода. За каждого задержанного этапника им платили деньги. И потому, когда Александр постучал в дощатые ворота, прислушиваясь к лаю остервенелой собаки, его встретили радушно, дали поесть, опасаясь как бы не помер с голодухи, а потом втолкнули в хлев и заперли там вместе со свиньями.

Прибывшие особисты подвергли его тщательному допросу, подбадривая пинками и зуботычинами. Отпираться было бесполезно, и Александр рассказал без утайки — кто он и как оказался в этих местах. Дальнейшие события развивались без промедления. Его судила «тройка», обошлись без прокурора и адвоката и дали десять лет лагерей. Статья была политическая, 58-я, влепили контрреволюционную деятельность, поскольку ничего другого придумать не могли. Ближайшим лагерем оказался тот самый Казлаг. Парня привезли туда и влили в разношерстное месиво политических и уголовников.

Казлаг был как раз тем самым лагерем, в котором много позже отбывал срок писатель Александр Солженицын и который он описал в своем «Одном дне Ивана Денисовича».

Тогда, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, лагерь только строился. Зеки жили в землянках, похожих на звериные норы, и работали внутри лагеря, обустраивая его.

Первая зима молодому белорусу показалась нестерпимой. Лагерь располагался в степи, на открытом месте и продувался всеми ветрами. Морозы доходили до сорока градусов. Кормили баландой из картофельных очистков и брюквы, хлеб выдавали кусочками, мерзлый, он походил на комья снега. О сахаре и масле даже не вспоминали. Отогревались по ночам, в землянках складывали очаги из

камней и топили «по-черному», без вытяжных труб. Дым выходил в приоткрытые двери.

Несмотря на суровую зиму, работали от темна и до темна. Строили бараки, служебные помещения, прокладывали подъездные пути.

Впоследствии Александр Чигрин вспоминал первую лагерную зиму как самый жуткий период в своей жизни. Наступившее тепло принесло изменение в его жизнь. В лагере было свое небольшое автохозяйство: три видавших виды грузовика — «полуторки» и небольшая ремонтная база, помещавшаяся под навесом, огороженном досками.

Александр всегда тяготел к технике. И в лагере, при всяком удобном случае, приходил к автомобилям, рассматривал их, случалось, и помогал шоферам поменять колеса, починить кузов, покрасить облупившуюся кабину.

Лагерной автобазой руководил инженер Николай Марьяшев, до отсидки работавший на заводе Лихачева в Москве. Он приметил парня, подозвал к себе, разговорились. Марьяшев тоже был белорусом, уроженцем Минска. Отбывал срок по 58-й статье, за вредительство, которое выражалось в том, что потребовал от дирекции завода оплачивать сверхурочный труд рабочих по полной ставке, в противном случае пригрозил организовать на заводе забастовку.

— Что, земляк, интересуешься машинами? — спросил инженер.

Александр согласно кивнул.

— Хочешь, я попрошу, чтобы тебя перевели рабочим в гараж? Пока покрутишься на подсобных делах, а там поучу тебя ремонтировать технику. Шоферить научишься.

Нужно ли говорить, с какой радостью воспринял Александр Чигрин это предложение?

Через неделю Александр уже трудился в гараже. Здесь, что ни говори, было легче. Сперва Александр трудился на подхвате: что-то принести, что-то подержать, затем стал помогать смазчикам, а дальше дело пошло по накатанной колее. Марьяшев, видя интерес парня к автомобилям, стал объяснять, что к чему, поручать более сложные дела.

Умение водить машину пришло вроде бы само собой. Нужно было загнать машину в гараж или выгнать оттуда, поставить ее под навес после ремонта. И настал день, когда один из шоферов заболел и Марьяшев распорядился: «Давай, Чигрин, садись за руль, поедешь в Кустанай за продуктами».

Первая поездка прошла успешно, за ней последовали вторая, третья. Теперь отсидка в лагере была не такой томительной, наладилось и с питанием. Когда ехали порожняком, то казахи часто просили то юрту перебросить подальше в степь, то перевезти с десяток баранов, то еще какая оказия возникала. Конвойные не возражали, за машину степняки платили деньгами или дарили барана, а то и расплачивались вяленым мясом, баурсаками, мучными катышками, жаренными в масле, или еще чем. Солдаты забирали все это себе, но и шоферу кое-что перепадало.

Так миновало три года. Прибыл очередной этап, и в нем был еще один белорус — Федот Кураксин. Как вспоминал отец, белорусов в лагере было человек десять. Работали они в разных бригадах, но старались держаться общиной. Когда позволяло время, собирались вместе. Если кому приходила посылка, то делили ее на всех. Резали присланное на кусочки, один отворачивался, и его спрашивали: это кому? Он называл фамилии одну за другой. Чтобы, значит, без обиды было, кому что достанется. В общий котел шло и то, что доставлял Александр из поездок.

Бригада, в которую попал Федот Кураксин, занималась строительством бараков. Возраст Федота клонился к сорока годам, но мужик он был крепкий, уверенно держал в руках топор и рубанок. Все бы хорошо, но где-то через год на него сверху упало бревно и перебило ключицу. Подлечили в лагерном лазарете, но что-то, видно, не то сделали, левая рука утратила прежнюю подвижность и стала сохнуть. Федота перевели в контору помощником нормировщика, почерк у него был четкий и красивый, и был он довольно грамотным. Так из работяг он

сделался «лагерным придурком», как называли зеки тех, кто занимался непыльными конторскими делами. Федот выписывал наряды шоферам, от него зависело — куда послать машину, то ли муку и хлеб привезти, или другую какую снедь, крошки от которой прилипали к шоферским рукам, или возить песок и цемент, от которых ни себе, ни другим никакого прибытка. Естественно, что своему молодому земляку, Александру Чигрину, он писал поездки повыгоднее, тот ему привозил за это кое-что из продуктов, а то и денег подбрасывал. Так они подружились, хотя были разного возраста.

Досрочное освобождение политическим не светило. Уголовники уходили на волю, когда заканчивался срок, а тем, кто сидел по пятьдесят восьмой статье, после отбытия десятки давали еще одну решением ОСО, особого совещания. Так Марьяшев, когда отбыл наказание, получил очередные десять лет за саботаж внутри лагеря. И хотя он был человеком стойким, но этой несправедливости пережить не смог. Через два года умер от сердечной недостаточности.

Должность завгара освободилась, Александра Чигрина назначили возглавлять лагерное автохозяйство. И хотя это влекло за собой определенные льготы и выгоды, новой должности он был не очень рад.

Теперь ездить самому приходилось меньше, нужно было и ремонт техники обеспечивать, и следить за порядком во вверенном хозяйстве, с завгара за это строго спрашивали. Но зато теперь у Александра была отдельная каморка, которая была и рабочим помещением и в которой можно было переночевать, если случалась какая запарка.

Бывалые зеки вспоминали, что самое трудное в тюрьмах и лагерях — это невозможность хоть изредка побыть одному. Все время находишься на виду у сотен солагерников, ни расслабиться, ни отвлечься. У Александра Чигрина такая возможность появилась, и лагерная обстановка с того дня меньше давила на психику. Часто заходил к нему теперь и Федот Кураксин, под видом оформления нарядов. Просто посидеть, отвести душу в откровенном разговоре. Дружба между земляками крепла день ото дня.

Александр Чигрин отбыл свою десятку, как говорится, от звонка до звонка. Но покинуть Казахстан не мог, на три года ему определили «минус», ограничение в правах и переездах. Запрещалось проживание в крупных городах страны, более того, отбывать это время он должен был в Кокчетавской области того же Казахстана. Шел тридцать седьмой год. Вести о массовых репрессиях, громких процессах над «врагами народа», одни фамилии которых вызывали изумление, доходили и до Казлага. Искушенные в политике зеки, сами до недавнего времени бывшие на виду, не советовали молодому белорусу ехать куда-либо, в ту же Кокчетавскую область. «Ты сидел за политику, — говорили ему. — Теперь с тебя глаз спускать не будут. Случись что, снова загремишь за решетку, и теперь уже по полной. Лучше оставайся тут, в лагере». И Александр остался. Исполнял он ту же должность завгара, но уже как вольнонаемный работник.

Федота Кураксина обрадовало, что его друг остался в лагере еще на три года. Как раз к тому времени заканчивался срок отсидки самого Федота. «А там что-нибудь придумаем, — утешал он Александра. — Махнем в Белоруссию, Осинторф — не столица, там нам жить не запретят. Среди людей будем, и семью мою увидишь».

Сам Федот Кураксин изредка получал весточки от жены и от старшей дочери из таджикского города Канибадама. Анна работала в банке секретарем-машинисткой и по-прежнему была комсомольской активисткой. Басмачество, сообщала она, подавлено, но бандиты пошаливают, полного спокойствия нет. Хотя новая власть уверенно закрепляется на Востоке.

Вообще-то, кого только в лагере не было, со всей Средней Азии сюда этапников присылали, да и из России той же. Были и цыгане. С ними Федот Кураксин общался часто. Александр с удивлением слушал, как бойко его старший друг болтает по-цыгански, при этом глаза его оживленно блестят и сам он словно молодеет, преображается на глазах.

Сам Александр ни от кого никаких вестей не получал. Семью его отправили в Сибирь, и неизвестно, остались ли они в живых за эти годы.

Годы тянулись журавлиным клином.

Александр Чигрин уже не был тем зеленым юнцом, каким прибыл когда-то в Казлаг. Лагерную жизнь он знал досконально, изучил все ходы и выходы, да и был теперь вольнонаемным начальником, пусть не большим, но все же, не рядовым зеком-работягой. Под его началом уже трудилось тридцать человек, а не пятеро, как когда-то. Да и выглядел по-иному, возмужал, повзрослел, дело ведь шло к тридцати годам. Правда, по-прежнему оставался сухощавым и жилистым. С годами все больше крепло желание вернуться в Белоруссию, родина — единственное, что у него осталось, хоть и жил там, как говорится, всего ничего. Но верилось, что родная земля примет, укроет и обогреет, по-другому просто быть не может.

Узники, прошедшие через мясорубку ГУЛАГа, вспоминали, что заключенные в лагерях, как правило, делились на две категории. Первые — те, кому лагерная жизнь была хуже горькой редьки. Они с трудом переживали каждый день отсидки и не могли дождаться конца срока. Они были брюзгливыми, постоянно донимали всех жалобами, доходили на глазах и редко когда доживали до свободы.

Вторая же категория походила на кремень. Сколько ни било и ни ломало их лагерное бытие, они не утрачивали силы духа. Жилистые, выносливые, они не боялись никакого труда, работали, экономно расходуя силы, и воспринимали годы отсидки как испытание на прочность. Умели приспосабливаться к тяжелейшим условиям, и даже отсидев один срок и получив другой, не впадали в отчаяние, а стискивали зубы и верили, что когда-нибудь будет и на их улице праздник.

Александр Чигрин принадлежал ко второй категории зеков. Свой срок он отбыл полностью, но ехать было пока некуда и попадать под репрессии конца тридцатых годов особого желания не было. Оставшись в лагере, он не проклинал судьбу, а старался находить в лагерных тяготах и светлые стороны. В заключении он стал хорошим механиком, как заправский шофер водил автомобиль, а, допустим, не бежал бы он с этапа и добрался до Сибирской глубинки, кем бы он там стал, еще не известно. Испытанное да пережитое всегда лучше неясного предстоящего.

Прошли и эти три года. Федот Кураксин освободился, но поскольку «мотал срок» по уголовной статье, то особых ограничений ему не было.

«Ну что, едем на родину?» — спросил он молодого приятеля.

Тот утвердительно кивнул.

В Осинторф приехали осенью. Моросил дождь, голые безлиственные деревья стояли почерневшие. Холодно, слякотно, сыро. И сам поселок тоже чем-то напоминал лагерь: приземистые строения с подслеповатыми окнами, низкие дымы из труб и нависающее над поселком серое небо с черными подпалинами туч. Но все искупало чувство свободы, только теперь бывшие зеки ощутили его в полной мере.

Семья встретила Федота Кураксина настороженно. И в прежние годы работник он был никакой, а теперь, с сохнущей рукой и неважным здоровьем, вообще может потерять интерес к труду и станет отсиживаться дома. И спутник его не внушал доверия: собой не очень видный, больше молчит, одно хорошо — молодой. В семье кроме матери было четверо детей, две дочери — Александра, ей уже было за двадцать лет, и шестнадцатилетняя Мария. Сыновья — Владимир, которому исполнилось восемнадцать лет, и семилетний Виктор. Александры, правда, не было, училась в Москве в библиотечном техникуме.

Федот Кураксин, и верно, работать не спешил, ходил по поселку, приглядывался, искал себе занятие полегче. И нашел, нанялся в школу-семилетку сторожем и одновременно помощником завхоза. Александр Чигрин и дня не сидел сложа руки. Поскольку торф уже не добывали, дождливая погода превратила разработки в топь, то сперва работал грузчиком, взваливал на телеги торфяные брикеты,

а потом устроился в какую-то контору шофером. И без того редко бывал в доме Кураксиных, а тут и вообще стал появляться раз в неделю, а то и в две. Но если приезжал, то привозил всем подарки, пусть немудреные, но внимание значило больше для семейства, не избалованного лаской. Владимир и Виктор относились к Александру как к старшему брату, а мать перестала коситься на него, признала за своего и даже стирала ему одежду и чинила ее.

Для Марии Александр выбирал подарки получше, то платок привезет, то отрез на платье. Нравилась ему скромная застенчивая девушка. Она была невысокая, полная, с круглым лицом и густыми каштановыми волосами. Александру она пришлась по душе. Отличал он Марию, но особых надежд не питал, все-таки был старше ее на целых пятнадцать лет, почти вдвое.

Начался 1941 год. В газетах писалось о том, что фашистская Германия проявляет агрессивные устремления, но в целом тон публикаций был благодушным. Уверяли, что война Советскому Союзу не грозит. У него с немцами подписаны договоры, гарантирующие безопасность.

Скучно и тесно было Александру Чигрину в Осинторфе. Ему уже исполнилось тридцать лет, а что он видел: Казлаг, безлюдные степи, черные шеренги заключенных.

— Может, в Сибирь съездить? — поделился он замыслом с Евдокией Кураксиной.

Та удивленно посмотрела на него.

— Там-то чего забыл?

— Может, родных отыщу, и потом, я уже не мальчик, пора семьей обзаводиться. Тут невест раз-два и обчелся.

Евдокия села на лавку у печи, сложила на коленях натруженные руки.

— А мы тебе, что же, уже не родные?

Александр улыбнулся.

— Вы-то мне да, а вот я вам не очень.

Мать семейства не приняла его шутку.

— Наш-то отец полсвета обрыскал, не заметил, как дети выросли, и ты с него пример взять хочешь. Не дело это, дерево на одном месте корни пускает. А что касается семьи, я-то вижу, как ты на Маньку посматриваешь. Вот и бери ее в жены.

Александр оторопел от услышанного. Получается, что его сватают, вроде как девицу какую. И хотя в глубине души обрадовался, даже испарина на лбу выступила, все же попытался отговориться.

— Мария мне по душе, признаюсь, только староват я для нее.

Евдокия махнула рукой на него.

— А мужик и должен быть старше. С молодого-то какой прок? Ветер в голове, того и гляди загуляет. А ты и работать умеешь, и сам серьезный, да еще и непьющий к тому же.

Эти доводы перевесили все сомнения жениха. Оставалось последнее.

— Неплохо бы и саму Марию спросить, вдруг кто другой ей по нраву.

— А и спросим. Маня, поди сюда.

Мария слышала разговор матери с Александром, вышла покрасневшая, стояла, опустив голову, и теребила руками передник.

Мать ласково посмотрела на нее.

— Вот Александр согласен взять тебя в жены, что ты на это скажешь?

Мария молчала и еще ниже наклонила голову.

Мать потеряла терпение.

— Ну, чего стоишь, как гвоздями прибитая? О таком муже только мечтать можно. Своих кровей, знает, почем фунт лиха, да ты за ним как за каменной стеной будешь. Долго молчать собираешься?

Мария не была избалована мужским вниманием. Александр ей нравился: внимательный, обходительный, слова дурного она от него не слышала. В том

захолустье, где они живут, вряд ли сыщется жених получше. Скажешь «нет» и останешься вековухой. А что старше, так и отец годами старше матери, пусть не настолько, но все же.

И Мария проговорила:

— Я согласна.

Евдокия облегченно вздохнула.

— Слава богу, сладилось.

Помимо всех других соображений было и еще одно, затаенное. На мужа надежды никакой, глядишь, опять подастся к своим цыганам, а хозяин в доме нужен. Как-никак четверо детей. Александра, может, кого в Москве найдет, да и Мария пристроится, все легче. Чигрин в мужскую зрелость входит, работать умеет, добытое в дом приносить будет. А так, действительно, уедет в Сибирь да и останется там. Человек он свободный, ни от кого не зависит.

Война разразилась неожиданно. Александра сразу вызвали в военкомат. Вывозил он на грузовике важные документы, потом доставлял к поездам тех, кого надлежало эвакуировать, а своя семья так и осталась в Осинторфе. И хотя болела душа за нее, но вырваться не мог, работал сутками. Так продолжалось три месяца, лишь в сентябре смог пробыть три дня дома. Забирали его в армию и дали небольшую отсрочку, чтобы уладить семейные дела.

В Осинторфе узнал, что Федот Кураксин куда-то пропал. По два-три дня, бывало, не являлся домой, так к этому привыкли и не удивлялись, а тут нет уже два месяца. Не было его и в школе; погадали, где бы мог быть, да и перестали.

Александра Чигрина в воинском эшелоне отправили на фронт. Весточки от него приходили редко, а когда немцы заняли Белоруссию, и вообще перестали приходить. Где он воевал, я толком не знаю. Когда он вернулся с воинской службы, я еще был маленький, а потом он работал сутками, да и о чем взрослом тогда он мог со мною разговаривать. Помню только один эпизод. Делился он воспоминаниями с одним из товарищей по работе, зашедшим к нам в гости. Рассказывал, что на войне был шофером. Довелось ему возить грузы в осажденный Ленинград, зимой, по замерзшему Ладожскому озеру, «Дороге жизни».

Александру Чигрину успели сообщить на фронт о том, что Мария беременная, и связь прервалась на целых три года, до освобождения Белоруссии от фашистов.

Старший сын Кураксиных, Владимир, ушел в партизаны, ему был девятнадцатый год. Судьба его так и осталась неизвестной, позднее сообщили, что пропал без вести. Уже потом партизаны говорили, что вроде бы его группа пыталась взорвать немецкий эшелон с техникой, но попала в «клещи». Приняла бой, и все до одного погибли.

Среднюю дочь Александру из Москвы эвакуировали в Азию. Она успела закончить библиотечный техникум, приехала в Канибадам к старшей сестре и там жила вместе с ней. Устроилась работать в городскую библиотеку.

Евдокия, когда узнала о том, что Мария беременная, только покачала головой и поджала губы. Не ко времени, что и говорить, но и поделать ничего нельзя было. Оставалось надеяться, что все как-нибудь устроится.

Такова предыстория моей биографии. В ней много случайностей, и когда обдумываешь все эпизоды жизни семьи Кураксиных, то поневоле качаешь головой: и фамилия не своя, и в похождениях Федота Гнатовича столько предосудительного, что при всем желании героем повествования его не назовешь. Но, как говорится, родню не выбирают.

Родился я 29 мая 1942 года. Война уже пылала жарким костром, и в Белоруссии хозяйничали фашисты. Наверное, не было ни одной семьи на моей родине, по которой бы не прошелся огненный каток. Белорусы пострадали от войны как ни один народ, но можно с гордостью сказать, что не сломались, не утратили своей самобытности, сумели подняться на ноги и возродиться к жизни. Пишу об этом с большим удовлетворением.

Жили мы в военную страду тяжело. Бабушка говорила, что фашистам тоже был нужен торф, и они заставляли тех, кто хоть мало-мальски был способен трудиться, добывать его, прессовать в брикеты и вывозить. Вполне понятно, что все делалось без оплаты, под угрозой применения оружия. Помогал лес, в котором собирали грибы и ягоды. Ну, наверное, что-то и добывали, но как и что именно, этого я не знаю. Слишком был мал, и память моя еще не пробудилась в ту пору.

В сентябре этого же года Марию вместе с другими молодыми женщинами угнали в Германию. Не было принято во внимание, что у нее грудной ребенок. Все заботы обо мне взяла на себя бабушка. Из Германии Мария прислала лишь одно письмо, в котором нелестно отзывалась о немцах, и фотокарточку. На ней она отснята в фас и профиль, а внизу номер, присвоенный ей как рабочей единице.

Бабушка рассказывала, как однажды в хибарку, где мы проживали, вошли фашисты — один офицер и два солдата. Солдаты встали у входа с автоматами на изготовку, а офицер прошел в комнату. Он был средних лет, поджарый, с блеклыми голубыми глазами. Осмотрел комнату, спросил отрывисто:

— Партизан?

— Какой партизан? — отозвалась бабушка. — Вон партизан, лежит в ящике.

Колыбелью мне служил фанерный ящик из-под продуктов.

Офицер подошел к ящику, посмотрел на меня, потом наклонился и взял на руки. И тут случилось неожиданное: я обмочил ему шинель.

Бабушка обмерла. Она ожидала, что фашист озлится и бросит меня на пол. Но он засмеялся и положил меня обратно в ящик. Бабушка подала ему тряпку, он вытер шинель и сказал: «Гут партизан».

Потом пошел к двери и кивком головы позвал за собой солдат.

Этот случай можно истолковать как мой небольшой вклад в борьбу с фашистской Германией. Бабушке же было не до шуток. Она опустилась на скамейку и долго не могла успокоиться, дрожали руки и колотилось сердце.

И еще один случай из моего раннего детства. Бабушка каждый день озабочивалась одним — чем накормить меня и своего сына Виктора, которому было уже десять лет. И как-то раз к ней пришел литовец, уже в годах, по-русски говорил плохо. Объяснил, что живет на хуторе, в достатке, но детей у него нет. Предложил купить меня, давал деньги и продукты. Бабушка отказалась, сказала, что детьми не торгует. Литовец попросил не торопиться с ответом, обещал зайти позднее. Позднее опять получил отказ. Потом, когда наладилась переписка, бабушка послала письмо в Канибадам, в котором описала этот курьезный случай. Средняя дочь, Александра, не показала письмо старшей сестре, а сама упрекнула мать в недальновидности. Надо, мол, было продать малыша, ему все равно, где расти, зато сама с деньгами и продуктами какое-то время жила бы по-человечески. Бабушка обиделась на дочь и до самой смерти не могла простить ей этого совета. Я был у нее первый и любимый внук, и она целых четыре года заменяла мне мать, да и позднее заботилась как могла.

Я иногда думаю, как случай определяет человеческую судьбу. А вот так, возьми да и продай она меня тому литовцу, и потекла бы моя жизнь по иному руслу. И был бы я не белорусом, живущим за тысячи километров от родных краев, а литовцем с хуторским хозяйством.

Война подходила к концу. Белоруссию освободили от фашистов, жить стало легче и свободнее. Стали приходить письма от Александра Чигрина. На фронте он был ранен и контужен, по-прежнему военный шофер. Дошел, а вернее, доехал до Венгрии, ожидает демобилизации, все-таки, что ни говори, а возраст клонится уже к четвертому десятку. Но в апреле 1945 года сообщил, что о возвращении домой пока приходится забыть, их часть перебрасывают в Иран, зачем и почему, не знает, и сколько пробудет там, тоже неизвестно.

В ноябре 1945 года Мария возвратилась из Германии. Сильно похудела, кашляла кровью. У нее развивался туберкулез. Рассказала, что работала на военном

заводе треста «Фарбениндустри». Делали взрывчатку. Помещение тесное, никакой вентиляции, рабочий день длился по четырнадцать часов. От динамитной пыли началась чахотка. «Мне еще повезло, — сказала она, — до дому добралась. Другие там и поумирали».

Врачи советовали — срочно уехать в Среднюю Азию, влажный и холодный климат Белоруссии не для туберкулезников. Решили ехать в Канибадам, это Азия с ее жарким и сухим климатом, короткой зимой и обилием фруктов, и потом, там две дочери, помогут устроиться.

С этого времени начинаются мои воспоминания. Уезжали, когда уже выпал снег. Меня везли в корыте, санок не было, сидел, закутанный, среди вещей. Было холодно, скрипел снег, и все вокруг было темно-синим. Наверное, был поздний вечер. Какие-то неясные фигуры впереди, негромкий говор.

Как ехали и как добрались до Канибадама, не помню. Жили в длинном, одноэтажном, деревянном доме на четыре семьи. Крутые ступеньки во двор, а в нем громадное тутовое дерево, кормилец всех семей. Ягод было очень много, сладких, сочных. С четырех сторон на землю стелили старые простыни, ягоды сыпались дождем, и каждая семья забирала свою простыню с обильным урожаем. Эти ягоды ели сырыми, сушили их, перетирали в муку и из нее пекли лепешки. Они были темными, тяжелыми, но сладкими и вкусными.

Все это помнится в отрывках. И еще одно пронзительное воспоминание о том, как умирала моя мать. Жаркий климат Азии ей не помог, слишком была запущена болезнь. День был яркий, щедро напитанный солнечным светом. Она лежала у стены, лицо ее не различалось, помню белую постель у стены на балконе и неясную фигуру на ней. Мать протягивала ко мне руки и звала к себе, а меня удерживали, не пускали. Чей-то голос произнес: «Маша, ну ты же знаешь, нельзя». Так и не довелось нам проститься друг с другом. Умерла она в сентябре 1946 года, ей было 22 года. На среднюю сестру, Александру, которая предлагала меня продать, она не надеялась, а попросила старшую: «Аня, позаботься о Лене», и та дала слово. Где-то через полгода она усыновила меня. Записали, что я родился в Канибадаме, в ЗАГСе пожилая таджичка не поняла слова «белорус», и записали меня русским. Возражать не стали, тогда мало придавали значения национальности. Если что, будет время исправить. В то время кого только в Канибадаме не было, много было эвакуированных семей, русские, украинцы, татары, узбеки, таджики.

Ситуация со мной была просто интересная. В графе «отец» — записали Чигрин Александр Афанасьевич, «мать» — Кураксина Анна Федоровна, хотя они не были мужем и женой, а сделали так для того, чтобы я не чувствовал себя обделенным. Как и всех, у меня были мать и отец.

Азия оглушила меня неумолчным шумом и ослепила блеском неистового солнца. Кричали бродячие торговцы, ревели ослы, городской базар поражал многоголосьем. Разноцветные халаты, бронзовые лица, женщины в паранджах, волосяных сетках, закрывающих от чужих взглядов.

Мне было пять лет, и я целые дни проводил на воле. Лишь одна центральная улица была вымощена булыжником, все остальные утопали в пыли. Она была желтая, тонкая, как пудра, и доходила до щиколоток. Когда проезжала машина, за ней тянулось густое, пахучее облако, застилая все вокруг. Пыль потом долго висела в воздухе и оседала толстым слоем на кроны деревьев и крыши домов.

Машин было мало, часто по городу тянулись верблюжьи караваны. «Корабли пустыни» шагали степенно, тяжелые тюки лежали на высоких горбах, и верблюды надменно косились по сторонам большими с фиолетовой поволокой глазами.

Снега в Канибадаме я не помню, изредка зимой шли дожди, а в большинстве дней светило солнце. В апреле зной обрушивался на город, цвели деревья — урюк, яблони, миндаль, бушевала зелень.

Звонко пели птицы, город заливали ароматы цветений. Природа неистовствовала в весенние месяцы, а летом все замирало, оцепенение от зноя охватывало

город, и он оживал только с наступлением темноты. Но и тогда жар струился от прокаленной земли, от глинобитных строений; ни ветерка, сонно журчала вода в арыках, тянувшихся вдоль домов, и в садах, люди сидели на просторных деревянных кроватях, тахтах, во дворах под деревьями, неспешно ели, пили чай и вели долгие беседы.

Это была Азия, где никто никуда не торопился, никто ничего не планировал заранее, во всем полагаясь на волю Всевышнего, и время тут струилось по-особому. Оно было тягучим, как мед, и имело свое особое измерение.

Надо сказать, что чайхана на Востоке — это не только то место, где можно перекусить и выпить чаю. Совсем не так, и даже вообще не так. Это своеобразный клуб, где встречаются друзья и единомышленники, тут узнают последние новости, обсуждают важные вопросы. Тут решалось и осмысливалось все, что происходило в городе. Руководящие органы, партийные и советские, существовали сами по себе, а решения, принятые в чайхане стариками и уважаемыми людьми, были обязательными для всех и подлежали неукоснительному выполнению.

У взрослых были свои дела, а у нас, ребятни, свои заботы. Едва начинался день, мы выбирались на улицу. Что такое завтрак, не знали, да в нем и не было надобности. Главной задачей для нас было — попасть на базар. Он находился на окраине города и с зарей начинал гудеть, как потревоженный улей. Ревели ослы, спины которых прогибались под тяжестью мешков, ржали лошади, протестуя против непосильных грузов, степенно шествовали верблюды с разноцветными тюками на горбах. Клубилась желтая пыль, огненный шар солнца медленно всплывал над городом, и пыль в его лучах казалась золотистым облаком, озаряющим город.

Базар был средоточием городской жизни. Тут можно было купить и продать, узнать последние новости, встретиться с друзьями и отвести душу в беседе, заключить торговую сделку, поесть и выпить чаю, отдохнуть под навесом, побрить голову, подравнять усы и бороду, вырвать больной зуб и излечиться от болезни. Словом, базар был всем в быте каждого уважающего себя мужчины. Женщин там не было, нечего им там было делать. Их занятие — дом, дети. Продукты приносили мужчины, они же ведали семейным бюджетом, они же уходили спозаранку на базар и появлялись дома поздно вечером. Если в семье было много детей, то глава семейства путал их имена, а то и не помнил вовсе. И это было понятно: голова мужчины занята более важными соображениями.

Базар притягивал детвору, как магнит железные опилки. Нас туда не пускали. В узких воротах, в которые протискивались вьючные животные, стоял усатый страж, отгонявший нас грозными окриками, а то и хворостиной. Но существовало неписаное правило: если мы всеми правдами и неправдами все же пробирались на торжище, там нас не трогали, и тогда начинался наш праздник.

У нас была своя отработанная система проникновения на базар. Тогда существовали арбы-телеги на двух колесах, каждое с человека среднего роста. Второй точкой опоры служили оглобли, ложившиеся на ослиные бока. На арбу наваливали мешки, владелец товара возвышался над землей и прохожими, а осел мелко перебирал ногами где-то внизу. Эти арбы были что-то вроде вездеходов, весной и зимой, когда дороги заполняла жидкая грязь, большие колеса не вязли в ней, а если застревал осел, то арбу всегда можно было подтолкнуть плечом. Под днищем арбы проходила поперечная балка. Мы подныривали под такую телегу, обхватывали балку руками и ногами и проезжали на базар мимо грозного стража. Ему некогда было осматривать каждую арбу, мимо него с грохотом и шумом тек поток прохожих и нескончаемых грузов.

На базаре мы выбирались из-под телег и тут уже чувствовали себя вольготно. Гомон и многоголосица оглушали.

Мы рыскали между торговых рядов, между арбузов и дынь, возвышавшихся, как горы, над сидевшими рядом их владельцами. Кто-то давал нам кусок лепешки, кто-то яблоко и горсть урюка, причем делалось это с добродушной усмешкой.

Нам отдавали должное за нашу ловкость и умение преодолевать препятствие у базарных ворот.

Наесться досыта для нас не составляло никакого труда. В те годы скоропортящиеся продукты продавали лишь один день. К вечеру у забора стояли большие корзины с помятым инжиром, перезрелыми помидорами, скисающим виноградом, потерявшим свою прелесть урюком. Все это шло на корм скоту, ну, и мы тут подпитывались без всякого стеснения. Всегда можно было отыскать пригоршню-другую хороших ягод, пару крепких яблок и прочих деликатесов и наесться, как говорится, до отвала. Набив животы и прихватив с собой еду на дальнейшее, мы отправлялись осматривать базар.

А посмотреть было на что. Иной сидел на деревянном чурбаке, и ему брили голову тупой бритвой, отчего он страдальчески кряхтел и морщился. Другому рвали гнилой зуб. Сажали на такой же чурбак, зуб обхватывали тонкой струной, затем клиента просили привстать, якобы для того, чтобы сесть поудобнее. В этот момент стоящий сзади подручный лекаря наваливался ему на плечи. Клиент падал на чурбак, зуб вылетал изо рта, лилась кровь, а толпа одобрительно ревела, воздавая должное мастерству табиба-лекаря.

Но всего интереснее было извлечение ришты, длинного червя, из тела больного. В стоячих водоемах водилась личинка ришты. И когда в таких хаузах совершали омовение или купались, личинка прокусывала кожу и проникала под нее. Затем углублялась в ткани и там вызревала, превращалась в червя, тоньше волоса и длиной до тридцати метров. Червь питался соками своего хозяина. Тот худел, превращался в скелет, а там, где находился червь, виднелась большая шишка с маленьким отверстием посредине. Ришта вызревала год, и когда окончательно сформировывалась, то высовывала из отверстия маленькую голову. Лекарь схватывал ее и начинал наматывать червя на палочку. Делалось это крайне медленно и предельно осторожно, ведь если червь обрывался, то нужно было снова ждать год до его повторного созревания. Вытягивали ришту неделями, на ночь палочку привязывали к телу больного, и с утра мучительная процедура возобновлялась.

Насмотревшись на извлечение ришты, мы шли дальше. В углу базара мясники резали скот, и тут тоже было чему подивиться. Оценивалось умение мясника не только быстро прирезать барана, козла или корову, но и молниеносно снять шкуру, не повредив ее, а затем разделать тушу по всем правилам этого кровавого ремесла.

На базаре сидели предсказатели судеб, шныряли азиатские цыгане — люли, в отрепьях, прокаленные солнцем до черноты. Они нищенствовали, но могли прихватить и то, что плохо лежало. За такими следили в оба. Тут же демонстрировали свое искусство фокусники, поодаль стравливали бойцовых собак и перепелов. И всюду были зеваки, заключались ставки, ложились на кон деньги, и случалось, вся дневная выручка уходила за несколько минут в чужой карман.

Пыль, сумятица, шум, разноязыкий говор, плыли в воздухе синие дымы от очагов. Жарились шашлыки, готовилась пища, и обоняние дразнили запахи рыбы, кипящей в масле, самбусы, выпекаемой в круглых печах-тандырах, булькающих в котлах шурпы, лагмана, маставы и прочих яств, которыми так богато азиатское застолье.

И над всем этим торжищем, гудящим, как басовая струна, надолго зависало солнце. Раскаленное добела, оно струило слепящий свет и изнуряющий жар. Лица людей блестели от пота, в ход шел зеленый чай, лучшее средство для утоления жажды. Нам уже на базаре делать было нечего. Голод утолили, кое-что было в мешочке, который предусмотрительно прихватывали с собой из дома, и мы направлялись к воротам. Тот самый усатый страж приветствовал каждого из нас подзатыльником, приговаривая «шайтонча» — чертенок. Делалось это беззлобно, победителей, как говорится, не судят. Раз уж мы сумели пробраться мимо его зорких глаз, то уйти могли беспрепятственно.

С началом жары и до похолоданий мы не знали никакой одежды, кроме трусов. Загорали до черноты, от солнца не прятались и давящий зной воспринимали

как нечто само собой разумеющееся. Не различали друг друга по национальностям, разнились только по цвету волос, у кого светлее, у кого темнее. Говорили на смеси языков — русского, таджикского, узбекского. Мать жаловалась соседям, что не понимает меня. Мне это было странно слышать, ведь в своей среде мы отлично понимали один другого.

Таджикские слова обрушивались на нас со всех сторон, и мы, как рыбы, плавали в этом языковом разнообразии.

Вскоре жизнь преподнесла мне урок, который мог бы завершиться трагически, но помощь подоспела вовремя, правда, последствия того урока остались. Вот как это произошло.

По субботам и воскресеньям в городском парке происходили шумные празднества. Солнце садилось, сумерки спускались на город, и в парке зажигались костры и факелы. Ревели длинные трубы — карнаи, бухали барабаны, сипло рыдала зурна. Люди вливались в парк. На очагах готовились угощения, синий дым от мангалов, на которых жарились шашлыки, растекался между деревьями. Собравшиеся ели, смеялись, подшучивали друг над другом. Клоуны — масхарабозы ходили на высоких ходулях. Земля плыла в голубом звездном тумане, растворяя в нем все дневные тревоги и заботы.

А потом начиналось главное действо. Между двумя шестами высоко над землей натягивали канат, и по нему ходил юноша. Одет он был в полосатый халат, полы которого затыкал под пояс шаровар. Подошвы мягких сапог скользили по канату, длинный шест в руках помогал сохранять равновесие. Юноша то ускорял шаги, а то замедлял их, иногда он отставлял одну ногу и балансировал на другой, а то на середине каната резко поворачивался и шел в обратную сторону. Все следили за ним затаив дыхание, а что уж говорить о нас, мальчишках, которым канатоходец вообще казался неземным существом. Мы мечтали быть такими же смелыми и ловкими, как этот бесстрашный юноша. Криками ему все выражали одобрение, а в чашку, стоявшую у шеста, сыпались монеты и падали бумажные деньги.

Но самый большой восторг взрослых мужчин вызывал «Танец осы». У самого костра ставили большой барабан, и на него запрыгивала юная, тоненькая девушка с множеством косичек на голове. На ней были желтые шаровары и маленькая жилетка, прикрывающая грудь. Оголенный живот и спина поблескивали в красноватом свете. Сидевший у барабана музыкант еле слышно тянул на флейте однообразную мелодию, а девушка начинала танец. Она изгибалась во все стороны, плавно размахивала руками, а маленькие босые ступни постукивали по коже барабана, и он отзывался ритмичным гулом. Девочка изображала, как над ней кружится оса, а она старается увернуться от нее. Танец становился все быстрее, барабан ворчал непрерывно, танцовщица то склонялась к самому барабану, а то стремительно выпрямлялась и подпрыгивала. Оса залетела куда-то в шаровары, девушка старалась прихлопнуть ее, но оса была неуязвимой и, наконец, ужалила танцовщицу. Та упала на барабан и судорога прошла по ее телу. Зрители исступленно вопили, деньги дождем сыпались на барабан. Это был подлинно эротический танец. Конечно, мы, детвора, тогда не понимали этого и с удивлением смотрели на багровые лица мужчин и их блестящие глаза. Они шумно дышали и локтями толкали один другого. Мусульманке танцевать полуголой в присутствии множества мужчин не дозволялось, но девушка была дунганкой, и на нее строгие правила шариата не распространялись. На нее можно было не только любоваться. Богатые торговцы подходили к ее хозяину с флейтой, перешептывались с ним, вручали ему пачку денег, а потом, взяв девушку за руку, уводили с собой. Но нас дальнейшее интересовало мало, мы еще не были осведомлены о закулисной жизни взрослых и спешили дальше, посмотреть представления фокусников, жонглеров, масхарабозов.

Праздник завершался далеко за полночь. Гасли костры, и их заливали водой, чадили догоравшие факелы, и зрители расходились по домам, довольные и утом-

ленные многочисленными зрелищами, отяжелевшие от еды и волнующих представлений.

А мы наутро снова прибегали в парк. Нам казалось, что от праздника должно остаться еще что-то яркое и необыкновенное, но ничего не было. Кругом валялись обрывки бумаг, земля была истоптана и взрыта сапогами зрителей.

Канат между шестами не сняли, на одном из них были прибиты перекладины, по которым взбирался канатоходец. Я ухватился за нижний и, запрокинув голову, глядел на полоску каната, отчетливо различимую на фоне голубеющего неба. Я представлял, что подрасту немного, научусь так же ловко скользить по канату, буду потрясать своим искусством зевак и зарабатывать много денег. Стоявший рядом Юрка Волобуев, он был старше меня на три года и уже учился в школе, по-своему понял меня.

— Слабо? — засмеялся он. — Метарси? (Боишься?)

— Чаро метарсам? (Почему боюсь?) — огрызнулся я. — Хозир мебини. (Сейчас увидишь.)

Обвинение в трусости было самым страшным в мальчишеской среде, и я, конечно, этого допустить не мог, хотя и не знал, как себя вести там, у каната. Наверху была небольшая площадка, и на ней лежал шест, с помощью которого балансировал канатоходец. Я попытался поднять этот шест, но он был тяжелым, и я оставил его на месте. Юрка стоял внизу и с любопытством следил за мной. Я медлил.

— Э, тарсончак, — крикнул он. — Фуро! (Э, трус, слезай!)

И тогда я ступил на канат ногой, сделал шаг, другой и замер. Канат слегка пружинил подо мной, земля была где-то далеко внизу, и я понял, что сейчас упаду. Изо всех сил я старался сохранить равновесие, но раскачивался все сильнее и… полетел, но полетел почему-то вверх. Вскинул голову и увидел под собой лицо канатоходца, он был очень молод, на верхней губе едва проступала полоска усиков. Он улыбался и крепко держал меня. Он сделал два шага назад, и мы оказались на площадке.

— Э, офарин, — сказал он. — Аммо барои ту барвакт. (Э, молодец, но тебе рано.)

Мы спустились вниз, канатоходец ласково провел рукой по моей голове и принялся убирать канат. Он не ругался и больше не обращал на меня внимания. Я стоял на подрагивающих ногах и от пережитого волнения не мог произнести ни слова. С той поры я стал бояться высоты, не той, когда летишь на вертолете или самолете, а непосредственно у земли, скажем, глядя вниз с балкона четвертого этажа. Начинает кружиться голова, и холод леденит грудь…

Надо сказать, Белоруссия с детских лет все время напоминала мне о себе, а я никак не откликался на ее зов. Осознание этого пришло много позднее.

И тогда, когда я жил в Канибадаме, я познакомился с белорусским мальчишкой. Ему было семь лет, и он был беспризорником. Никто не знал, как его зовут, все называли его Зардак (Рыжий) за рыжеватые волосы, беспорядочной копной лежавшие на голове и падавшие на плечи. Зардак был местной достопримечательностью, его знали все канибадамские мальчишки и уважали за независимый нрав и самостоятельность. Зимой и летом он носил засаленную телогрейку, одетую на голое тело, армейские галифе, подвязанные веревкой, на ногах красовались таджикские галоши, размеров на пять больше, чем нужно. Жил Зардак в городском парке, спал в канаве у забора, из травы соорудив себе что-то вроде гнезда. Когда наступали холода, перебирался в разваленную кибитку в углу того же парка. Его несколько раз отправляли в детприемник, в Ходжент, но он всякий раз убегал оттуда и снова появлялся в Канибадаме.

О себе Зардак рассказывал, что жил в Белоруссии, и, когда началась война, мать, его самого и сестру вместе с другими семьями военнослужащих отправили эшелоном в Среднюю Азию. В Ташкенте он вышел из вагона за кипятком, пока простоял в очереди, состав ушел. Зардак бродяжничал на вокзале, полагая, что

мать будет его искать. Время шло, один путеец сказал ему: «Э, бача (парень), пропадешь тут. Давай, я отправлю тебя в Канибадам, там моя семья, поживешь пока в моем доме, а там видно будет. Может, твои родные отыщутся. Спросишь в районе хлопкозавода Самада, любой покажет. Я там человек известный».

Сказал и фамилию, но Зардак сразу же забыл ее. Путеец посадил его на товарняк и отправил в Канибадам. Зардак ходил по кварталам, спрашивал Самада, но Самадов в Канибадаме столько же, сколько в России Ивановых, и мальчишка прекратил поиски. Обосновался он в парке и особо не печалился. Тепло, сыт, относительно одет, настоящая жизнь его устраивала, а будущее придет своим чередом.

Я проникся симпатией к Зардаку, может, подспудно сказывалось кровное единство. Часто навещал его, болтали о том о сем. В парке мы иногда всей семьей ели шашлыки, и я упрашивал мать разрешить отнести пару палочек своему другу. Мне разрешали, и я бежал в угол парка, где в уютной канаве, на сухом травянистом ложе коротал Зардак свой досуг. Он принимал мои подношения благосклонно, ел не торопясь, всем видом показывая, что вообще-то не голоден и ест мясо просто из любезности.

Наша дружба продолжалась недолго, вскоре мы уехали из Канибадама, и что стало потом с Зардаком, узнал много позднее. Я учился уже в институте в Душанбе, и мой сокурсник, Леонид Махкамов, тоже канибадамский, оказывается, был знаком с Зардаком и тоже подкармливал его.

Мой белорусский земляк недолго вел жизнь свободного сына прерий. Милиция в очередной раз изловила его и отправила в Ташкентский интернат, после чего Зардак уже больше не появлялся в Канибадаме. Должно быть, новое место пришлось ему по нраву или, может, лучше следили за ним и лишили возможности совершить очередной побег.

Мне исполнилось шесть лет, и мои родные прикидывали, в какую школу определить меня на учебу. Но в их планы серьезные коррективы внес мой отец. Наконец-то его демобилизовали, и он приехал в Канибадам из Тегерана. Как ни странно, но я не помню первой встречи с ним. Должно быть, я привык, что у меня нет отца, и принял его как чужого. Что же касается его, то он был просто ошарашен, увидев сына, достаточно большого и живущего самостоятельной жизнью. В памяти остались отрывки из его рассказов бабушке и матери об иранской службе. Советские солдаты охраняли шахский дворец, и отец говорил о его внутреннем убранстве, покачивая головой от удивления. Размеры покоев, отделка золотом, мебель, инкрустированная драгоценными металлами и слоновой костью. Это было подобие сказок из «Тысячи и одной ночи». Именно таким казался дворец шаха белорусу, большая часть прожитых лет которого прошла в сталинском лагере, а потом на фронте и армейской службе.

Нужно было сначала встать на ноги, а потом планировать будущее. Отец устроился работать шофером на маслозавод. Привозил домой масло, жмых, целую машину хлопковой шелухи, которой мы топили печь. Она горела, как порох, и давала хорошее тепло.

Я помню, он взял меня с собой в рейс, вернулись мы в город уже в темноте. Отец поставил грузовик в гараж и выключил фары. На меня обрушилась чернильная тьма, и я в ужасе закричал: «Папа, ты что наделал? Как мы теперь найдем дорогу домой?» Потом он долго вспоминал эти мои слова и все подшучивал надо мной.

Наша канибадамская эпопея подошла к концу неожиданно. На севере Таджикистана строился шестой комбинат по добыче и переработке урановой руды. Одно из предприятий располагалось в поселке Адрасман, в горах, в семидесяти километрах от Ходжента. Отец съездил туда, вернулся довольный и сказал, что устроился начальником компрессорной станции. В Адрасмане были шахты по добыче урановой руды и обогатительная фабрика.

Мать спросила: «Саша, а это не опасно?» Отец отшутился: «Не опаснее фронта». Потом у них состоялся серьезный разговор с бабушкой и моей приемной матерью. Мать сказала: «Как-то странно у нас получилось. Я записана матерью Лени, ты — отцом. Ну ты-то настоящий отец, а я — мать, не являющаяся матерью. А дальше как будет? Не век же тебе вдовцом ходить. Найдешь женщину, обзаведешься новой семьей, и ребенку нужно будет привыкать к другой матери. Как воспримет он это?» Отец поразмыслил: «Знаешь, Анна, война приучила меня жить, не заглядывая в будущее. Давай не будем загадывать. В Адрасмане мне обещают хорошие деньги, я хочу подсобрать их, вернемся в Белоруссию, купим дом, обзаведемся хозяйством. А там видно будет. Может, я заведу себе семью и ты найдешь человека по сердцу. Будем держаться друг за друга, не чужие ведь. А Леня вырастет, поймет нас».

Отец оказался плохим провидцем. Деньги он, и верно, получал неплохие, но накопить их не успел, и возвращение в Белоруссию так и осталось мечтой. Судьба распорядилась по-своему.

Адрасман оказался небольшим поселком, расположившимся в узкой лощине между гор. С севера над поселком нависал высокий скалистый утес, похожий на верблюжий горб, его называли «Адрасман-Баш», имея в виду, наверное, башню. С востока поселок упирался в горную цепь, с других сторон его окружали холмы, переходящие в черные мрачные хребты. Ниже поселка, в лощине, строился соцгородок для работников предприятия, а пока все размещались в нескольких двухэтажных домах и в «Шанхае», приземистых кибитках, сложенных из камней и крытых толем.

Нам дали квартиру в двухэтажном доме на первом этаже. Мы все разместились в двух комнатах. Электричеством обеспечивали только шахты, обогатительную фабрику и подсобные объекты. Мы обходились керосиновой лампой, печь топили дровами и углем.

Шахты были очень глубокими, по километру и больше. Однажды отец взял меня с собой. Мы вместе с горняками вошли в клеть, дверь закрылась, и клеть рухнула вниз. Я на какие-то мгновения ощутил невесомость. Это страшно испугало меня, я закричал. Отец прижал меня к себе, а кто-то из шахтеров пробасил: «Не трусь, малец, с нами и в преисподней не пропадешь!»

Мы оказались на восьмом горизонте, на глубине восемьсот метров. Прошли по длинной штольне и оказались в забоях. Гремели отбойные молотки, тусклый свет играл бликами на потных лицах горняков. Руду грузили в вагонетки, и электровоз тащил их по рельсам к клети. Вагонетки поднимали наверх и там снова прицепляли к электровозу, который доставлял их к транспортерной ленте. По ней руда шла на обогатительную фабрику.

Грохот оглушал, несмотря на вентиляцию, в забоях было душно. Все работали споро, каждый знал свое дело и выполнял его старательно. Халтура в шахте не допускалась, за небрежность можно было заплатить жизнью.

Потом, когда я читал описание Дантова ада, я всегда вспоминал урановую шахту в Адрасмане. Это действительно был ад, и отличие от настоящего было лишь в том, что работали в нем не по принуждению чертей, а добровольно, и еще с таким подъемом, о котором сегодня утрачено всякое представление.

Отца я видел мало. Он не приходил домой неделями. Горняки углубляли шахты, пробивали разведывательные штольни, и везде нужна была вентиляция. Без воздуха работа под землей была невозможна. Рабочие компрессорной не только обслуживали компрессоры, но и прокладывали вентиляционные магистрали к местам выработок, а это было сложное и многотрудное дело.

Параллельно добыче руды предприятие продолжали строить. Поднимали корпуса обогатительной фабрики, прокладывали рельсы, возводили соцгород и многое другое. Все это делали пленные немцы. За соцгородом на каменистом пустыре располагался лагерь, в котором они находились. Там были длинные бараки, сложенные из грубого черного камня. Их по периметру охватывали два

ряда колючей проволоки. Через каждые тридцать метров виднелись вышки с охранниками. Между проволоками бегали овчарки и свирепо рычали, если кто-то близко подходил к зоне.

Каждое утро немцев колонной вели на работу. Ее сопровождали солдаты с винтовками и овчарки. Вечером колонна возвращалась в лагерь. Немцы были одеты в черные робы с белыми табличками на груди и большим белым пятном на спине. Говорили, что это сделано специально, чтобы охранник мог точнее прицелиться.

Пленные шли, глядя перед собой, не поворачивая головы в сторону. Сколько бы раз они ни проходили, жители поселка всегда собирались и молча смотрели на них. Никто не выкрикивал обидных фраз, не грозил кулаками, но в этом давящем молчании было столько ненависти и презрения, что, казалось, от них сгущался воздух. Война закончилась всего три года назад, и не было в поселке ни одной семьи, которую не опалило бы ее дыхание.

Я читал в какой-то книге, что где-то в российской глубинке пленных немцев вот так же водили на работы, и сердобольные женщины бросали им хлеб и другую еду, и, мол, извечная русская участливость преодолевала отвращение к врагам. Лично я мало верю в это, поскольку в детстве видел совсем иное.

По воскресеньям пленных выгоняли на плац, раздевали догола и осматривали одежду. Обыскивали также жилые бараки и подсобные помещения. Мы бегали смотреть на обыски, сидели на камнях поодаль от проволоки, чтобы не злить собак, и видели неподвижно стоящие шеренги голых людей, которых палило солнце или поливал частый и нудный осенний дождь. Смотрели с холодным, совсем не детским любопытством, потому что были пасынками военной поры и у каждого в судьбе были свои горести и потери.

В нашем доме, на втором этаже, как раз над нами, жила семья Успенских. Глава семейства имел звание майора и был начальником того лагеря, в котором содержались военнопленные. Я хорошо помню его. Он был невысокого роста, с короткими светлыми волосами «ежиком» и смотрел всегда искоса, кивком головы отвечая на приветствие. Форма на нем была новенькая и всегда отглажена так, что, казалось, он никогда не садится, чтобы не помять ее. Утром за майором приезжала машина с двумя вооруженными охранниками. Он молча садился в нее, захлопывал дверцу, и машина, взвизгивая шинами и поднимая пыль, срывалась с места.

— Боится, что ли, чего? — сказала как-то мать недоуменно, глядя на охранников. Те сперва проверяли подъезд, обходили вокруг дома, и только тогда начальник лагеря появлялся из своей квартиры.

— Есть чего бояться, — усмехнулся отец. — Немало он попил кровушки из нашего брата.

С Успенским отец не здоровался, и тот тоже проходил мимо него, стараясь не встречаться взглядами. Оно и было понятно, не к лицу энкавэдэшнику, облеченному властью, обмениваться приветствиями с бывшим зеком.

У Успенского было два сына, Женька и Эдька. Женька был старший, а Эдька мой ровесник. Мы с ним подружились. Когда их мать, она работала медицинской сестрой в поселковой больнице, уходила к себе в отделение, я поднимался к Успенским. Та же двухкомнатная квартира, та же обстановка, что и у нас, как говорится, с бору по сосенке. Ясно, что военному человеку не до роскоши, сегодня он здесь, а завтра зашлют куда подальше. Но зато какая у них была библиотека! Дореволюционные издания «Мира путешествий». С волнением брал я в руки тяжелые нарядные тома с золотым тиснением. В них были цветные картинки, изображавшие африканских негров с копьями и щитами, американских индейцев в перьях и с томагавками. Невиданные животные и птицы, экзотические растения, густые леса и джунгли. Я рассматривал эти книги часами и не мог от них оторваться. Неведомый, фантастический мир открывался передо мной.

Эдька сопел, ему было непонятно мое увлечение книгами. Ну, посмотрел и ладно, но чтобы весь день разглядывать их?!

— Хватит тебе, — говорил. — Пошли на улицу.

Но я только отмахивался от него.

Майор Успенский знал о моей дружбе с его младшим сыном, но не был против нее. Дети есть дети, у них свои симпатии и антипатии. На это у него хватало понятия. Один только раз, когда неожиданно приехал домой за какими-то бумагами, остановился возле меня и, по привычке взглянув искоса, сказал: «Ты вот что, поменьше крутись возле лагеря. И к проволоке близко не подходи. Охране дан приказ стрелять без предупреждения, взрослый то будет или ребенок. Лагерь — это серьезно».

О том, что лагерь — это серьезно, мы догадывались, но насколько серьезно, узнали потом, когда наш рудник был построен и немцев увезли куда-то сооружать другие объекты. Колючую проволоку убрали, в бараках сделали перегородки, переоборудовали их в общежития и поселили там молодых, одиноких специалистов. Мы часто приходили в лагерь, осматривали его строения, а как-то раз заметили в бетонном полу железную крышку. Подняли ее и увидели ступеньки, ведущие вниз. Спустились по ним и оказались в бетонном бункере. Справа и слева были тяжелые железные двери. Открыли их, зашли в правое помещение. Это была глухая темная комната с бетонным полом, в стене виднелись металлические кольца. Левое помещение было поменьше, пол был внизу и в помещении по колено стояла вода. Холодная, с гнилостным запахом. В двери было небольшое окошечко, закрывавшееся на задвижку.

Для чего были предназначены эти помещения, мы не догадывались. Вечером я спросил у отца. Он промолчал, потом пояснил. В правом, сказал он, расстреливали приговоренных. А левое — это карцер, туда запирали тех, кто провинился.

— Но там же вода? — удивился.

— Вода, — согласился отец. — Это чтобы наказанный человек не мог ни сесть, ни лечь.

— Но разве долго простоишь на ногах, да еще в ледяной воде? — продолжал я допытываться.

— А это твое дело. Можешь сразу помереть, тогда не будешь мучиться.

— А кольца зачем?

— Привязывали за руки к ним, чтобы не сопротивлялся.

Жутью повеяло на меня от этих слов. Совсем другим представился мне теперь майор Успенский, подтянутый, в чистенькой, наглаженной форме. Впрочем, это враги, попытался я мысленно оправдать начальника лагеря. С ними иначе нельзя было.

Надо отдать должное, работали пленные немцы хорошо. Соцгород, который они построили, был красивым. Дома добротные, сложенные из известняковых блоков, квартиры просторные, с круглыми голландскими печами, обогревавшими сразу обе комнаты. Такую квартиру мы получили и перебрались в соцгород.

У отца был друг Иосилевич Семен Борисович, родом из Ровно, тоже фронтовик. Он работал маркшейдером на шахте и часто приходил к нам в гости. Был грузным, с большой лысиной. Любил выпить и постоянно шутил. Они с отцом вспоминали боевые эпизоды и ругали войну, которая поломала им жизни. Я слушал их и не понимал, война казалось мне местом, где совершаются подвиги, а тут слова о загубленных жизнях.

Осенью 1951 года матери дали путевку в Кисловодск. У нее была базедова болезнь, и ей нужно было подлечиться. Мы проводили ее и остались с отцом и бабушкой. Брат и сестра матери жили в нашей прежней квартире.

Отец, как обычно, спозаранку уходил на работу. Иногда приходил поздно вечером, а иногда я не видел его три-четыре дня, если было что-то срочное в шахтах.

Как-то днем я играл на улице, к нам пришел Семен Борисович. Он выглядел расстроенным.

— Иди сюда, — позвал он.

Я подошел. Он провел рукой по моей голове и тяжело вздохнул.

— Бабушка дома? — спросил он.

Я утвердительно мотнул головой.

— Пошли к ней.

Дома Иосилевич тяжело опустился на табуретку, помолчал, потом посмотрел на бабушку. Глаза у него были припухшие, с красными белками.

Бабушка встревожилась.

— Случилось что, Семен?

— Случилось, — сказал он. — Нет, мать, больше нашего Александра.

— Как? — бабушка ухватилась рукой за стол.

Семен Борисович рассказал. Ночью в штольне произвели взрыв, чтобы углубить ее. Потом принялись ставить крепи, а отец с двумя рабочими наращивали вентиляционную проводку. Неожиданно обрушилась кровля, и все шесть человек погибли.

Я не сразу понял, что произошло, а когда до меня дошло, заревел во весь голос.

Мать решили не вызывать, пока приедет, не один день пройдет, да и зачем, рассудил Иосилевич. Пусть лечится.

Отца хоронили в закрытом гробу. Народу собралось много. Было сказано о нем на кладбище много хорошего.

Мать приехала почти через месяц. Она долго плакала, прижав меня к себе. Тогда я не знал, что потерял самого близкого человека и остался круглым сиротой.

Иосилевич пришел к матери для серьезного разговора.

— Вот что, Анна, — сказал он. — Ты еще молодая, тебе надо устраивать жизнь. Леня в таком деле будет помехой. Я хочу усыновить его. Александр был мне лучшим другом, и это мой долг.

Мать несогласно покачала головой.

— Нет, Семен Борисович. Я дала слово Марии заменить Лене мать. Пусть все остается как есть.

Иосилевич пытался убедить ее, говорил, что он — человек состоятельный и ему будет легче растить меня, но мать стояла на своем.

— Не надо мне никакого замужества, — сказала она. — Да и за кого тут выходить. Проживем как-нибудь.

В школе я учился без напряжения, но и без особой охоты. Книги были главным содержанием моей жизни. Я читал, как говорится, запоем. Не обходилось и без трагедий. В первом классе, когда выучил буквы и уже мог читать, я первым делом записался в поселковую библиотеку. Она помещалась в Доме культуры, большом, красивом здании, возвышавшемся на холме. Младшеклассникам выдавали только одну книгу. Я брал ее и, пока доходил до дома, прочитывал на ходу. Поворачивал обратно в библиотеку.

— Я уже прочитал, — говорил я библиотекарше. — Дайте другую.

Библиотекарша была седая, в круглых очках и не по делу принципиальная.

— Сегодня нельзя, — говорила она категорично. — Придешь завтра.

— Но мне нечего дома читать.

— А ты не читай по дороге.

Вскоре судьба одарила меня широкой улыбкой. Старая библиотекарша ушла на пенсию, и заведовать библиотекой стала моя тетя, имевшая специальное образование. Для меня началась счастливая пора. После занятий в школе я наскоро обедал дома и бежал в библиотеку. Она вся была в моем распоряжении. Я отыскивал себе что-нибудь интересное и сидел на диване до конца рабочего дня. Брал книги и домой, сколько хотел и без всякой записи. Позднее, когда подрос, оставался в библиотеке и на ночь, на выходной день. Читал до помрачения и засыпал под утро, тетя приходила и выпускала меня на волю.

Смерть Сталина, потрясшая всю страну, отзвуками долетела и до Адрасмана. Я учился тогда в четвертом классе, шел урок чистописания, самый ненавистный для меня. Внезапно дверь распахнулась, вошла завуч, глаза ее были заплаканными, в руках она держала носовой платок и судорожно его комкала.

Мы, хлопая крышками парт, встали со своих мест.

— Дети, — сказала завуч прерывающимся голосом. — Произошла великая трагедия. Умер Сталин.

В классе воцарилось молчание, потом одна из девчонок громко заревела, остальные зашмыгали носами. Немцы, учившиеся с нами, стояли молча. Уж им-то кончина вождя всех народов вряд ли показалась великой трагедией.

Что же касается меня, то должен признаться, я испытал облегчение. Урок чистописания прервался, равно как и остальные занятия в тот день, и это уже само по себе было неплохо.

Надрывно ревел фабричный гудок, по утрам созывавший рабочих в цеха и на шахты. Люди тянулись к центральной площади соцгорода. Там находился памятник Сталину. Он стоял на высоком постаменте, в длиннополой шинели, фуражке, одна рука заложена за отворот шинели, другая вытянута вдоль туловища. Возле памятника замерли четверо солдат в траурном карауле с винтовками в руках. Никого к памятнику не подпускали. Жителей поселка выстроили в четкий квадрат на краю площади, и так все стояли, храня скорбное молчание.

Урановый поселок, где платили большие деньги и было хорошее материальное обеспечение, привлекал не только желающих заработать. Сюда, как перелетные гуси, тянулись уголовники и те, кого манила легкая нажива. Грабежи, разбои, а то и убийства были нередким явлением. Милиция выбивалась из сил, по ночам по улицам поселка патрулировали солдаты, хождение после одиннадцати часов ночи запрещалось. Нередко тишину нарушали винтовочные выстрелы. Однажды во мраке разгорелся настоящий бой, была предпринята попытка напасть на лагерь и освободить заключенных. Гремела перестрелка, светляками вспыхивали огоньки, вырывавшиеся из дула винтовок.

Мой приятель Эдька Успенский потом, со слов отца, поведал мне шепотом, что немцы в лагере тоже подготовились к бою, у них были ножи и остро заточенные пики из прутьев арматуры. На охранников напали с двух сторон. Из них трое погибло, убили десять человек заключенных и шестерых напавших на лагерь извне. Об этом событии долго потом шли пересуды в поселке. Никто не понимал цели этой акции. Ну, освободили бы заключенных, и что потом? Куда бы они делись? Границы поблизости нет, кругом горы, в них долго не проживешь. Одно ясно, жителям поселка пришлось бы несладко, если бы заключенные вырвались на свободу. Начальнику лагеря майору Успенскому присвоили звание подполковника, отношение к нему изменилось. В нем видели теперь спасителя поселковых жителей, и выражаясь сегодняшним понятием, его рейтинг значительно повысился.

Вторым бедствием поселка были фэзэушники, учащиеся фабрично-заводских училищ, которые позднее переименовали в ПТУ. Их присылали в Адрасман для прохождения производственной практики из различных городов России. Им было по пятнадцать-шестнадцать лет, и все, как правило, из беспризорников. Они пьянствовали, занимались воровством, устраивали дебоши.

Не помню, как я познакомился с ними, но в памяти осталось — я приходил к ним в гости. Их было восемь человек, они жили в двухкомнатной секции, приспособленной под общежитие. В комнатах было грязно, полы затоптаны и усыпаны окурками. Повсюду валялись бутылки из-под вина и водки. Спали фэзэушники на матрасах без простыней. В квартире пахло папиросным дымом, затхлостью, несвежей одеждой.

Мы сидели на кроватях и разговаривали. Мои новые знакомые рассказали, что занимаются шабровкой. Залезают внутрь паровых котлов и счищают с их

стенок накипь специальными скребками-шабрами. В котлах темно, воздуха не хватает, работают полуголыми, обливаясь потом. На коже появляются язвы от едкой пыли и пота.

Мне стало жутко от этих рассказов.

— Средство одно от такой работы — водка, — с этими словами фэзэушник пошарил под кроватью и извлек оттуда бутылку. — Давай вмажем за знакомство.

До этого водку я не пил и особого интереса к этому занятию не испытывал. Пьяные в поселке были не редкость, случалось, валялись неподалеку от магазинов и ларьков, пыльные, в блевотине, и один их вид внушал отвращение.

— Я не пью, — попытался я отказаться. На меня удивленно выкатили глаза.

— Ты что, не мужик?

Мужиком я в ту пору не был, но в глазах моих новых знакомых мне не хотелось выглядеть слабаком и маменькиным сынком. Я принял неполный стакан водки и лихо опрокинул его содержимое в рот. Ощущение было противным, гортань обожгло, ноги сделались ватными, в голове зашумело. Я торопливо распрощался с фэзэушниками и выбрался на улицу. Меня шатало, стало тошнить. Было то же самое чувство, что и тогда, когда я впервые попробовал нос[1]. Я сел под сараями и изо всех сил старался не потерять сознание. Меня рвало какой-то зеленью, никогда в жизни я не был в таком состоянии. Пришел в себя, наверное, часа через два. Добрался до крана и долго держал голову под холодной водой, и только почувствовав облегчение, побрел домой. С того дня я никогда больше не пил спиртного и чувствую к нему непреодолимое отвращение, за что должен благодарить фэзэушников. Больше я к ним не приходил, и если видел, то старался обойти стороной.

В двенадцать лет я увлекся девочкой. Конечно, это была даже не юношеская любовь, но увлечение опять-таки связано с Белоруссией. Я закончил пятый класс и перешел в шестой. В конце августа, в выходной день, мы пошли с матерью в магазин, чтобы купить мне туфли. Шли по покатой улице, тротуара не было. Солнце припекало, высокие тополя шумели кронами. Навстречу нам шла женщина с девочкой. Адрасман — небольшой поселок, все знали друг друга, но эти были новые. Я взглянул на девочку и не мог оторвать глаз. Я не видел ни ее матери, ни прохожих, ни солнечного августовского дня. Она была чуть ниже меня, но удивительно стройная и походила на изящную статуэтку. Матовая кожа лица словно светилась изнутри. Светло-русые волосы красиво обрамляли голову и вились на висках, отчего казалось, будто вокруг ее головы распушилось облачко! Большие темно-карие глаза смотрели строго и неулыбчиво. Я даже не мог сказать — красивая она или нет, но необычная и притягательная, это точно. Мы разминулись, я несколько раз оглянулся.

— Ты чего вертишься? — спросила мать.

— Какие-то новенькие, — отговорился я.

— Они из Белоруссии. Это Мария Михайловна Киселевич. У нее астма, и ей посоветовали переехать в Среднюю Азию. Живет с дочерью, мужа нет. Устроилась на работу в стройуправление, начальником отдела кадров.

Мать знала все городские новости, но ее объяснение меня не устроило. Хотелось побольше узнать о девочке, которая шла рядом с матерью, но я поостерегся.

Когда я пришел в школу, меня ждал приятный сюрприз. Девочка уже сидела за партой у окна и была такой же необычной, резко отличающейся от всех одноклассниц, тем более, как я уже говорил, большинство были немки. Девочку звали Ларисой. На уроках я не сводил с нее глаз и изо всех сил старался привлечь ее внимание.

На уроках донимал учителей вопросами, почерпнутыми из популярной серии «Библиотечка знаний», и часто загонял химичку в тупик, за что она невзлюбила меня до глубины души. На переменах хулиганил, желая показать свою доблесть,

[1] Разговорная форма слова «насвай» (вид никотиносодержащего продукта, наркотик).

из окна на втором этаже перелезал на пожарную лестницу и забирался на крышу, что было само по себе довольно опасным предприятием. А девочка оставалась ко мне равнодушной.

Так прошло два года, полные душевных терзаний. Лед тронулся в восьмом классе. В сентябре нас повезли на хлопок, и там один из старшеклассников отпустил в адрес Ларисы циничную фразу, что, мол, девочка уже созрела и можно с ней побаловаться на груде хлопка. Я бросился на него, сбил с ног и колотил так, как будто он был моим злейшим врагом. Толька Карпов оттащил меня. Он испугался: «Ты же убьешь его!» — «И убью!» — с этим криком я вновь рванулся к обидчику, но меня удержали. Едва не разгорелась массовая драка, класс на класс, но вмешались учителя и погасили ссору.

С того дня мы стали с Ларисой дружить. Это была школьная дружба, замешенная на взаимной симпатии, в которой еще не было ничего серьезного. Мы обменивались книгами, она хорошо училась, я приходил к ней домой и списывал задачи по алгебре и физике. И я был счастлив, как бывают счастливыми только в юности, когда неурядицы истаивают сами собой, как снег на весеннем солнцепеке. Тогда я еще не знал о своем белорусском происхождении, меня забавлял ее легкий акцент и утверждение, что в Белоруссии все самое лучшее, и если бы не болезнь матери, они бы оттуда никогда не уехали.

Мне было лет двенадцать, когда объявился мой дед. Мы учились во вторую смену. Я вышел во двор, собираясь идти в школу, и увидел старика, сидящего на скамейке возле нашего подъезда. Он странно накренился в правую сторону и жевал беззубым ртом, словно намеревался что-то сказать. Я сразу обратил на него внимание. На его голове была поношенная солдатская шапка, хотя стоял уже апрель и солнце ощутимо припекало. Одет старик был в шинель с обрезанными полами, на ногах грязные, стоптанные сапоги. Лицо покрывала неряшливая седая щетина.

Я вернулся домой и сказал бабушке, что возле нашего дома сидит нищий. Она терпеть не могла попрошаек, они часто крали с веревок сохнущее белье, и потому сразу прогоняла их.

Я ушел в школу, а когда вернулся, увидел этого старика сидящим в кухне за столом и пьющим чай. Он вымылся, побрился, переоделся в сохранившиеся отцовские вещи и выглядел приличнее.

Я удивленно уставился на него.

— Это твой дед, — пояснила бабушка и обратилась к нему с вопросами. — Ну и где же ты болтался все эти годы? Все шлендрал со своими черномазыми цыганами?

Дед усмехнулся, но усмешка вышла кривая. Бабушка не отставала.

— Где был, я тебя спрашиваю?

— Там, в Сибири, — прошамкал дед и махнул рукой куда-то в сторону.

— Нашел ведь нас, — удивилась бабушка. — Значит, пока здоровый был, мы тебе не нужны. Я одна тащила четверых, а потом вот и его в придачу, — она кивнула в мою сторону. — А как хватил тебя паралик, так вспомнил о семье. Здорово живешь, что и говорить. Значит, кому-то мука□, а нам обсевки. А ты не подумал, на кой ты черт нам приснился. Анна одна горбатится на семью, и ты еще на ее шею намереваешься пристроиться.

Дед продолжал молчать. Он сидел, склонив голову, и я увидел, как по его щеке скатилась слеза.

У меня не было никаких чувств к этому старику. Я никогда не видел его, так же, как и он меня. Не было даже любопытства, а только какая-то брезгливая жалость.

Мать тоже встретила деда холодно. Она ни о чем его не спрашивала и не проявила к нему никакого интереса.

— Я вижу, чужой я вам, — с горечью пробормотал дед.

— А ты как думал? — озлилась бабушка. — Наше вам, явился на готовое. Подыхать приехал, лишнюю заботу нам принес.

Дед пытался обороняться.

— Не объем вас, работать буду.

— Как же, обыскались тебя на работе, — съязвила бабушка. — На что ты годен.

Но дед, действительно, стал работать. Он устроился сторожем в пионерский лагерь в Кара-Мазаре. Это была зона отдыха нашего предприятия, удивительно живописное место. Посреди распадка бежала горная речка с прозрачной и такой холодной водой, что купаться в ней было невозможно. В жару мы только окунались в заводь и тут же выскакивали на берег греться.

Кроме деда в зоне отдыха было еще два сторожа, пожилые таджики. Я приносил деду по выходным еду. Его частично парализовало, левая рука висела, как плеть, и он подволакивал правую ногу. При мне дед не откровенничал с другими сторожами, боялся, что расскажу бабушке, но я как-то подслушал.

Один из сторожей, Абдусалом, спросил деда:

— Цыгане совсем не наш народ. Как ты жил с ними?

— Э, милый, — ответил дед. — Только они понимают по-настоящему, что такое свобода. Мы все — рабы семьи, работы, государства, а они живут сами по себе, никому ничем не обязаны и ни от кого ничего не требуют. Что добыли, тем и довольствуются.

Я видел сквозь приоткрытую дверь лицо деда. Оно посветлело и сделалось мечтательным. И я понял, что он ничуть не жалеет о годах, прожитых вместе с беспокойным, кочевым племенем, и доведись ему повторить минувшие годы, проделал бы то же самое.

Конечно, я не сказал бабушке об этом разговоре, но с того дня дед мне стал ближе и понятнее.

В пионерском лагере он проработал чуть больше года. В середине весны пришел домой. Путь из Кара-Мазара в Адрасман дался ему нелегко. Лицо приобрело свинцовый оттенок, он тяжело дышал и тряпицей вытирал потный лоб.

— Чего явился? — бабушка бросила на него косой взгляд. — Небось пожрать домашнего захотелось?

— Помирать я пришел, — дед тяжело опустился на табуретку, привалился к стене и закрыл глаза.

— Как же, помирать! Да тебя дубиной не убьешь!

Но той же ночью дед умер. Он лежал неподвижно, дышал тяжело, с всхлипами. А потом затих.

Хоронили мы деда только своей семьей. Никто его не знал и не пришел проводить в последний путь.

Мать и бабушка были хмурыми и молчаливыми. Плакал только я один. Мне жалко было деда, к тому времени я уже прочитал «Кармен» Мериме, и мне казалось, что дед нашел для себя что-то такое, что никому, кроме него, не было ведомо.

В декабре 1958 года мы с матерью переехали в Чкаловск. Его тоже строили пленные немцы. Центр города, где располагался Дом культуры, Среднеазиатский политехникум и жилые дома, был необычным и походил скорее на слепок с какого-нибудь европейского города. Чкаловск являлся центром шестого комбината. Оттуда руководили всеми урановыми предприятиями, туда на завод приходило очищенное сырье и там же происходило обогащение урана. Ныне открыто пишут, что первая атомная бомба была изготовлена из таджикского урана, полученного в Чкаловске.

Въезд в Чкаловск строго контролировался. Дороги преграждали шлагбаумы, существовала пропускная система. Поодаль от города высились корпуса и трубы завода, и если заходила о нем речь, то говорили вполголоса и общими фразами.

Никто не знал, что там делается, кроме тех, кто непосредственно там работал. Но и они должны были держать язык за зубами.

Школа, в которую я пошел заканчивать десятилетку, была с математическим уклоном, это открытие меня огорчило до крайности. Я и с обычными математическими дисциплинами был не в ладах, а что уж говорить о высшей математике, занятия по которой проводились ежедневно после уроков. Я дважды посетил эти занятия. Ничего не понял из того, что говорила маленькая седоватая математичка, и перестал посещать их. Я блестяще отвечал на уроках гуманитарной направленности и бормотал что-то невразумительное на уроках физики, химии и тригонометрии. До выпускных экзаменов оставалось полгода, и меня оставили в покое, заверив мою мать, что аттестат зрелости я получу, нельзя, чтобы в престижной школе кто-то получил только справку о ее окончании. Такое заверение меня устроило, и я погрузился в чтение книг, благо в городском Доме культуры была великолепная библиотека. В Чкаловске имелся и спортивный комплекс. Там я впервые увидел настоящую олимпийскую штангу, записался в секцию тяжелой атлетики и стал серьезно тренироваться.

Месяца через два нам дали две комнаты в коммунальной трехкомнатной квартире, и мы перебрались туда. Угловую комнату занимали молодожены. Молодую супругу звали Аня, она приехала из Молдавии и работала на Ленинабадском шелковом комбинате. Никогда до этого я не видел такой красавицы. Она была смуглой, с правильными чертами лица, большими черными глазами, похожими на спелые вишни. Иссиня-черными, густыми вьющимися были и волосы, а белоснежные зубы так и сверкали, когда она улыбалась. Прибавьте сюда гибкую стройную фигуру, и вы получите представление о молодой молдаванке. Жизненная энергия била в ней ключом, и когда она шла по улице, все мужчины, независимо от возраста, глядели ей вслед.

Ее супруга звали Геннадием. Он работал штукатуром-маляром в строительном управлении. Был высоким, сутуловатым, с длинными, жилистыми руками. Геннадий являл собой разительный контраст по сравнению с красивой женой. Назвать его симпатичным не поворачивался язык. Кроме того, он не отличался общительным характером, был молчалив и сдержан. Жену он любил до безумия, ревновал ее ко всем и трудился сутками, чтобы удовлетворять ее прихоти.

В Молдавии Аня работала инструктором в райкоме комсомола. Теперь ей нужен был производственный стаж, после чего ее обещали отозвать в распоряжение ЦК ЛКСМ Молдавии, с перспективой перевода в Москву, в ЦК ВЛКСМ.

Ни до, ни после я не встречал человека, который был бы так одержим стремлением сделать комсомольско-партийную карьеру. Она только об этом и говорила. И замуж за Геннадия вышла только для того, чтобы укрепить свое рабоче-крестьянское происхождение.

Молодые супруги часто ссорились, причем Аня убегала из своей комнаты и ночевала у нас. Моя мать мирила их, но спокойствие было недолгим. А однажды разыгрался настоящий скандал. Аня узнала, что ее супруг восемь лет сидел в заключении за вооруженный грабеж. Напрасно Геннадий говорил ей, что это было по молодости, что к прошлому возврата нет и он любит ее больше жизни. Она ничего слышать не желала. Ее потрясла мысль, что теперь комсомольской карьере конец и ей суждено остаться кокономотальщицей до конца жизни.

Аня потребовала развода, Геннадий не соглашался, заявил, что они будут жить вместе и она поймет, что семья дороже ее комсомола. И тогда его убили. Удар был нанесен сзади под левую лопатку каким-то тонким и острым предметом. Это могла быть вязальная спица. Аня любила вязать, и у нее были спицы с зелеными пластмассовыми головками. Они исчезли, и у нее появились спицы с желтыми головками.

Следствие зашло в тупик. В прокуратуре пришли к убеждению, что Геннадия убили его бывшие подельники, которые снова хотели втянуть его в уголовную среду.

Что же касается меня, то я был убежден, что Геннадия убила Аня. Это была дикая, необузданная натура.

Супруг мешал ей, и она устранила это препятствие.

Мне было тогда семнадцать лет, я не имел никакого жизненного опыта и свои соображения оставил при себе, никому не рассказав о них.

Позднее, уже журналистом, я встретился с Аней. Она возглавляла комитет комсомола на шелковом комбинате. Мы говорили с ней о производственных делах и старались не встречаться взглядами. Она знала, что я догадался о том, кто убил Геннадия, и старалась поскорее отделаться от меня.

Немного погодя она уехала в Молдавию, а я до сих пор не могу решить — правильно ли поступил, не поделившись своими догадками со следователем. Но что скрывать, молодая молдаванка очаровала меня своей красотой, а в таких случаях все иные соображения отходят в сторону.

Полгода прошли незаметно, и настала пора выпускных экзаменов. Мне понаставили «троек», нас всех поздравили с окончанием средней школы, но вопроса — кем быть? — не стояло. Вышел Указ об обязательном двухгодичном производственном стаже, лишь приобретя который, можно было поступать в институты и другие специальные учебные заведения.

Аттестат зрелости нам на руки не дали. В городском Комитете комсомола мне вручили путевку на предприятие КИПиА, занимавшееся ремонтом точной измерительной аппаратуры, и началась моя трудовая жизнь.

Что интересно, хоть это и был шестой комбинат, занимавшийся производством урана, но такого понятия, как радиация, не существовало. Я ни разу его не слышал за все годы жизни в Адрасмане и Чкаловске. Мы лазили по отвалам, куда сбрасывали руду с бедным содержанием урана, проникали в штольни и шурфы и ни от кого не слышали, что это опасно для здоровья. Руду на завод доставляли в вагонах с предприятий в Узбекистане и Киргизии, машинами ее везли на завод. Водителям за смену полагалось делать четыре рейса, они, чтобы заработать побольше, совершали по восемь ездок и больше, и никто им в этом не препятствовал. Уже работая в КИПиА, я видел, как в обеденный перерыв слесари играли в домино или беседовали о чем-либо, сидя на свинцовых конвейерах, внутри которых находились ампулы с радиоактивным кобальтом.

Отрезвление пришло после чернобыльской трагедии, когда весь мир увидел, что такое радиация и какими жуткими сторонами может обернуться небрежность с использованием обогащенного урана.

Я был влюблен в Чкаловск и до сих пор вспоминаю его с теплым чувством. Это был островок благополучия и светлого бытия, таких городов я больше не видел.

Всякие города помимо того, что имеют свой неповторимый облик, обладают и своим, только им присущим запахом. Так, Канибадам пахнул розами. Его парк был засажен этими цветами, и летом, когда вечерами жар долгого дня неохотно уступал место вечерней прохладе, по городу растекался сладковатый аромат красных роз. Он был настолько силен, что от него кружилась голова, и казалось, что его волны хорошо различаются в прогретом воздухе.

Чкаловск же утопал в ночных фиалках. Эти скромные с виду цветы давали о себе знать с приходом сумерек, и тогда жители города выбирались в парк, на улицы, к скверу на центральной площади, и не было ни одного человека, кто бы не отдал должное запаху этих удивительных цветов.

В тот год в Душанбинском пединституте им. Т. Г. Шевченко от исторического факультета отделился факультет русского языка и литературы, и на него на первый курс предстояло набрать сразу сто человек. Пока же было всего семьдесят заявлений, до экзаменов оставалась всего неделя.

Слово «литература» прозвучало для меня, как аккорд торжественной музыки. Это было именно то, о чем я мечтал с детских лет.

Сочинение я написал на «отлично». Экзамен по литературе сдавал декану Нине Викторовне Рекутиной, грузной женщине с добродушным лицом. Она внимательно слушала мои ответы, задала несколько дополнительных вопросов, потом сказала: «Начитанность у тебя поразительная, если так же ответишь на вопросы по русскому языку, «пятерка» тебе обеспечена. Ты нам подходишь по всем статьям». Я покаялся, что с правилами по русскому языку у меня обстоит дело хуже, тем более что я уже отработал год на производстве и подзабыл даже то немногое, что знал.

«Пошли к русисту», — Нина Викторовна поднялась со стула. Преподаватель русского языка сидела в другом конце кабинета. Декан что-то прошептала ей на ухо, та согласно кивнула. Я подошел с видом человека, приговоренного к казни.

«Слово «быстро» — это какая часть речи?» — последовал вопрос.

Меня озарило: «Наречие». Нина Викторовна обрадовалась. «Вот видите, знает. Общая “четверка”».

От дальнейших экзаменов я был освобожден, поскольку набрал проходные девять баллов.

Началась студенческая жизнь. Библиотека института была в моем распоряжении, я проводил в ней все свободное время. Звание «племянник заведующей» было пропуском в книжный фонд, в котором я рылся беспрепятственно и читал все что мне хотелось. Фонд был очень богатым. С началом войны в Душанбе переправили много редких книг из Ленинградской государственной библиотеки, да так и оставили там. Это была подлинная сокровищница знаний, и я черпал из нее пригоршнями.

Правда, жилось голодновато. Мать присылала двадцать рублей, столько же была стипендия, и я никак не мог уложиться в эту сумму. Жил в студенческом общежитии. Кое-что мы готовили себе на плитке, а если у кого кончались деньги, то он ел за общественный счет, а потом так же на его деньги питались остальные.

Летняя сессия на втором курсе для меня прошла неудачно. Я сдал все зачеты и экзамены и завалился на английском. В школе, в Адрасмане, мы сперва учили немецкий язык, потом преподаватель уехал, его заменила «англичанка», и мы занимались английским. Но и это продолжалось недолго, уехала и англичанка, и мы занялись французским. Естественно, что я имел лишь общие представления об этих языках, а вузовская программа была сложной. В институте преподаватель английского языка не пожелала вникнуть в мое «языковое многообразие» и влепила мне жирный «неуд».

Это была настоящая беда, на полгода я оставался без стипендии. Летом, когда я приехал домой, мать вникла в мое положение, сказала, что вместо двадцати рублей будет посылать тридцать, но больше не может. Она жила вдвоем с бабушкой, и возможности ее были ограничены.

В институте я встречался с девушкой, ее звали Вероникой. Она была энергичной, входила в бюро вузовского комитета комсомола и никому не давала покоя.

На втором курсе меня избрали председателем студенческого научного общества. Естественно, я ничего не делал и никого не донимал научными проблемами. Месяца через три Вероника встретила меня у входа на факультет. «Чигрин, — жестко произнесла она. — В плане комсомольского бюро факультета стоит твой отчет о работе НСО». Отчитаться мне было несложно, поскольку с моей легкой руки такого общества не существовало. Я уклонялся от отчета как только мог, а она преследовала меня со всем пылом комсомольского активиста. Оставалось одно: парализовать ее лирикой.

«Слушай, — сказал я. — Пес с ним, с отчетом. Давай сходим в кино. Идет музыкальный фильм с Георгом Отсом в главной роли. Все хвалят эту картину».

Вероника озадачилась: «А билеты достанем?»

Билеты я достал, в кино мы сходили. За этим свиданием последовало другое. В судьбе Вероники было много общего с моей. Ее отца призвали на фронт в первый день войны, и ее последний день стал и для него последним. Он погиб в

Польше 9 мая 1945 года и там же был похоронен. Мать вторично вышла замуж — за мастера бурильных установок — и жила в городе Грозном. Отчим относился к девочке неплохо, но он сильно пил, а пьющий человек мало приятен в общении и быту. Так что жизнь у моей избранницы была нелегкой. Жила она на одну стипендию и при этом как-то умудрялась сводить концы с концами.

Вероника беспокоилась за мать, часто звонила в Грозный. Переговоры проходили глубокой ночью. Я провожал ее на Главпочтамт, потом мы шли по сонному городу обратно, и шаги отдавались звучным эхом в пустых улицах.

Неприятности преследовали меня. На городских соревнованиях в раздевалке у меня украли последние деньги, и я буквально завыл от горя. До следующего перевода из дома жить предстояло почти месяц. Товарищи по тренировкам, те, кто жили дома, приглашали меня поужинать у них, и я с благодарностью принимал эти предложения. Но это раз в сутки, а есть хотелось чаще. Стыдно признаться, но в студенческой столовой приходилось заниматься обыкновенным воровством. Вместе с Сашкой Кидяевым мы приходили в столовую, садились за стол и смотрели. Когда кто-то брал суп и уходил за вторым блюдом, мы утаскивали этот суп и ели из одной тарелки вдвоем. Хлеб в столовой был бесплатным, его давали сколько хочешь, и это было солидным подспорьем для нас. Мы чередовали ложку супа с куском хлеба и таким образом утоляли голод.

Впоследствии Александр Кидяев стал чемпионом и рекордсменом мира по тяжелой атлетике, поднялся на верх благополучия и уже не считал копейки в своем кармане. Мы с ним встречались на всесоюзных соревнованиях и со смехом вспоминали тот голодный период и наш, прямо скажем, не вполне пристойный промысел.

Как-то вечером, когда поужинать не удалось, я зашел в комнату в общежитии, где жила Вероника. У них было тепло, чисто и уютно. Девушки пили чай, предложили присоединиться, я был не в том состоянии, чтобы соблюдать достоинство. Жадно ел вареную картошку, хлеб, какие-то консервы.

После ужина вышли на улицу, сели на скамейку у нашего факультета. И тут меня осенило.

— Слушай, — сказал я. — Тебе живется трудно, я сижу на мели. Давай поженимся. Вдвоем легче будет. Если, конечно, у тебя есть какие-то чувства ко мне.

Чувства были, и она согласилась…

В то время я узнал правду о своем происхождении. Моя тетя решила порвать со своим мужем-узбеком. Он не работал и не собирался работать. Целыми днями ходил по двору с мухобойкой, а по вечерам поучал жену, как нужно жить, и упрекал, что в ее действиях и речах отсутствует логика. Почему-то эта философская категория занимала его больше всего.

Дело у них дошло до суда и раздела имущества. Он бился, как лев, за каждую чашку, табуретку и куски тканей. Но в семье было двое детей, они оставались с матерью, и, естественно, им полагалась большая доля имущества, если то, что они имели, можно было назвать имуществом. Тогда он решил нанести удар с другой стороны.

Вечером я возвращался с тренировки. Было уже темно, но уличные фонари светили ярко. Я вышел из троллейбуса на своей остановке и услышал, как кто-то окликнул меня. Оглянулся и увидел тетиного узбека. Он подошел ко мне, отвел в сторону.

— У меня к тебе серьезный разговор, — он торопился, брызгал слюной. Ему не терпелось моими руками отомстить своей жене. — Тебя всю жизнь обманывали. И Анна, и ее сестра Шура, и твоя бабушка. Все они. Мне всегда было тебя жалко. Ты не сын Анны. Твоя мать была Мария. Ты родился в Белоруссии, тебя записали русским, а ты белорус.

Я смотрел на его лицо, в котором явственно читалось злорадство. Он рассчитывал, что я сейчас же побегу к своей тете, учиню скандал, а потом рассчитаюсь

со своей приемной матерью за то, что они столько лет скрывали от меня правду. У меня же не было желания делать ни то, ни другое, ни третье. Кроме того, я не помнил свою родную мать. Для меня она была лишь ярким белым пятном на веранде канибадамского дома. На той постели лежал кто-то и протягивал ко мне руки. Вот и все. Моя же приемная мать сделала все что могла, чтобы вырастить меня и поставить на ноги. И в угоду вот этому нечистоплотному человеку я должен был разрушить все, что создавалось Анной на протяжении стольких лет. Да и тетя не заслуживала упреков; я ей был обязан тем, что учился в институте. Это она распахнула мне дверь в огромный мир литературы и тем самым определила мою судьбу.

Узбек переминался с ноги на ногу от нетерпения и ждал взрыва страстей. Я же спокойно смотрел на него. Я вспомнил, как однажды моя приемная мать спросила меня: «Ты хочешь другого папу?» Наверное, у нее появилась возможность устроить свою личную жизнь, и она решила выяснить мое отношение к этому. Но я слишком хорошо помнил своего родного отца, да признаться откровенно, примешивались и эгоистические соображения. Новый папа — это контроль за моей жизнью, а мне жилось вольготно, и ничего другого я не желал. И потому ответил: «Нет, не хочу!»

Моя приемная мать пожертвовала для меня всем, включая и личное благополучие, и я не собирался выяснять с ней отношения. Чувство признательности перевешивало все остальные соображения.

— Пусть так, ну и что? — спросил я.

Узбек чуть не взвыл от негодования.

— Как что? Тебя обманывали!

— В чем именно? — полюбопытствовал я.

— Ты — белорус, а говорили — русский.

— Ну и что? — снова повторил я. — Тебе-то что до этого?

Он решил сразить меня самым веским доводом.

— Ты бы поехал в Белоруссию, и тебя бы там не приняли.

Это было так нелепо, что я не мог удержаться от смеха.

— В Белоруссии полно русских, и они себя там неплохо чувствуют. Да признаться, я не вижу особой разницы между белорусами и русскими. И те, и другие — славяне и всегда найдут между собой общий язык. Знаешь что, — я взял его за пуговицу пальто, дернул и оторвал ее. — Я понимаю, чего ты добиваешься, и поэтому советую тебе пойти на... — и я пояснил, куда он должен пойти.

Он отбежал от меня и заорал:

— Я подам на тебя в суд. Я найду свидетелей, и они подтвердят, что ты хотел убить меня.

Я плюнул в его сторону и пошел домой.

Должно быть, он заявил тете, что открыл мне всю правду, и теперь она увидит, что с ними будет. Я приходил к тете, она с волнением и испытующе поглядывала на меня, быть может, ждала выяснения отношений, но я вел себя как обычно, никакого серьезного разговора не затевал, и она постепенно успокоилась.

Должно быть, тетя написала моей матери письмо, потому что, когда я приехал летом в Чкаловск на каникулы, мать достала из серванта все, что осталось от Марии — фотографии, два письма из Германии, и со слезами рассказала все подробности моей биографии. Я выслушал ее спокойно.

— Знаешь что, — спокойно сказал я. — Есть истина: мать — не та, которая родила, а та, которая воспитала. Ты была моей матерью и ею останешься.

На том разговор и закончился. Больше мы никогда не возвращались к этой теме, но моя мать стала спокойнее. Необходимость таить правду тяготила ее всю жизнь, и теперь этот давящий груз свалился с плеч.

Институт я закончил в 1965 году. Моя жена уже год работала в школе в небольшом городе Регаре, в шестидесяти километрах от Душанбе. Я ездил к ней по выходным дням или она приезжала в столицу республики. Я получил направ-

ление в Регар, учителем русского языка и литературы в среднюю школу. Но педагогика мало привлекала меня. Я рассчитывал отработать год, потом вернуться в Душанбе и устроиться корреспондентом на Таджикрадио, где меня уже хорошо знали и обещали хорошее место.

Но недаром говорится: человек предполагает, а Бог располагает. В мою судьбу вмешалась армия.

Я получил повестку явиться в райвоенкомат в Душанбе. Прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе в рядах Вооруженных сил страны.

Проходил я воинскую службу в мотострелковом полку в узбекском городе Термезе. Месячный курс молодого бойца, а затем нас определили в пустыню. Там строился танковый полигон, и мы должны были стоять в оцеплении, чтобы никто посторонний не проник на этот важный объект.

Там я во всей полноте понял, что такое пустыня. Она состояла не из песка, а из мелкой серой пыли, тонкой, как пудра. Те же классические барханы, но на них не поднимешься, в пыли утопаешь, как в воде. Она обезжиривала сапоги, сколько мы их ни пропитывали ваксой, но обувь лопалась, как картонная. Пыль проникала всюду, скрипела на зубах, от нее мучительно зудело тело, волосы походили на свалявший войлок, а глаза вечно слезились и были красны, как у кроликов.

Там же я понял, что такое настоящая жара. Днем столбик термометра поднимался до пятидесяти градусов в тени, было нечем дышать, и от духоты не было никакого укрытия. Все походили на рыб, вытащенных из воды. Воздух струился вверх и походил на стеклистое марево, дрожал и переливался. Часто возникали миражи. Мы видели зеленые сады, широкая река серебрилась под солнцем. Картины были настолько реальными, что мы смотрели на них, не отрывая глаз. Потом сказочный пейзаж начинал дрожать, размываться и исчезал, и снова вокруг простиралась серая, знойная пустыня.

Я в паре с душанбинцем Анатолием Сучковым охранял мост через сухой сай, русло некогда протекавшей тут реки. Сучков был талантливым астрофизиком. В двадцать три года он был уже кандидатом наук, в тридцать имел докторскую степень. Но тогда никто бы не угадал будущее светило науки в обгоревшем на солнце, красном как рак рядовом пехотинце. Один из нас в форме, с автоматом стоял у моста и проверял документы у проезжающих военных, другой лежал под мостом на расстеленной плащпалатке и изнемогал от духоты, которой, казалось, не было предела. Потом мы менялись.

Воду нам выдавали в пятидесятилитровой алюминиевой фляге. Бросали в нее обеззараживающие таблетки, и вода приобретала тошнотворный вкус. Больше трех глотков сделать было нельзя, она сразу же извергалась обратно. Именно тогда я понял мучения мифического царя Мидаса, который стоял по грудь в воде и не мог утолить жажду.

Ночь не приносила облегчения. Температура падала до нуля, и теперь мы страдали от холода. Мы тряслись от озноба и, чтобы согреться, совершали пробежки, утопая по щиколотки в пыли.

Как-то с приближением очередной ночи нас осенило. Вдали по берегу тянулись камышовые заросли. Они давно высохли, и камыш ломался с треском, обдавая лицо пыльной струйкой. Лучшее топливо для костра трудно было придумать.

— Вот дураки, — посетовал Сучков. — Сколько мучались, а тепло вот оно.

Мы наломали охапки камышовых стеблей, притащили их к месту своей стоянки и с наступлением темноты разожгли костер. Но блаженствовали мы недолго и вскоре с воплями отбежали в глубь пустыни. Со всех сторон к костру потянулись скорпионы и фаланги, маслянистыми лентами извивались змеи. Все живое в пустыне устремилось к спасительному теплу. С той ночи мы больше не разводили костер, предпочитая трястись от холода, но не соседствовать тесно со всем, что шипит, ползает и жалит.

Пустыня не приспособлена для жизни человека. Она враждебна ему. Мы видели муравьев величиной с сустав пальца. На длинных ногах они стремитель-

но передвигались по пыли. Если такой муравей впивался в обнаженное тело, то оторвать его было невозможно. Его жвалы так и оставались в коже, и их вырезали ножом. Место укуса потом распухало, и образовывалась кровоточащая рана. Не меньше мучений причиняли и комары. Они тоже были неимоверных размеров и легко пробивали своим жалом пропотевшую гимнастерку, белую от соляных разводов и коробящуюся на спине. Ощущение было такое, словно к коже приставляли горящую спичку.

От комариных укусов солдаты заболевали малярией. На руках и лицах появлялась пендинская язва. Круглая, как монета, она разъедала тело до кости и постоянно сочилась сукровицей. Боли от нее были нестерпимыми. Что показательно, я уже говорил об этом, но пендинская язва появлялась только у солдат, приехавших в Азию из России. Местные ею не заболевали. Излечивалась она трудно, но стоило уехать из Азии, и язва проходила сама собой, оставляя, правда, безобразные шрамы.

Разнообразию неприятностей в пустыне нет предела. Летом из соседнего Афганистана начинал дуть горячий, обжигающий ветер. На барханах появлялись пыльные смерчи.

Единственным спасением было обмотать голову мокрой тряпкой, набросить на себя плащпалатку и лежать, мучаясь от удушья и обливаясь клейким потом.

Но как бы то ни было, а армейская служба подходила к концу.

В Таджикрадио меня взяли редактором молодежных передач. Я много писал, заказывал материалы внештатным авторам, среди которых были очень квалифицированные мастера художественного слова. Круг моих знакомств необычайно расширился. Я постоянно выезжал в командировки и за короткое время объездил весь Таджикистан.

Так длилось в течение двух лет, пока мне не предложили перейти на работу в Таджикское телеграфное агентство.

В то время, по выражению одного экономического обозревателя, Таджикистан гудел, как кожа хорошо прогретого бубна. Сравнение несколько странное, но, в общем-то, точно отражало напряженную жизнь республики. В Таджикистане возводились объекты союзного значения, действовали предприятия, такие, как Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе, «Таджиктекстильмаш» и другие. Они поставляли свою продукцию сорока странам мира.

Именно в тот период по стране разнеслось слово «Нурек». На реке Вахш в Таджикистане, в знойном, узком ущелье началось сооружение гидроэлектростанции громадной мощности. Я пропадал там неделями. Каждая информация из города энергетиков шла «с колес». Газеты, радио и телевидение давали ее моментально, и было высшим журналистским удовлетворением видеть свою фамилию под экстренными материалами с пометкой «в номер».

В Нуреке в то время у меня произошла интересная встреча с Леонидом Ильичом Брежневым. Он должен был приехать в город энергетиков, чтобы познакомиться с сооружением мощной гидроэлектростанции и одновременно подарить Нурекской библиотеке автографов свои книги. В эту библиотеку присылали свои произведения видные писатели, государственные и общественные деятели с обязательной дарственной надписью, что само по себе было большой честью.

Я получил в ЦК Компартии Таджикистана необходимые сведения о визите Главы государства, написал предварительный материал и отправился в Нурек, чтобы на месте посмотреть — так ли все будет происходить, как предполагалось. Если понадобится, внести необходимые поправки и потом завизировать корреспонденцию, что означало разрешение к публикации.

Леонид Ильич прибыл в город, встречали его с большой помпой, торжественно. Гремела музыка, не смолкали аплодисменты, цветов было море и даже больше. Книги библиотеке были подарены, и Брежнев со свитой отправился в кабинет первого секретаря Нурекского горкома партии на кратковременный отдых.

Я кое-что поправил в написанном материале, теперь его предстояло завизировать и срочно ехать в Душанбе, где этот материал уже ждали все средства массовой информации.

Но кому отдать для прочтения? Мимо проходил заведующий отделом пропаганды и агитации горкома, с которым я был знаком. Он направлялся в кабинет, где находились высокие гости, я попросил его, чтобы секретарь горкома по пропаганде поставил свою подпись на этом материале. Заведующий взял мою корреспонденцию и скрылся за высокой, оббитой черной кожей дверью.

Я остался ждать в приемной. Она была до отказа заполнена всякого рода партийными и государственными чиновниками, кому по рангу не дозволялось находиться в присутствии Леонида Ильича, а можно было лишь следовать в отдалении. Все шепотом переговаривались, на лицах было разлито благоговение.

Шли минуты, вдруг дверь распахнулась, в ее проеме показался мой знакомый заведующий отделом. Он поискал меня глазами в плотной толпе и громко спросил: «Корреспондент, где ты? Давай скорей, Леонид Ильич тебя хочет видеть».

Я поспешил к двери, толпившиеся в приемной чиновники расступились, и меня сопровождали реплики: «Ну, сейчас Леонид Ильич даст ему жару»; «И поделом, пишут всякую чепуху», «Наверное, с работы попрут», «Поменьше бы этих писак, и воздух был бы почище».

Я шел, как сквозь строй, как приговоренный к казни, не хватало только шпицрутенов, которыми бы хлестали меня по спине. Видел злорадные лица и слышал обидные фразы в свой адрес.

Вошел в кабинет, подошел к столу, за которым сидело высшее руководство страны и республики, не зная, о чем думать и чего ожидать.

Я рассматривал Брежнева, как говорится, во все глаза, понимая важность момента. Выглядел Леонид Ильич неважно. Одутловатое лицо, под глазами набрякшие мешки, волосы редкие, с сильной проседью. Одни только знаменитые брови были широкими и густыми. Говорил Брежнев медленно и невнятно, при этом нижняя челюсть почти не двигалась.

Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Расулов, по обычаю, наливал из фарфорового чайника зеленый чай в пиалу, потом выливал его обратно в чайник, чтобы чай получше заварился. Затем налил чай в другую пиалу и подал ее Брежневу, в знак уважения прижимая руку к груди. Брежнев взял пиалу и заметил:

— Интересно получается, Джабар, свою чашку вон как прополоскал, а мне так в немытой чай предлагаешь.

Расулов смешался, стал торопливо объяснять, зачем он так делал, но Леонид Ильич уже не слушал его. Он обратил свое внимание на меня.

— Ты, что ли, корреспондент?

— Я, Леонид Ильич.

— Это ты написал? — Брежнев указал на листы, лежащие на столе.

Я не знал, чего ждать, и на всякий случай понурился, полагая, что услышу критику в свой адрес, но услышал неожиданное:

— Молодец, хорошо написал. Моим помощникам поучиться надо, коротко, а все есть, ничего не упустил. Толковые у тебя кадры, Джабар.

— Готовим, — тут же отозвался Расулов и одарил меня благосклонной улыбкой. — Мы, Леонид Ильич, пропаганде большое внимание уделяем.

— Так и надо, — отозвался Брежнев и снова посмотрел на меня.

— Я еще вот зачем позвал тебя. Нужно внести в материал небольшое дополнение. Ты, как автор, не возражаешь?

Мог ли я возражать?!

— Конечно, Леонид Ильич, все как скажете!

— Вот ты пишешь: Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Что, если мы еще вставим слово «товарищ»?

— Конечно нужно. Как это я упустил?!

— Ничего страшного, бывает, — и Брежнев своей рукой вписал «товарищ». — Вот теперь порядок. Еще что?

— Завизировать, Леонид Ильич, — поторопился я пояснить.

— Что писать-то надо?

— В конце материала поставить: «Верно. Разрешается к печати».

Брежнев написал и это.

— И... — он вопросительно посмотрел на меня.

— Подпись.

Генсек подписался.

— Число надо?

— Если не трудно.

— Чего трудного? — под подписью появился тот памятный день.

— Может, и время надо? — пошутил Брежнев.

Все засмеялись, отдавая должное юмору Генсека.

— Обойдемся, — я тоже улыбнулся.

— Ну, тогда на свои листы. Молодец, — еще раз повторил Леонид Ильич.

Я вылетел в приемную как на крыльях. Там было народу еще больше, но все разом расступились передо мной. И это понятно, я был согрет вниманием самого Главы государства. Быть может, не ошибусь, если скажу, что в тот миг вокруг моей головы светился нимб.

Я торопился, нужно было скорее ехать в Душанбе, но в коридоре случилась заминка. Налетел какой-то цековский работник и выхватил листы у меня из рук.

— Дайте сюда, — возмутился я. — Газеты ждут этот материал.

Партийный чиновник с благоговением рассматривал строки, начертанные рукой самого Генсека.

— Бесценный материал, — проговорил он, окидывая меня просветленным взором. — Можно сказать, документ эпохи.

— Дайте сюда, — повторил я и попытался вернуть свой материал, но чиновник оказался проворнее. Он спрятал листки за спину и упрекнул меня, как несмышленого ребенка: — Ты не понимаешь, что у тебя в руках. Это же сокровище. Ему место находиться в архиве партии.

— Газеты ждут, — обозлился я. — У меня нет времени выслушивать ваши поучения.

— Подожди, — сказал партийный деятель и скрылся в кабинете второго секретаря горкома партии.

Я услышал, как бешено застрекотала пишущая машинка. Минут через пятнадцать чиновник вынырнул обратно и подал мне заново отпечатанный мой материал. Его заверяла подпись второго секретаря и красовалась большая горкомовская печать.

— Можешь ехать, — разрешил он и с сожалением поглядел на меня. — Молод ты, не понимаешь, какой великой чести удостоился. Ну, ничего, когда-нибудь до тебя дойдет.

Я ехал в Душанбе и искренне сожалел, что материал с подписью Генсека у меня отобрали. Не знаю, как насчет бесценного документа эпохи, но корреспонденция с визой самого Леонида Ильича Брежнева была бы, конечно, не лишней в моем личном архиве.

Что же касается повышения по службе, то оно не замедлило состояться. На другой день я был назначен в ТаджикТА заведующим отделом культурной и спортивной информации.

Новый фронт работы был не менее интересным. Культура и спорт в республике были на подъеме. В Театре оперы и балета то и дело обновляли оперный репертуар, балетные спектакли собирали полный зал зрителей, особенно если в заглавных партиях была занята наша прима, народная артистка СССР Малика

Собирова. В Душанбе часто приезжала знаменитая Галина Уланова, что тоже было показателем высокого уровня таджикского сценического искусства.

В конце семидесятых годов прошлого века моего сокурсника Леонида Махкамова назначили главным редактором Госкино Таджикской ССР. Он позвонил мне и сказал: «Слушай, хватит тебе бегать по объектам, высунув язык. На киностудии «Таджикфильм» нужен главный редактор сектора хроники. Там занимаются выпуском документальных кинолент. Попробуй себя в новом качестве. Я уверен, тебе понравится».

Так я возглавил сектор хроники «Таджикфильма». Таджикское кино было тогда на подъеме. В год выпускали около двадцати документальных кинолент, научно-популярные, учебные, технико-пропагандистские и другие фильмы. Я планировал тематику, контролировал творческие процессы, писал сценарии и дикторские тексты. Не остался в стороне и от художественных фильмов. Сочинял для них диалоги, редактировал сценарии и написал литературный сценарий о Ходже Насреддине, по которому был отснят фильм.

В то время я еще раз встретился с Леонидом Брежневым, правда, уже заочно. Меня и директора киностудии Розию Иноятову вызвал к себе Первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Джабар Расулов. Он редко улыбался, а на этот раз выглядел еще озабоченнее.

— Вот что нужно, — сказал он без предисловий. — Смонтируйте документальный фильм о землетрясениях в Таджикистане. Все знают, что у нас сейсмически опасный район, но знать — это одно, а увидеть своими глазами — совсем другое. Не затягивайте картину, она должна «выстрелить» и в то же время потрясти всех, кто будет ее смотреть. Я дам распоряжение Институту сейсмологии и сейсмостойкого строительства, они выдадут закрытые материалы о трагических последствиях землетрясений в Таджикистане и определят консультанта. Используйте эти материалы, ну и текст, конечно, должен выжимать слезу. Срок — месяц.

Мы с Иноятовой переглянулись, недоумевая — зачем нужен такой фильм, тем более что Расулов предупредил нас: никакого тиража, только один экземпляр картины.

В Институте сейсмологии мы узнали остальные подробности. В республике велось масштабное строительство, а отпущенных средств не хватало. И тогда Джабар Расулов решил, что нужен такой фильм, который бы показал — какие трудности переживает Таджикистан и какие для этого нужны усилия и средства. Расчет был на дополнительные ассигнования.

Фильм о землетрясениях в Таджикистане мы сделали вовремя. В нем были леденящие душу кадры: разрушения, громадные провалы на дорогах, оползни, накрывшие целые кишлаки, многочисленные жертвы. Диктор комментировал все это вроде бы бесстрастно, но голос его то и дело подрагивал и прерывался. Словом, все было на высшем уровне.

Картина предназначалась для показа членам Политбюро ЦК КПСС и лично Леониду Ильичу Брежневу.

Расулов взял фильм и улетел с ним в Москву. Через неделю он вернулся. Мы ожидали известий, но их не было. Прошла неделя, другая. Потом нас снова вызвали в ЦК Компартии Таджикистана.

При виде нас с Иноятовой Расулов покачал головой.

— Удружили вы мне, — сказал он. — Чуть было мы не потеряли Таджикистан. Значит, так: о фильме больше ни слова, копия останется в нашем архиве. Негатив тоже привезти сюда.

С тем мы и ушли. В отделе пропаганды и агитации нас просветили. Фильм в Кремле показали. Брежневу оставалось жить полгода. Он сильно одряхлел, сделался излишне чувствительным, глаза то и дело увлажнялись слезами.

Картина закончилась. Брежнев заплакал. Расулов переглянулся с остальными членами таджикской делегации, можно было начинать разговор о дополнительном выделении средств. Но дальше произошло неожиданное.

— Бедные таджики, — проговорил Брежнев, всхлипывая и утирая глаза платком. — Это же надо так жить. Мало того, что одни горы, так еще и землетрясения их донимают. Джабар, сколько у тебя населения?

— Четыре миллиона, — тотчас же ответил Расулов.

— Только-то, так чего же тогда огород городить? В Сибири вон сколько земель пустует. Значит так, переселить всех таджиков в Сибирь, а их земли пусть без них трясутся.

Расулов похолодел. Это было совсем не то, на что он рассчитывал, показывая документальный фильм. Следовало как-то выходить из положения, отвлечь Генсека от только что просмотренных кадров, переключить его внимание на что-то другое.

— Леонид Ильич, — заторопился он. — Видели в титрах фамилию Чигрина?

— Видел, ну и что? — Брежнев заинтересованно посмотрел на Джабара Расулова.

— Это тот самый журналист, материал которого вам понравился в Нуреке, — пояснил Расулов.

— А-а, — протянул Брежнев. — Пишет все?

— Пишет, и неплохо. Недавно хороший материал опубликовал о нашем Южно-Таджикском территориально-производственном комплексе. Кстати, о комплексе.

И Расулов заговорил о новостройках республики, занимая внимание Генсека совсем другими проблемами. Землетрясения, и как следствие, переселение таджиков в Сибирь были забыты.

Ну а мне было приятно, что первое лицо страны хоть на мгновение, но еще раз вспомнило о моем существовании.

Я понимал, что в Таджикистане назревают серьезные потрясения, которые могут обернуться бедами для всего населения. Среди моих авторов были скрытые лидеры оппозиции, журналисты и политические деятели, прямо заявлявшие о своих намерениях осуществить в республике контрреволюционный переворот. К нам на «Таджикфильм» часто заходил наш куратор, подполковник КГБ Мавлонов. «Неужели вы не видите, что делается и к чему все идет?» — спрашивал я его. Он пожимал плечами и отговаривался невнятными фразами, вроде того, что пути, ведущие к демократии, редко когда устланы розами.

Таджикистан сотрясался, как от подземных толчков. На площади у здания ЦК собирались многотысячные толпы, шли непрерывные митинги, звучали призывы свергнуть Советскую власть и ликвидировать Коммунистическую партию. Отступники под одобрительные вопли жгли свои партийные билеты. Возникали палаточные городки сторонников оппозиции, сидение на площади оплачивалось. Для митингующих готовилась пища, открыто с подъезжающих машин раздавалось оружие. В столицу из горных районов доставляли все новые группы одурманенных разрушительной пропагандой полуграмотных людей.

Кульминацией антисоветских выступлений, осуществляемых под националистическими исламскими лозунгами, стало свержение памятника Ленину на центральной площади Душанбе. Ленин на заре Советской власти отвергал идеи тюркских националистов, не признававших таджиков как нацию, и добился создания Таджикской ССР, а не автономии в составе Узбекистана, как предлагалось. Он подарил таджикам государственность, которой они не знали на протяжении тысячелетия, и теперь памятник ему под одобрительные вопли и улюлюканье стаскивали с пьедестала. Подогнали кран, набросили монументу на шею трос и тянули, добиваясь его падения. Памятник упал, голова откололась, на поверженного вождя запрыгивали, топтали ногами, плевали. Это была вакханалия дикости и бесчинства.

Толпу подогревали самозваные религиозные деятели, звучали призывы к созданию исламского государства. Республика стала неуправляемой, сохранялась лишь видимость власти. На юге страны формировались проправительственные

силы, все решительнее заявлявшие о себе. Страна раскололась на два лагеря, достаточно было искры, чтобы разгорелось пламя гражданской войны. Население было запугано, люди отсиживались по домам. Грабежи и насилия стали обычным явлением, правоохранительные органы бездействовали, немалая часть их сотрудников перешла на сторону оппозиции.

В городе хозяйничала оппозиция. Въезд в него закрывала бронетехника, был введен комендантский час, на улицах то и дело звучали автоматные очереди. Людей, чем-то вызывавших подозрение, вытаскивали из квартир, и они бесследно исчезали. По рекам Вахш и Кафирниган плыли трупы. Родственники отыскивали своих погибших и, если удавалось их найти, хоронили тут же, в жилых кварталах. Ехать на кладбища боялись.

Противоборствующие стороны не смогли найти общего языка, и в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Ареной сражений стали Гиссарская и Вахшская долины. Об этой войне писалось немало, ее итоги трагичны: погибло около двухсот тысяч человек, экономика республики оказалась на нуле, десятки тысяч беженцев оставили свои селения и укрывались или в столице, или в соседнем Афганистане. Душанбе походил на цыганский табор. Беженцы набивались куда только могли: во дворы бездействующих предприятий, в студенческие общежития, в развалины на окраине города.

Республике грозили развал и утрата государственности. Слышались здравые призывы — сесть за стол переговоров и найти взаимоприемлемый выход. В городе Худжанде состоялась XVI сессия Верховного Совета республики с участием проправительственных сторонников и лидеров оппозиции. Чтобы ликвидировать безвластие, решено было избрать председателем Верховного Совета Таджикистана нейтрального человека, способного находить нужные решения и не бояться ответственности. Таким человеком стал председатель Кулябского облисполкома Эмомали Рахмон, молодой, энергичный и инициативный работник. Его кандидатура устроила всех. Лидеры оппозиции согласились видеть в нем главу правительства, втайне полагая, что Эмомали Рахмон недолго продержится на новом месте и его можно будет заменить своим выдвиженцем. Но они просчитались. Э. Рахмон оказался сильным политиком и сумел не только погасить гражданскую войну, но и вывести республику из того бедственного положения, в котором она находилась.

В период гражданской войны я занимался чем придется. Какое-то время работал членом сценарно-редакционной коллегии «Таджиктелефильма»; до той поры, пока телестудию не заняла оппозиция и не выдворила оттуда всех, кто казался ей лишними. Затем я трудился в Министерстве образования в Киноцентре, исполняя обязанности режиссера, сценариста, кинооператора, монтажера и так далее. Занимались производством учебных фильмов для школ и вузов республики.

В 1996 году в Душанбе открылся Российско-Таджикский (славянский) университет, в котором и работаю по настоящее время в должности старшего преподавателя на кафедре журналистики.

Мы пережили гражданскую войну, но все-таки городское население она задела лишь отчасти. Какой она была на самом деле и какие ужасы таила в себе, я понял спустя три года после ее окончания. Генеральная прокуратура республики решила сделать закрытый фильм об этой войне, я был включен в состав творческой группы. Материала имелось более чем достаточно. Сотрудники прокуратуры отсняли сорок видеокассет, на которых были запечатлены все этапы кровопролитного противоборства.

Увиденное потрясало. В подвалах мечетей хранилось оружие и были оборудованы пыточные комнаты. Пленных жгли паяльными лампами, с живых сдирали кожу, в ход шли хирургические инструменты, получившие иное применение. Мы видели массовые захоронения, когда живых людей складывали в ямах штабелями и бульдозеры засыпали их землей. Видели «живые виноградники». Годовалых и грудных детей подвешивали за ноги к виноградным шпалерам и так оставляли их. Видели «караваны смерти». Работникам КГБ и милиции выкалывали глаза,

раздевали догола и палочными ударами заставляли цепочкой брести в сторону Душанбе под палящим солнцем. Они сбивались с пути и умирали в страшных мучениях.

Это была вакханалия зверств и убийств, описание которой заняло бы немало томов. Фильм получился настолько страшным, что его решили не показывать даже своим сотрудникам и запрятали подальше в архив.

Белорусы часто встречались на моем жизненном пути. Я удивлялся энергии и чувству ответственности комсомольского секретаря в городе ковровщиков Кайраккуме Светланы Чигринской. На город обрушилась беда: от сильного землетрясения рухнули перекрытия ткацких корпусов комбината, пострадали жилые дома. Немало людей погибло, сотни остались без крова и пищи. Светлана работала сутками. Встречала и размещала строительные отряды, прибывающие из разных республик страны, раздавала гуманитарную помощь, организовывала временные детские сады. Эта хрупкая белокурая девушка с большими серыми глазами, казалось, не знала, что такое усталость.

Нельзя не отдать должное и майору Чигринцу, кряжистому, немногословному, служившему в 201-й дивизии. Когда в дни гражданской войны к Душанбе рвались отряды оппозиции, майор со своим батальоном прикрывал его с запада. Бои были тяжелыми, сам Чигринец был ранен, но отряды оппозиции не прошли. Мужество майора уберегло город от разрушений, грабежей и насилия.

В Белоруссии я побывал дважды. Первый раз в семидесятых годах, когда впервые был осуществлен авиарейс «Душанбе—Минск». Я должен был написать репортаж об этом перелете и за счет Таджикского Управления гражданской авиации слетал в Минск и обратно. Три дня я бродил по красавцу-городу и восхищался всем, что только попадалось на глаза. Разговаривал с жителями города и приятно убеждался в их открытости и доброжелательности.

Второй раз, уже через пятнадцать лет, вместе с командой таджикских штангистов находился на сборах в городе Лиде. Мы пробыли там три недели, и чувство радостного волнения переполняло меня.

Пейзажи, речь белорусов, все, что находилось в поле зрения, казалось мне знакомым. Наверное, это и есть проявление генетической памяти. И я почему-то уверен — доведись мне сейчас попасть в поселок Осинторф, в котором я родился, я вспомню все детали моего детства, хотя меня и увезли оттуда в четырехлетнем возрасте.

С легкой руки создателей художественного фильма «Белое солнце пустыни», кстати сказать, псевдовосточного, по свету пошла гулять фраза «Восток — дело тонкое». Как человек, всю жизнь проживший на Востоке, могу сказать, что ничего тонкого на Востоке нет, все откровенно, цинично и прямолинейно. Вас могут уверять в своей дружбе и тут же продать, причем нимало не смущаясь, давая понять, что это дело обычное. Наш Таджикистан — яркий тому пример. Поначалу ориентир был взят на Россию, но она в деловом плане показала себя ненадежным партнером. Из восьмидесяти с лишним договоров о сотрудничестве в разных сферах не был выполнен ни один. Тогда стрелка взаимодействия была переведена на страны Ближнего Востока, которые многое обещают, но… нужно расстаться с прежним стратегически партнером. Выводы и решения не замедлили последовать. Был принят еще один закон о государственном языке, в соответствии с которым русский язык практически выводится из употребления. Все делопроизводство, все формы общения только на государственном языке. Журналистам, пишущим на русском языке, в организациях разного рода отказывают в информации. Разговор должен идти только на таджикском или английском языках. Издать книгу на русском языке уже практически невозможно. Граждане Таджикистана, не знающие государственный язык, будут наказываться. Правда, в какой форме, об этом пока не говорилось.

Республиканские газеты, доказывая свою лояльность правящей элите, усердствуют, обливая Россию грязью. Ее называют рабовладельческим государством, причем в роли рабов выступают таджики, находящиеся в Российской Федерации на заработках. Это и криминальная страна с фашистским режимом, это страна, не скрывающая своего двуличия, и так далее, и тому подобное. Однако миллион таджиков, которые держатся на плаву и кормят свои семьи только благодаря России, со счета не спишешь. Нужно оторвать их от России, и с Саудовской Аравией заключается договор о трудовых мигрантах. Она согласна принять этот миллион рабочих на льготных условиях и всех профессий, начиная от специалистов с высшим образованием и заканчивая пастухами.

Таджикистан перешел на рельсы создания исламского государства. Правда, в декламациях на разных уровнях еще звучат слова о светском, демократическом и правовом государстве, но действительность показывает иное. Одна за другой возводятся мечети, заложена крупнейшая в Средней Азии мечеть, которая будет строиться на средства Саудовской Аравии. Религиозность становится нормой жизни. Лидеры партии Исламского возрождения Таджикистана, деятельность которой запрещена во всех азиатских республиках, кроме Таджикистана, откровенно заявляют, что через десять лет Таджикистан будет исламским государством. Эта партия растет как на дрожжах. Ежемесячно в ее ряды вливается до пяти тысяч человек.

Десять лет назад, до начала политического противостояния, в Таджикистане проживало около полумиллиона русскоязычного населения. Ныне, согласно статистике, это количество уменьшилось до двадцати тысяч человек. Новый закон о языке и откровенная конфронтация с Россией направлены на то, чтобы довести процентное содержание русскоязычного населения в Таджикистане до нуля. Оно больше не нужно, более того, стало мешать, и делается все, чтобы выдавить его остатки за пределы республики.

В чем же тогда глубокомысленная суть фразы «Восток — дело тонкое»? Как видите, все предельно откровенно, без всяких оправданий и попытки сделать, как говорится, хорошую мину при плохой игре.

Путин, еще будучи Президентом Российской Федерации, как-то заявил, что из стран бывшего постсоветского пространства в Россию уехали все кто хотел. Остались те, кто не пожелал уехать. Эти слова показали, насколько плохо ориентирован Владимир Владимирович в делах соотечественников. Они не уехали не потому, что не захотели этого, а потому, что были лишены такой возможности, тем более что Россия при всех заявлениях о внимании к соотечественникам, находящимся в странах Ближнего зарубежья, всегда занимала позицию стороннего наблюдателя.

В период гражданской войны в Таджикистане Израиль и США присылали сюда самолеты и вывозили евреев бесплатно в свои страны, создавая там все условия для сносного существования. Россия не сделала даже попытки осуществить что-либо подобное.

Взять хотя бы мою семью. Мы не могли уехать, потому что на руках у нас были две престарелые женщины, одна — мать жены, пережившая две чеченские боевые кампании, потерявшая там мужа, контуженная и наполовину парализованная. Мы с трудом вывезли ее из Грозного, и везти ее еще куда-либо уже не было никакой возможности. Она недавно умерла в возрасте девяноста трех лет. Теперь с нами доживает свой век моя приемная мать, которой осталось четыре года до векового рубежа. Она ослепла и оглохла, и переезд с ней в иные края просто физически невозможен. Это та ситуация, которая держит нас на мели крепче иного якоря.

Я все чаще размышляю о Белоруссии, внимательно слушаю звучащие по радио сообщения о событиях в ее внешней и внутренней жизни. Российские комментаторы не без досады сообщают, что в Белоруссии рыночная кооперация экономик «снизу» преодолевает все бюрократические преграды. Сильное

государство, как ни клянут «авторитаризм» Лукашенко, позволило именно Белоруссии создать конкурентоспособную экономику. Уже пройдена черта, когда белорусский экспорт в страны ЕС превзошел по стоимости поставки в Россию. Мировой кризис застал динамичную экономику Беларуси на восходящем десятипроцентном росте ВВП.

Белорусы выказали, в отличие от россиян, обретающихся в «продвинутой» рыночной России, духовную стойкость и здравый смысл, не позволив разбазарить свою страну, отдать ее национальное богатство сотне политических проходимцев-реформаторов.

Меня такие сообщения радуют. И каково же было мое удивление, когда в Армении на Форуме писателей-переводчиков я разговорился со своими земляками и услышал упреки в адрес президента Лукашенко, дескать, он увлекся мировой политикой и забыл о своем народе, игнорирует белорусский язык и все прочее. Вот уж поистине: лицом к лицу лица не увидать или, как говорится, за деревьями леса не видно. Я посоветовал бы этим радетелям за народ пожить в условиях среднеазиатской феодально-байской системы при абсолютном бесправии народа и ужасающей нищете. Может, тогда у них пошире бы раскрылись глаза на происходящее в Беларуси.

Когда-то в школе на уроке биологии учитель рассказывал нам о миграции птиц. Осенью они улетают в жаркие страны, а весной возвращаются в родные края. Он говорил, что ученые еще не выяснили до конца секрета их ориентации в пространстве. Как они находят дорогу, скажем, в Африку, а затем обратно в Таджикистан? Например, наши ласточки зимуют в Сомали, и едва на календаре обозначается конец марта, собираются домой, где остались их гнезда. Иные утверждают, что они руководствуются в полете магнитным полем земли, другие, что в генетическую память птиц заложены картины ландшафта… «Лично я полагаю, — заявил тогда наш учитель, — что их ведет зов родной земли. Удаляясь от нее, они слышат ослабевающий сигнал, а приближаясь к ней, все более нарастающий». Ныне я согласен с тем давним учителем. Зов родной земли — великая сила, и не моя вина, что я лишен возможности откликнуться на него. Может, когда-нибудь…

Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность познакомиться с белорусским писателей Алесем Карлюкевичем. Его внимание и поддержка идут от сердца, и пробуждением моего национального самосознания я во многом обязан этому искреннему и душевному человеку.

В этих записках я не ставил своей целью воспроизвести свою биографию, мне хотелось показать, как пробуждается национальное «я» у человека, волею судьбы оказавшегося вдали от родины. Мне кажется, этот процесс сходный у всех, кого оторвали от отчего края, и с каждым годом зов родины становится все слышнее. Другое дело, что не у всех есть возможность расправить крылья и полететь туда, где впервые открыл глаза и увидел яркие краски родины.

В начале «Записок» я рассказал о старике, который брел в свое горное селение затем, чтобы если не оживить его своим трудом, так хотя бы лечь в родную землю и тем самым сделать ее плодороднее. Пока что я далек от этой мысли. У меня есть возможность сказать добрые слова о Беларуси, и я счел необходимым сделать это. Пусть они вольются в общую признательность родной земле за ее щедрость и великодушие к своим питомцам. Так трель еще одной птицы придает общему хору пернатых большую звучность и напевность.

Душанбе,
сентябрь—декабрь 2009 года

ЭММАНУИЛ ИОФФЕ

Ковалевы в истории Беларуси

Вы задумывались, какая самая распространенная фамилия в мире? Оказывается, Ковалев, он же Кузнецов в России, он же Смит — в Англии и США, Шмидт — в Германии, Ковальски — в Польше, Ковач — в Венгрии и т. д., то есть фамилии — производные от слова, обозначающего мастера, занимающегося ручной ковкой...

Ковалевы... Какова их роль в истории Беларуси советского периода?

Двух из них звали Михаилами — Михаил Прокофьевич и Михаил Васильевич, а третьего — Афанасием, точнее, Афанасием Федоровичем.

В нашей республике хорошо известно имя Михаила Васильевича Ковалева — Председателя Совета Министров БССР 1986—1990 годов. Менее известны, особенно молодежи, имена командующего войсками Белорусского Особого военного округа 1938—1940 годов, комкора, а затем командарма 2-го ранга Михаила Прокофьевича Ковалева, ставшего впоследствии генерал-полковником, и Председателя Совета Народных Комиссаров БССР 1937—1938 годов Афанасия Федоровича Ковалева.

Самым старшим из упомянутых Ковалевых был Михаил Прокофьевич, который родился 7 июля 1897 года, а самым младшим — Михаил Васильевич, жизненный путь которого начался 16 августа 1925 года.

В такой последовательности мы и начнем свой рассказ, при подготовке которого использованы разнообразные источники, в том числе фонды Национального архива Республики Беларусь, где кроме личного дела М. А. Ковалева хранятся его личный фонд, материалы, находящиеся в Российском государственном военном архиве и Российском государственном архиве новейшей истории, периодическая печать 1937—2009 годов, многочисленные опубликованные и неопубликованные материалы.

Михаил Прокофьевич

Родина Михаила Прокофьевича Ковалева — станица Брюховецкая, ныне Брюховецкого района Краснодарского края. Здесь в крестьянской семье начался его жизненный путь. В 1915 году Михаил был призван в русскую армию, окончил школу прапорщиков и во время Первой мировой войны в звании штабс-капитана командовал полуротой, ротой и батальоном.

Во время Гражданской войны Михаил Ковалев в качестве командира полка и бригады участвовал в боях против войск Деникина и Врангеля. После войны командовал стрелковой дивизией и корпусом. В 1924 году он окончил Военную академию РККА, которой потом было присвоено имя М. В. Фрунзе.

Михаил Прокофьевич стал героем двух литературных произведений — повести «Красный десант» Дмитрия Фурманова и повести «Горный поход» Бориса Горбатова.

В годы Гражданской войны комбриг М. П. Ковалев был ближайшим помощником и соратником легендарного командарма Е. И. Ковтюха в знаменитом «красном десанте» в улагаевский тыл.



Михаил Прокофьевич Ковалев.

«С ним (командующим Е. И. Ковтюхом. — *Э. И.*) рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник — Ковалев. От контузии ему перекосило лицо. На сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву, сколько раз он побывал в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз он был поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек — не понять...

Я видел его потом в бою — такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев, — много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат... и остаются в тени».

Эти слова из повести «Красный десант» принадлежат талантливому советскому писателю Дмитрию Фурманову. Сказаны они о комкоре Михаиле Прокофьевиче Ковалеве, которого писатель знал лично.

В период между Гражданской и Великой Отечественной войной М. П. Ковалев возглавлял поход в Аджарию против вторгшихся туда националистических банд. Этому событию известный советский писатель Борис Горбатов посвятил свою повесть «Горный поход».

С июня 1936-го по декабрь 1937 года Михаил Прокофьевич был комендантом и военным комиссаром Забайкальского укрепленного района, а с декабря 1937-го являлся заместителем командующего войсками Киевского военного округа. В 1937 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР (по 1946 г. — *Э. И.*).

В апреле 1938 года комкор Ковалев был назначен командующим войсками Белорусского Особого военного округа. Начальником штаба стал комдив М. А. Пуркаев. Членами Военного совета в 1938—1939 годах были комкор Ф. И. Голиков, корпусной комиссар И. З. Сусайков, корпусной комиссар И. В. Рогов.

В то время Военный совет БОВО во главе с Ковалевым особенно большое внимание уделял оперативной подготовке командиров и штабов. Многие из командиров и начальников, выдвинутых на руководящие должности, не имели достаточного опыта управления войсками, упускали в своей практической деятельности ряд ключевых вопросов, определяющих уровень боевой выучки и боеготовности соединений и частей.

Об этом, в частности, свидетельствовали результаты проверки работы некоторых корпусных и дивизионных штабов во время зимних тактических учений 1939 года.

Среди тех, кто командовал полками и дивизиями округа, были будущие известные советские военачальники — генерал армии К. Н. Галицкий и Маршал Советского Союза А. А. Гречко.

В конце 1938 года по инициативе командующего войсками БОВО М. П. Ковалева командир 3-го кавалерийского корпуса Г. К. Жуков был выдвинут



Михаил Прокофьевич Ковалев (слева).

на должность заместителя командующего войсками Белорусского Особого военного округа по кавалерии. Через много лет Георгий Константинович в своей книге «Воспоминания и размышления» писал:

«В 1938 году, как я сказал, на должность командующего Белорусским военным округом был назначен М. П. Ковалев. Михаила Прокофьевича я знал по гражданской войне, его назначили командующим войсками округа в порядке выдвижения, кажется, с должности заместителя командующего войсками округа. Человек он был весьма душевный, в оперативно-стратегических вопросах разбирался неплохо, но сильнее чувствовал себя в вопросах тактики, которую теоретически и практически освоил очень хорошо...

В конце 1938 года мы, командиры всех соединений округа, были вызваны на совещание, где обсуждались итоги и задачи боевой подготовки войск.

Выступали командующий войсками округа М. П. Ковалев и член Военного совета И. З. Сусайков. Выступление М. П. Ковалева было встречено хорошо. Он говорил со знанием дела...

В конце 1938 года мне предложили новую должность — заместителя командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии...

Распрощавшись с командирами и политработниками дивизий и частей корпуса, я уехал в Смоленск, где в то время стоял штаб Белорусского военного округа, и очень тепло был встречен командующим войсками округа М. П. Ковалевым».

К лету 1939 года сухопутные войска БОВО состояли из управлений 3 армейских групп, 5 стрелковых, 2 кавалерийских, 1 танкового корпусов, 13 стрелковых, 6 кавалерийских дивизий, 8 легких танковых, 1 моторизованной стрелково-пулеметной и 1 авиадесантной бригад.

В конце августа 1939 года в Смоленске состоялось совещание партийного актива Белорусского Особого военного округа, на котором выступил командующий войсками БОВО командарм 2-го ранга Ковалев. Он говорил о необходимости сохранения полной боевой готовности частей и соединений в приграничных районах, о продлении запрета на отпуска и длительные командировки военнослужащих, вывод войск в лагеря, а артиллерии на полигоны[1].

С именем Михаила Прокофьевича Ковалева связан освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года.

Именно тогда в начале Второй мировой войны после разгрома Польши Германией немецкие войска приблизились к границам СССР.

В соответствии с секретным протоколом к Советско-германскому пакту о ненападении 23 августа 1939 года советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии и Западной Украины.

---

[1] Третьяк С. А. Воссоединение Беларуси // Армия. 1999, № 4.

Из войск Белорусского Особого военного округа создается Белорусский фронт (командующий — командарм 2-го ранга М. П. Ковалев, члены Военного совета — первый секретарь ЦК компартии Белоруссии П. К. Пономаренко, корпусной комиссар И. З. Сусайков, начальник штаба комкор М. А. Пуркаев). В его состав входили: 3-я армия под командованием комкора В. И. Кузнецова, 11-я армия комдива Н. П. Медведева, 10-я армия комкора И. Г. Захаркина, 4-я армия комдива В. И. Чуйкова, фронтовая конно-механизированная подвижная группа комкора И. В. Болдина, 23-й отдельный стрелковый корпус и Днепровская флотилия.

Командование фронта создало три подвижные группы (Полоцкую, Минскую и Дзержинскую) и поставило перед ними следующие задачи: полоцкой группе к исходу 18 сентября освободить Свенцяны, Михалишки, в дальнейшем — Вильнюс; Минской — к исходу того же дня — Ошмяны, Ивье, а затем продвигаться к Гродно, Дзержинской — 18 сентября выйти на рубеж реки Щара и продвигаться на Волковыск.

Наиболее ожесточенное сопротивление встретили части Дзержинской конно-механизированной группы в Гродно. Бои за город продолжались в течение 20—21 сентября. В ходе боев с польскими частями и ополченцами в Гродно 15-й танковый корпус потерял до 16 танков, 47 военнослужащих убитыми и 156 ранеными.

17 сентября — 12 октября 1939 года войска Белорусского фронта в ходе Польской кампании заняли территорию Западной Белоруссии, что позволило завершить территориальное объединение Белорусской ССР.

Всего в ходе освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию потери Белорусского фронта составили 996 человек убитыми и 2002 ранеными. Для сравнения: потери немецких войск составили 10,6 тысячи убитыми, 30,3 тысячи ранеными и 3,4 тысячи пропавшими без вести, а Польши — 66, 3 тысячи убитыми, 133, 7 тысячи ранеными и около 420 тысяч попало в плен[1]. В период с 17 по 30 сентября войсками фронта было интернировано и разоружено более 60 тысяч польских военнослужащих, в том числе более 2 тысяч офицеров.

Таким образом, будучи в сентябре—ноябре 1939 года командующим войсками Белорусского фронта, командарм 2-го ранга Ковалев руководил его освободительным походом в Западную Белоруссию, в результате которого произошло воссоединение белорусского народа.

В фондах Российского государственного военного архива под грифом «Совершенно секретно» хранится отчет штаба БОВО «О работе штабов корпусов и армий Белорусского фронта за период проведения операции в Западной Белоруссии» от 16 ноября 1939 года, подписанный начальником штаба Белорусского фронта комдивом Климовских, военным комиссаром штаба бригадным комиссаром Березкиным и начальником оперативного отдела полковником Сандаловым. В разделе V этого отчета под названием «Управление войсками» есть такие строки:

«Выводы:

1. Управление войсками через делегатов связи, хотя и создавало большую напряженность в работе штабов, но применялось наиболее полно и являлось наиболее надежным средством управления.

3. Самолеты связи У-2 являются незаменимыми средствами управления связи. В летную погоду они сильно облегчают работу штабов всех степеней.

7. Предварительные распоряжения в работе штабов, в условиях подвижных действий войск, нашли полное применение и во всех случаях сыграли громадную роль в управлении войсками.

8. Шифроотделы и отделения со своей работой справились отлично»[2].

---

[1] Надточаев В. Н. Военная контрразведка Беларуси. Судьбы, трагедии, победы... Мн., 2008.

[2] Российский государственный военный архив. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 408.

И хотя фамилия командующего войсками Белорусского фронта Ковалева в отчете не упоминается, эти выводы свидетельствуют о его вкладе в укрепление обороноспособности БССР и всего Советского Союза.

Об авторитете командующего войсками БОВО говорит тот факт, что в 1938—1940 годах М. П. Ковалев избирался членом ЦК и Бюро ЦК Компартии Белоруссии, а в 1938—1947 годах — депутатом Верховного Совета БССР. В 1939 году он был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

Во время советско-финляндской войны Михаил Прокофьевич командовал 15-й армией, а в мае 1940 года был назначен командующим войсками Харьковского военного округа. Затем Ковалев занимал ответственную должность инспектора пехоты РККА.

В июне 1941 года командарм 2-го ранга Ковалев назначается командующим войсками Забайкальского военного округа, который с началом Великой Отечественной войны был преобразован в Забайкальский фронт. В 1943 году ему присваивают воинское звание генерал-полковника.

С июля 1945 года он был назначен заместителем командующего войсками Забайкальского фронта и в этом качестве с августа 1945-го участвовал в войне против империалистической Японии.

В октябре 1945 года Ковалева назначают командующим войсками Забайкальско-Амурского военного округа. В 1948-м он окончил Высшие академические курсы при Военной академии генерального штаба.

В марте 1949 года Михаил Прокофьевич стал помощником командующего войсками Ленинградского военного округа, а в 1955-м был переведен в запас.

Генерал-полковник М. П. Ковалев был награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Трудового Красного Знамени РСФСР, Красной Звезды, многими медалями, а также иностранными орденами.

Его не стало 31 августа 1967 года — на 71-м году жизни.

Афанасий Федорович

В отличие от «премьер-министров» БССР Дмитрия Жилуновича, Александра Червякова, Иосифа Адамовича, Николая Голодеда и Данилы Волковича, пострадавших от политических репрессий, только Афанасий Ковалев остался жить и работать, хоть и не на прежнем высоком посту.

Афанасий Федорович Ковалев родился 15 декабря 1903 года в деревне Лошница Борисовского уезда (теперь Борисовский район. — *Э. И.*) в многодетной крестьянской семье. Первую половину 1920-х годов работал на железнодорожной станции Приямино: путейцем-ремонтником, грузчиком шпалопропиточного завода, заведующим складом лесоматериалов. Афанасий был бойцом ЧОНа, активистом местной комсомольской ячейки. В 1924 году избирался председателем сельского Совета. Знаменательным для него стал 1926 год, когда Ковалев стал коммунистом и окончил Витебский кооперативный техникум. Последующие годы он находился на советской, партийной и кооперативной работе в Борисовском районе.

В 1932 году Афанасий Федорович окончил высшие педагогические курсы в Ленинграде, в затем учился в Московском заочном институте советской торговли. Затем он преподавал в Витебском кооперативном техникуме, а с 1934 года находился на партийной работе, являясь секретарем парткома Витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации», инструктором, заместителем заведующего отделом пропаганды и культуры, первым секретарем Витебского горкома партии.

С 8 сентября 1937-го по 22 июля 1938 года Афанасий Федорович находился на ответственном посту Председателя Совнаркома БССР. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета БССР, входил в состав ЦК КП(б)Б и Бюро ЦК КП(б)Б, был председателем организационного комитета Верховного Совета по образованию Минской области.

Через полвека в своей книге «Колокол мой — правда» (Мн., 1989) А. Ф. Ковалев писал:

«...Вспоминалось мое назначение Председателем Совнаркома Белоруссии. Обстановка была крайне сложной. В большинстве наркоматов не было наркомов. Работали «врио» — временно исполняющие обязанности наркома. Не был укомплектован аппарат Совнаркома и Госплана...

Первое время в работе СНК мы считали самым важным и неотложным подбор кадров. В наркоматы и управления пришли новые люди. И. Г. Журавлев и Н. А. Ананьев работали, не жалея сил. Они были для меня надежной опорой.

...В тяжелых условиях моей работы в Совнаркоме БССР я многое понял, во многом разобрался, отчетливо видел перспективы развития народного хозяйства республики. Все мои помыслы были направлены на решение основных ключевых задач.

В экономике республики завершался процесс социалистической реконструкции народного хозяйства. На первое место выдвигалось развитие тяжелой индустрии. Предусматривалось расширение металлообрабатывающей, машиностроительной и перерабатывающей промышленности, создавалась энергетическая база в размерах, необходимых для полной электрификации всех производственных процессов в промышленности, а также увеличения добычи торфа, производства строительных материалов из местного сырья.

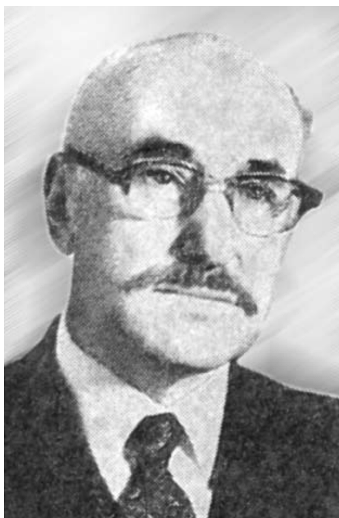
В планах на 1938 год большое место занимало развитие социально-культурных мероприятий: строительство школ, детсадов, библиотек и клубов. Ассигнования средств на социально-культурные мероприятия составляли большую половину всех бюджетных расходов. Это вызывалось необходимостью повышения общеобразовательного уровня населения, подготовки и переподготовки кадров. Ведь только в 1937 году в основном была ликвидирована неграмотность взрослого населения в Белоруссии.

Транспорт был узким местом в народном хозяйстве республики. Автомобильный транспорт, хотя и увеличивался с каждым годом, все же далеко не обеспечивал народнохозяйственные перевозки, а пассажирские перевозки и автотранспортная связь с глубинными районами республики в то время почти не существовали.

Наряду с увеличением автотранспорта расширялось дорожное строительство. Заканчивалась прокладка очень важных магистралей для республики: Могилев—Минск, Могилев—Бобруйск. Строились гравийные дороги, связывающие районные центры республики.

Завершалось строительство одной из лучших автомобильных дорог СССР — шоссе Минск—Москва, пересекающее восточную часть БССР...»

С именем А. Ф. Ковалева связаны подготовка и проведение в Минске в ноябре—декабре 1937 года выставки «БССР за 20 лет», посвященной 20-летию Октябрьской революции, строительство первой очереди Оршанского льнокомбината, создание в январе 1938 года в БССР Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской и Полесской областей, проведение в феврале 1938 года художественной выставки в Минске, посвященной 20-летию РККА, и создание Бобруйского колхозно-совхозного театра, проведение в мае 1938 года 1-го Всебелорусского совещания работников высшей школы, реорганизация Могилевского исторического архива в Центральный государственный исторический архив БССР (в 1963 году был переведен в Минск. — *Э. И.*), постановление СНК БССР об организации в


Афанасий Федорович Ковалев.

Минске театрального училища, открытие в Гомеле Государственного кукольного театра.

Через много лет А. Ф. Ковалев напишет:

«В ноябре 1937 года открылась Всебелорусская выставка «БССР за 20 лет». Она была посвящена 20-й годовщине Октябрьской революции. Часть разделов размещалась в Доме правительства, часть в Доме Красной Армии, носившем имя Ворошилова. Они показывали состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, связи, изобразительного искусства и торговли.

Ярко были показаны экспонаты художественного промысла. Демонстрировался, например, чернильный прибор из 2320 кусочков древесины разных пород, шахматный столик, изготовленный из 4634 кусочков дерева разных пород... Демонстрировались также замечательные изделия мастеров художественной вышивки, вязания, ткачества и др.

В городе Слуцке возрождалось изготовление знаменитых художественных поясов...

Под оперативным контролем Совнаркома находились крупные объекты строительства. Назову хотя бы несколько таких объектов в Минске: здание Театра оперы и балета, 1-я клиническая больница, Библиотека им. В. И. Ленина, Дворец пионеров, окружной Дом Красной Армии. Готовился генеральный план застройки города»[1].

К сожалению, многое из задуманного Афанасий Федорович не успел завершить. В кратких набросках к повести «Моя жизнь», написанных в феврале—декабре 1964 года, есть такие строки:

«Когда меня арестовали, мне было 36 лет.

...Для меня имело исключительное значение открытие в августе 1939 года в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В организации этой выставки с самого начала мне пришлось принимать непосредственное участие. Начиная с утверждения проекта и проведения строительства белорусского павильона, который и сейчас находится в Москве и в настоящее время используется под выставку экспонатов достижения народного хозяйства БССР. Строительству этого здания — павильона я уделял много внимания. Отбор экспонатов на сельскохозяйственную выставку мы проводили на протяжении 1937—1938 годов, готовили людей, кадры, определяли показатели, коим должны соответствовать представляемые на выставку экспонаты. Много было проделано работы по подготовке к этой выставке — старались показать Белоруссию, которая созидательным трудом своего народа стала одной из передовых республик Советского Союза. Но результатов своего труда мне не пришлось увидеть. Многие были награждены правительственными наградами, среди награжденных были и такие, которые издали, и то в последнее время, наблюдали за этой выставкой, однако были удостоены высшей правительственной награды ордена Ленина...»[2]

25 января 1939 года Афанасий Ковалев был арестован органами НКВД. Через много лет он вспоминал:

«После девятисуточного стояния на допросах ноги и руки распухли. Лицо отекло. Я с трудом передвигался. Ноги не вмещались в штанины, пришлось разорвать их на коленях, а на ноги надеть галоши, которые носил раньше на сапогах. Физически я был сломлен, духовно — нет.

---

[1] Ковалев А. Ф. Зеленое и черное. Докум. повесть // Нёман, 1990, № 9.
[2] Национальный архив Республики Беларусь (далее — НА РБ). Ф. 1416. Оп. 1. Д. 54.

В таком виде я и предстал перед наркомом внутренних дел БССР Л. Ф. Цанавой. Он пожелал лично допросить меня.

Посреди кабинета, куда меня ввели, стоял длинный стол, в конце которого сидел небольшого роста человечек. Черный, с большим носом.

Цанаву я встречал будучи на свободе, на совещаниях в ЦК КП(б)Б, которые проходили в кабинете П. К. Пономаренко. Теперь вот я стоял перед ним как подследственный. По моему виду он мог судить, как старательно потрудились его подчиненные

— Да, как видно, живется вам тут неважно. Комфорт тут тюремный. Самый подходящий для врагов народа, ха-ха-ха, — ехидно смеялся Цанава. Ему угодливо улыбались присутствующие здесь же работники старшего состава аппарата НКВД.

Цанава, довольный своим остроумием, продолжал некоторе время молча рассматривать меня с ног до головы, потом изрек:

— Нам нэт неабхадымасти вазиться с тобой, нам все известно. Ты безусловно, враг, и будэм судыть, как врага народа. Но мы хатым облегчить твою участь тэм, что ты чыстасэрдэчна расскажешь о своей враждебной работе...

Это были те же слова, которые много раз говорил следователь. Ничего нового. Это еще больше убеждало меня, что обвинение построено на клевете.

В душе я радовался, что сильнее их, что на моей стороне правда.

— Ты должен правдиво рассказать все, — продолжал Цанава. — От нас ничего не скроешь. Гавары!

— Мне нечего скрывать! — ответил я. — Вам, как и следователю, я говорю только правду. Лично вам хочу кое-что добавить.

При этих словах Цанава даже вытянул шею, выпучил глаза, весь напрягся.

— Вот-вот. Давай, все рассказывай!

— Врагом Советской власти, Ленинской партии я никогда не был и не буду. Произвол, который творится в этих стенах, — это грубейшее нарушение советских законов! — сказал я. — Вы говорите, что все знаете и можете судить меня. Так судите открытым, гласным судом, где бы я мог выступить перед народом, перед моими избирателями, которые избрали меня депутатом Верховного Совета СССР и БССР, чтобы я мог сказать, что все предъявленные мне обвинения построены на лжи и клевете...

Цанава стукнул кулаком по столу, лицо его налилось кровью, а черные усы неестественно шевельнулись.

— Хватит! Мы тебя сейчас разоблачим. Введите сюда Пивоварова! — крикнул он.

Ввели Пивоварова, бывшего наркома просвещения БССР. Его арестовали раньше меня и так обработали, что, если бы не была названа фамилия, я бы его не узнал: живой скелет с горящими, воспаленными глазами. Голова втянута в приподнятые плечи. Он с трудом передвигал ноги...

Когда я услышал весь вздор о его «сознательном вредительстве», мне стало жаль этого человека. Как искалечили его морально и физически!

...Цанава с видом победителя заявил, что и мне бесполезно отпираться, нужно, как и Пивоварову, признаться в своей вредительской контрреволюционной работе.

— Все, что я слышал здесь, — вздор, глупейшая ложь, и вы, гражданин нарком, это хорошо знаете.

Цанава вскочил из-за стола, пробежал по кабинету. Остановился возле меня, затопал ногами, закричал:

— Ты подлец, ты злейший враг!

— Я честный человек, а вы совершаете враждебное дело, — отвечал я.

Цанава пришел в ярость.

— Уведите эту сволочь. В карцер его!»[1]

Афанасий Федорович стойко держался на допросах, не признал за собой никакой вины и не оговорил других.

В своем аресте Ковалев обвинял Цанаву и Пономаренко. Сначала он не мог себе представить, что Пономаренко не только дал санкцию на его арест, но и инициировал его.

В воспоминаниях Афанасия Федоровича есть такие строки:

«Пономаренко сдержал слово. Он послал меня на «учебу». Только не в учебное заведение, а в тюрьму, за решетку».

...В октябре 1940 года Прокурор СССР по надзору за судебно-следственными органами вынес решение об освобождении Ковалева из тюрьмы ввиду отсутствия состава преступления. Постановление было злодейски скрыто, и Афанасий Федорович об этом не знал. В 1941 году он был сослан в Омскую область.

7 апреля 1942 года начальник тюрьмы прочитал Ковалеву постановление, в котором было сказано, что Прокуратура СССР рассмотрела материалы его следственного дела. Она нашла, что предъявленные ему обвинения были основаны на ложных, клеветнических показаниях и что те, кто давал эти показания, впоследствии отказались от них, признав, что оклеветали Афанасия Федоровича под нажимом следователей.

В 1943 году Ковалев был реабилитирован. Он работал директором заготовительной конторы Дубровенского района Омской области.

Через 21 год он писал:

«29 марта 1943 года меня вызвали в Москву, в ЦК КП(б)Б...

Добился я приема у М. И. Калинина. Рассказал ему все подробно. И подал заявление о восстановлении меня в правах депутата Верховного Совета СССР. Михаил Иванович тут же при мне выяснил в управлении делами, что мой депутатский билет не аннулирован. Дал указание выдать мне мой билет депутата Верховного Совета Союза ССР. Я получил свой прежний за № 787, который был мне вручен еще в 1937 году, как избранному депутатом Верховного Совета СССР от Витебского сельского избирательного округа. Справедливость восторжествовала. А управление делами выдало мне деньги, которые причитались мне на депутатские расходы. Полученные деньги я отдал в фонд обороны»[2].

Вскоре Афанасий Федорович был восстановлен в партии. С августа 1944 года Центросоюз направил его работать в Молдавию заместителем председателя правления республиканского Союза потребкооперации. В 1947—1960 годах он работал заместителем председателя правления Белкоопсоюза.

Ковалев был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

Он был автором документальных повестей «Колокол мой — правда» (1988, 1989) и «Зеленое и черное» (1990).

Свою книгу воспоминаний «Колокол мой — правда» Афанасий Федорович закончил словами: «Я счастлив, что удалось дожить до таких времен, когда Правда, очищенная от наслоений времени и благодушных иллюзий, уверенно пробивает себе дорогу».

А. Ф. Ковалева не стало 20 июля 1993 года. Ему шел 90-й год.

---

[1] Ковалев А. Ф. Колокол мой — правда. Мн., 1989.

[2] НА РБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 54.

Михаил Васильевич

Его, главу правительства БССР, называли в народе «премьером-строителем», потому что Михаил Васильевич Ковалев был заслуженным строителем Белоруссии и значительную часть жизни работал в строительной отрасли, где прошел путь от мастера до заместителя министра строительства БССР.

Государственный деятель БССР Михаил Ковалев родился 16 августа 1925 года в деревне Дубровница Климовичского района Могилевской области. С сентября 1943-го по май 1945 года он был участником Великой Отечественной войны на Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах.

Ковалев был рядовым 66-го запасного стрелкового полка, замковым 45-мм орудия 1095-го стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии, связистом взвода управления противотанковой батареи 45-мм орудий 1289-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии на Белорусском и 1-м Белорусском фронтах, связистом 694-го отдельного батальона связи 2-го Белорусского фронта.

За боевые заслуги он был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

В ноябре 1945-го — мае 1946 года М. В. Ковалев был курсантом Рязанского артиллерийского училища, а с мая 1946 по февраль 1948 года в звании ефрейтора — старшим телефонистом 31-го гвардейского артиллерийского полка Московского военного округа.

После демобилизации — с 1948 года Михаил Васильевич работал на Минском мотороремонтном заводе, а в 1949-м получил аттестат зрелости в 9-й средней школе рабочей молодежи города Минска. В 1954 году окончил Ленинградский горный институт и работал мастером, прорабом, начальником строительного управления стройтреста № 1 г. Минска. В 1962—1966 годах Михаил Васильевич — начальник стройуправления, управляющий стройтрестом в Солигорске. С 1966-го до декабря 1967 года Ковалев был заместителем министра строительства БССР. В 1964 году ему присваивают почетное звание «Заслуженный строитель Белорусской ССР».

С декабря 1967 по январь 1977 года Михаил Васильевич работал председателем Минского горисполкома. Среди всех мэров Минска, начиная с 1917 года и до наших дней, по продолжительности пребывания на этом посту М. В. Ковалев занимает второе место, уступая только своему предшественнику В. И. Шарапову, который был председателем Минского горисполкома в 1954—1969 годах.

В 1960-х годах активизировалось внедрение в общественную жизнь минчан советских праздников и обрядов. С особой торжественностью проходили празднества, посвященные юбилейным историческим датам. С большим эмоциональным подъемом в 1974 году отмечалось 30-летие освобождения Беларуси, накануне которого 26 июня 1974 года Минску было присвоено почетное звание «Город-герой».

После утверждения в 1965 году нового генплана города возведение микрорайонов приняло массовый характер (Восток, Серебрянка, Юго-Запад, Зеленый Луг).

В 1970—1980 годы высотная застройка появилась на проспекте Победителей, улицах Горького (современная улица Богдановича), Захарова. Новое оформление получила площадь Ленина (ныне Независимости).

В начале 1976 года была сдана в эксплуатацию Вилейско-Минская водная система — система водоснабжения Минска посредством переброски воды из Вилии (бассейн Нёмана) в Свислочь. Эта система предназначалась для водообеспечения промышленности и коммунального хозяйства Минска и водного благоустройства пригородной зоны.

Значительно возросло с конца 1960-х годов внимание властей, и прежде всего М. В. Ковалева, к проблемам архитектурного наследия Минска. Началась

реставрация ряда памятников архитектуры — в 1972—1979 годах была восстановлена Петро-Павловская церковь.

Именно со второй половины 1960-х годов Минск становится одним из наиболее значительных центров не только экономического, но и политического международного сотрудничества, политических форумов и встреч.

Наиболее богатыми на международные форумы стали для Минска 1970—1980-е годы. 11—12 июля 1972 года состоялась встреча представителей 12 стран мира под девизом «Пусть никогда не повторится трагедия Хатыни, Лидице, Орадура, Хиросимы, Сонгми». В мае 1975 года в Минске состоялась международная встреча сторонников мира, посвященная 30-летию Победы над германским нацизмом. На ней присутствовало 140 участников из 38 стран и многих международных организаций. В августе 1975 года в рамках Международного года женщины Минск принимал участниц Международной встречи женщин, которая проходила под девизом «Женщины в борьбе против фашизма, за прочный и справедливый мир на всей земле». На этой встрече присутствовали представительницы международных и национальных женских организаций из 27 стран.

Одним из важнейших направлений зарубежных связей Минска, которому большое внимание уделял горисполком во главе с Ковалевым, стало побратимское движение. Так, в 1973 году Минск установил дружественные связи с городам Сендаем (Япония), Бангалором (Индия), в 1976 году — с Лионом (Франция).

Побратимские связи со столицей Анголы — Луандой стали налаживаться в соответствии с рекомендациями ЦК КПСС и ЦК КПБ в адрес Мингорисполкома после посещения Советского Союза президентом Анголы А. Нетто. Они были налажены в 1976 году.

Будучи мэром города, Ковалев уделял особое внимание состоянию городских парков. В 1975 году Парк культуры и отдыха имени Победы в Центральном районе, который функционировал с 1945 года как городская зона отдыха в районе Комсомольского озера, был преобразован в Парк культуры и отдыха. В том же 1975-м территория Парка культуры и отдыха имени Челюскинцев была расширена с 56 гектаров до 78.

Михаил Васильевич придавал большое значение установке новых и бережному отношению к старым памятникам. В период его работы были установлены надгробные памятники Якубу Коласу (1970), Янке Купале (1971) на Военном кладбище, В. И. Козлову (1969), Н. Н. Чуркину (1971), П. Глебке (1974), С. О. Притыцкому (1975) на кладбище по Московскому шоссе, памятник в Университетском городке студентам и преподавателям БГУ, погибшим во время Великой Отечественной войны (1975).

В 1977—1978 годах Михаил Васильевич работал первым заместителем председателя Госплана БССР. 6 октября 1978 года его назначают заместителем, а 1 апреля 1983-го — первым заместителем Председателя Совета Министров БССР.

В январе 1986-го — апреле 1990 года Ковалев — Председатель Совета Министров Белоруссии. Он внес определенный вклад в развитие экономики, науки и культуры республики.

С его именем связано: вступление в эксплуатацию нового аэровокзала в Бресте (8 ноября 1986 года), нового участка Минского метрополитена до станции «Восток», ввод в действие Барановичского станкостроительного завода, второй очереди Белорусского металлургического завода в Жлобине. Мозырского и Борисовского заводов крупнопанельного домостроения, Полоцкого молочного комбината, Браславского молочного завода, Жодинского хлебозавода, начало работы международного аэропорта «Минск-2» (28 марта 1989 года), восстановление Спасо-Евфросиньевского женского монастыря в Полоцке, создание Дрибинского района Могилевской области.


Михаил Васильевич Ковалев.

С 1 января 1987 года на хозяйственный расчет в Белоруссии перешли предприятия легкой, автомобильной, нефтехимической промышленности, приборостроения и ряда других отраслей (их доля составила более 30% всей промышленной продукции республики), что не замедлило сказаться на динамике развития экономики БССР в целом. За 1988—1989 годы валовой национальный продукт увеличился на 15 %, национальный доход — на 14 %, объем промышленного производства — на 27,3 %, производительность труда — на 26 %.

Михаил Васильевич был авторитетным руководителем. С его мнением считались первые секретари ЦК КПБ Н. Н. Слюньков и Е. Е. Соколов, руководящие работники ЦК КПБ.

В периодической печати нашей республики публиковались материалы, обвиняющие бывших руководителей республики — первого секретаря ЦК КПБ Н. Н. Слюнькова и Председателя Совета Министров БССР М. В. Ковалева — в том, что они не приняли должных мер по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Действительно, Михаил Васильевич возглавил правительство республики 10 января 1986 года — за три с половиной месяца до техногенной катастрофы, ставшей национальной трагедией для Беларуси, Украины, России. Но его трудно обвинить в бездействии. Приведем только один документ, который хранится в фондах Российского государственного архива новейшей истории под грифом «Секретно». Это письмо Председателя Совета Министров БССР М. В. Ковалева в Совет Министров СССР «Об упорядочении предоставления льгот и компенсаций в отдельных районах Белорусской ССР, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС» от 22 июня 1987 года. Приведем отрывки из этого документа:

«Проведенные в апреле—мае 1987 г. обследование и инструментальные замеры в населенных пунктах Гомельской и Могилевской областей Белорусской ССР, подвергшихся загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что в них заметных изменений радиационной обстановки по сравнению с декабрем 1986 года не произошло и только несколько изменились границы загрязненных территорий...

Учитывая это, Совет Министров Белорусской ССР просит распространить действие пункта 1 постановления Совета Министров СССР от 22 августа 1986 г. № 1006 — 286 на 66 населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей, приложение № 1...

Поэтому Совет Министров БССР просит сохранить льготы, определенные вышеуказанным постановлением, для жителей 21 населенного пункта до последующего обследования территории республики, приложение № 3...

Учитывая, что пенсионеры и дети не получают дополнительного материального обеспечения, необходимого для приобретения чистых продуктов, Совет Министров Белорусской СССР просит разрешить выплату пенсионерам, проживающим в зоне с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения местности, денежного пособия в размере 20 рублей на каждого, а также установить бесплатное содержание детей в дошкольных учреждениях и питание школьников в указанных населенных пунктах Гомельской и Могилевской областей из расчета 1 руб. 20 коп. на одного ребенка в день...

Председатель Совета Министров Белорусской ССР

М. В. Ковалев»[1].

---

[1] Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 89. Оп. 56. Д. 11.

В 1990 году М. В. Ковалев серьезно заболел. В отличие от больных — Л. И. Брежнева и его соратников, остававшихся на своих постах, в частности, К. У. Черненко, который, будучи смертельно больным, рвался к посту Генерального секретаря ЦК КПСС и занимал его больше года, не прося об отставке, М. В. Ковалев подал следующее заявление:

«...Вся моя самостоятельная жизнь и трудовая деятельность в течение 47 лет была посвящена защите Отечества и социально-экономическому развитию родной Советской Белоруссии.

Начал я самостоятельную жизнь восемнадцатилетним юношей в 1943 году солдатом в окопах Отечественной войны. Почти два года я не выходил с переднего края фронта, за исключением нахождения в госпитале по причине тяжелой контузии.

...Однако в последнее время резко ухудшилось состояние моего здоровья, и по этой причине я не могу в полной мере, как это требуется в настоящее время, выполнять обязанности Председателя Совета Министров БССР.

Поэтому прошу Бюро ЦК КПБ освободить меня от занимаемой должности в связи с ухудшением состояния здоровья и ходатайствовать о назначении мне пенсии.

29 марта 1990 года

Ковалев»[1].

Эта отставка была принята 6 апреля 1990 года.

Кроме боевых наград Михаил Васильевич был удостоен орденов Ленина, Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», многих медалей. За время трудовой деятельности он избирался членом ЦК и Бюро ЦК КПБ, народным депутатом СССР и БССР.

М. В. Ковалев умер 5 июля 2007 года.

В некрологе «Ковалев Михаил Васильевич», подписанном С. С. Сидорским, Г. В. Новицким, В. Н. Коноплевым и другими руководителями нашей республики, говорилось:

«...Всю свою трудовую жизнь он связал с родной белорусской землей. В годы Великой Отечественной войны он воевал в составе I и II Белорусских фронтов. В самый знаменательный для нашей страны день — 3 июля 1944 г. — на броне танка М. В. Ковалев был в числе первых, кто ворвался в г. Минск, принеся опаленной войной белорусской столице освобождение от фашизма.

...Возглавляя исполком Минского городского совета депутатов трудящихся в 1967—1977 годах, Михаил Васильевич активно решал экономические и социальные вопросы столицы, стоял у истоков создания Минского метро.

За время работы Председателем Совета Министров БССР М. В. Ковалев проявил себя как руководитель высокого государственного уровня, который сумел сплотить вокруг себя профессионалов и коллектив единомышленников, что способствовало стабильной работе экономики нашей страны и созданию положительного имиджа республики.

Судьба подарила этому человеку яркую, наполненную добрыми делами и уважением окружающих жизнь...»[2]

У читателя могут возникнуть вопросы. Что было общего у всех Ковалевых? Были ли они знакомы, встречались ли они?

Они не были родственниками, а только однофамильцами. Михаил Прокофьевич был кадровым военным с высшим военным образованием, Афанасий Федорович, имея образование кооператора и педагога, был партийным работником, прежде чем возглавить правительство республики, а Михаил Васильевич окончил горный институт, но стал строителем, заместителем министра строительства,

---

[1] НА РБ. Ф. 4 п. Оп. 159. Д. 2884.

[2] Рэспубліка, 2007, 7 ліпеня.

советским работником высшего уровня до назначения главой правительства БССР.

Двое из них — Афанасий Федорович и Михаил Васильевич — были белорусами, и только Михаил Прокофьевич по национальности русский, уроженец Краснодарского края.

Общим в судьбе всех названных Ковалевых было то, что они внесли заметный вклад в развитие экономики, науки и культуры Беларуси, как Афанасий Федорович и Михаил Васильевич, в укрепление ее обороноспособности и единства, как Михаил Прокофьевич.

Есть все основания полагать, что М. П. Ковалев хорошо знал А. Ф. Ковалева. Ведь оба они были в 1938 году членами ЦК и Бюро ЦК КП(б)Б, встречаясь на пленумах ЦК Компартии Белоруссии, на XVII съезде КП (б)Б, а также как депутаты Верховного Совета БССР.

В документальной повести «Зеленое и черное» А. Ф. Ковалев вспоминал:

«В июне 1938 года, всего лишь год спустя после XVI, состоялся XVII съезд КП(б)Б...

Съезд длился девять дней. В состав бюро ЦК вошли П. К. Пономаренко, присланный из Москвы; А. А. Ананьев; Н. Я. Наталевич; ...М. П. Ковалев — новый командующий Белорусским военным округом, ... а также я».

Что касается М. В. Ковалева, он, будучи в 1950-х годах начальником строительного управления стройтреста № 1 города Минска, вполне вероятно, мог встретиться со своим однофамильцем А. Ф. Ковалевым, работавшим в то время заместителем председателя Белкоопсоюза.

Думаю, что все три Ковалева достойны того, чтобы их имена навсегда остались в благодарной памяти белорусского народа.



ИРИНА ШАТЫРЕНОК

На Нёмана зеленых берегах

I. «Гродненский район богат культурными традициями»

По итогам областного конкурса «Учреждения культуры года» за 2010 год Гродненский отдел культуры стал победителем. Неутомимый Игорь Владимирович Лебецкий, начальник отдела культуры Гродненского района, искренне радуется этому признанию, так как это заслуга всех работников культуры района, которые выбрали не работу, а служение искусству, литературе. Потому что просто работать в культуре — невозможно, считает он, ей надо быть увлеченным, если не одержимым, такими, как художественный руководитель заслуженного детского ансамбля танца «Лялечки» Обуховского центра культуры и досуга района Надежда Ивановна Урюкина или директор Гродненской районной централизованной библиотечной системы Галина Владимировна Дятчик.

И кому, как не Игорю Владимировичу, рассказать о том, что делается сегодня на культурной ниве Гродненщины.

Ирина Шатыренок: *Игорь Владимирович, журнал «Нёман» знакомит своих читателей с культурой районов Беларуси, и конечно, не мог обойти вниманием Гродненский район, богатый традициями, историей и интересными событиями. И есть что-то символическое в том, что на страницах журнала рассказываем о регионе, по территории которого протекает красивейшая река Нёман, которая и подарила название изданию. Есть ли у Гродненского района то, что отличает его от других районов страны, и вообще, правомерен ли такой вопрос?*

Игорь Лебецкий: Гродно — один из старейших городов Беларуси, уникальный город-памятник под открытым небом, наиболее полно сохранивший архитектурное наследие прошлого. Старинный город, его пригородные поместья и усадьбы связаны со многими историческими фигурами, которые оставили глубокий след в культуре Беларуси. Это Элиза Ожешко, Ефим Карский, Валерий Врублевский, Алоиза Пашкевич (Тетка), Казимир Альхимович, Адам Мицкевич, Максим Богданович, Василь Быков и другие.

Не удивительно, что город Гродно оказывал влияние на окружающие его территорию земли: Гродненский район также богат своими культурными традициями, архитектурным и духовным наследием. Исторически сложилось, что наш район граничит с соседней Литвой и Польшей, эта близость отразилась на общественно-политической, религиозной и культурно-художественной жизни. Народные промыслы, обряды, обычаи, архитектурные памятники составляют мощный пласт историко-культурного наследия.

В государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, которые находятся под охраной государства, включены 12 памятников истории, 58 — археологии, 16 — архитектуры, а также уникальный памятник,

шедевр гидротехнического строительства — Августовский канал, форты Гродненской крепости 1887—1915 гг. Сохранился шлюз 180-летней давности с надписью на стене «Немново — сердце Августовского канала». Уникален по своей красоте Святский дворцово-парковый ансамбль, построенный итальянским архитектором Джузеппе Сакко в 1779 году в родовом имении князей Воловичей. На землях Гродненского района сохранилось множество памятников сакрального зодчества — церквей и костелов XVIII—XIX веков, в стиле неоготики, позднего барокко, классицизма, эклектики, построенные на пожертвования как богатых князей, купцов, так и самих прихожан. Многие из них действующие, находятся под охраной государства.

Недавно мы принимали с ответным визитом делегацию из Житковичского района Гомельской области, в мае представители Гродненского района побывали у наших коллег. И если сравнивать народное творчество двух районов, то, конечно, оно имеет отличительные особенности. На Полесскую глубинку наложила отпечаток отрезанность долгое время от центральных дорог. Фольклорные народные группы Полесья отличаются от песенных традиций Гродненщины не так праздниками в календаре, как внутренним содержанием и художественным наполнением обрядов, иногда — манерой исполнения тех или иных произведений. Думаю, какое-то своеобразие есть в каждом районе.

И. Ш.: *Накладывает ли на современную жизнь свои особые знаки насыщенная богатыми событиями история района? Какие культурные мероприятия Вы хотели бы отметить?*

И. Л.: Думаю, да. Более 10 лет подряд мы организуем открытые региональные праздники народного творчества: «Августовский канал в культуре трех народов» и «Августовский канал приглашает друзей».

Августовский канал — одно из живописнейших и красивейших мест в Гродненском регионе. С его возрождением и реставрацией как важнейшего звена международного туристического комплекса по программе Еврорегиона «Нёман» уже стало традицией открывать ежегодные туристические сезоны. В районе шлюза «Домбровка» устраиваются праздничные мероприятия. Традиционно приезжают лучшие творческие коллективы из Беларуси, России, Польши, Литвы. Нам есть что показать зрителям, чем встретить гостей. Наши лучшие коллективы участвуют во всех праздниках. Это народный ансамбль песни и танца «Ніва» Вертелишского центра культуры и досуга, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Лялечки», образцовая студия эстрадного танца «Галактика-В», образцовый духовой оркестр детской музыкальной школы Поречья, творческий коллектив Индурского центра культуры и досуга, народный вокальный ансамбль «Зарачанскія крынічкі» Заречанского сельского клуба, народный мужской вокальный ансамбль «Память» Путришского центра культуры и многие другие.

В Поречье на базе музыкальной школы один раз в два года проходит открытый областной праздник духовых оркестров «Фанфары сяброў». Несмотря на свой молодой возраст — провели пока только два фестиваля, — он пользуется популярностью, а по составу участников из разных стран превращается в международный. Красивое представление собирает много зрителей. Представьте себе: участники духовых оркестров из Минска, Москвы, Новороссийска (Россия), Алитуса (Литва), Суховоли (Польша), Гродненской области в сопровождении девушек-мажореток в нарядных костюмах проходят под звуки популярных маршей по улицам Поречья. Все это выглядит очень зажигательно, торжественно. Духовые оркестры на праздниках демонстрируют публике высокий уровень мастерства своих оригинальных концертных программ. Почетные участники фестиваля — духовые оркестры областного управления МЧС и Гродненского погранотряда.

У района насыщенная культурными событиями жизнь. Ежегодно подводим итоги смотра среди клубов по вокально-хоровому, хореографическому, театрально-драматическому и семейному творчеству, награждаем лучшие фольклорные коллективы. Самодеятельные артисты участвуют в фестивале «Между нами,

соседями», районном фольклорном на Августовском канале, районном фестивале творчества учащихся музыкальных школ и школ искусств «Музычны красавік», во всех районных сельскохозяйственных ярмарках, а также в праздниках, посвященных знаменательным датам, таким, как День Победы и другие.

И. Ш.: *Вы и вся команда Ваших коллег-единомышленников, работающих в сфере культуры, устраиваете праздники для других. Как вам живется в этом вечном празднике танцев, песен и фестивалей?*

И. Л.: Хорошо живем, потому что нравится то, чем мы занимаемся. В сфере культуры района работает около полутысячи человек — профессионалы, преданные своему делу люди. Можно назвать многих высококлассных специалистов, достойных примера для молодых специалистов.

Обратимся к цифрам. В Гродненском районе работает 64 учреждения культуры, из них 26 учреждений клубного типа (в том числе автоклуб, районный Дом ремесел), 28 библиотек, 6 детских музыкальных школ, 4 детские школы искусств. В них обучаются более 900 учащихся, что составляет 19,6 процента от общей численности детей школьного возраста. 119 учащихся из многодетных семей, дети-сироты освобождены от оплаты за обучение. Создан банк данных одаренных детей, с которыми проводятся индивидуальная работа по развитию творческих способностей и занятия в группах профессиональной ориентации.

Велика география выступлений творческих коллективов. Только в 2010 году творческие коллективы представляли Гродненский район на 10 различных фестивалях и праздниках областного уровня, а также республиканских, международных фестивалях. В их числе: X международный фестиваль русской классической и современной музыки «Ландыш» в Харькове (Украина, май 2010), VIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно (июнь 2010), окружной танцевальный форум «Дорогами Победы» (Северо-Западный округ г. Москвы, 2010), международные фестивали духовых оркестров в городах Белосток и Суховоля (Республика Польша, июнь, июль 2010) и другие.

Благодаря увлеченности и профессионализму руководителей коллективов у наших самодеятельных артистов очень высокий уровень подготовки, о чем свидетельствуют их награды, плотный график гастролей и выступлений, многочисленные приглашения на различные фестивали, концерты и конкурсы, многолетнее сотрудничество и обмен делегациями с другими странами.

Одной из наших главных задач является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, возрождение народных промыслов и популяризация ремесел. В 1992 года создан Дом ремесел, который объединяет народных мастеров и умельцев района по ткачеству, вышивке, соломоплетению, керамике, резьбе по дереву и другие. Народные традиции живы и продолжают развиваться, радуя своим аутентичным искусством и в XXI веке.

И. Ш.: *Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, о ваших лучших коллективах — визитных карточках культуры района.*

И. Л.: Жемчужиной культуры Гродненщины является заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь детский ансамбль танца «Лялечки» Обуховского центра культуры и досуга. Кроме того, 20 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный» и «образцовый». Лучшие из них: народный ансамбль песни и танца «Ніва», народная эстрадная студия «Раніца», образцовая студия эстрадного танца «Галактика-В» Вертелишского центра культуры и досуга, образцовый духовой оркестр Поречской детской музыкальной школы, народный ансамбль народной песни «Рукавички» Обуховского центра культуры и досуга, народный ансамбль ветеранов труда «Сяброўкі» Скидельского городского Дома культуры, народный фольклорный театр «Матуліна песня» Житомлянского сельского Дома культуры.

Хочу особо отметить работу Вертелишского центра культуры и досуга, который расположен на территории одного из самых прославленных своими производственными достижениями в республике СПК «Прогресс-Вертелишки». Здесь

созданы, активно и успешно работают взрослая и детская самодеятельность. Большую материальную помощь коллективам оказывает руководство хозяйства, в частности, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Василий Ревяко.



Лебецкий Игорь Владимирович.

Почти сорок лет радует зрителей старейший коллектив самодеятельного художественного творчества Гродненского района, ансамбль песни и танца «Ніва», руководитель Лариса Просвирнина. За долголетнюю творческую жизнь коллектив на различных сценических площадках дал более 1700 концертов, лауреат всесоюзных, республиканских фестивалей самодеятельного народного творчества. Все участники самодеятельности работают в хозяйстве — механизаторами, полеводами, учителями, работниками культуры. В репертуаре ансамбля произведения белорусских, русских авторов, гродненских поэтов и композиторов. Во многих вокально-хореографических композициях, таких, как «Весялуха», «Купалинка» и другие, представлены народные обряды.

Детская танцевальная студия «Галактика-В» существует в Вертелишском центре культуры и досуга 6 лет и уже является лауреатом областных и международных фестивалей, выступает на мероприятиях разного масштаба. Руководит коллективом Станислав Морозов. В студии занимаются 35 детей в возрасте от 11 до 14 лет из Вертелишек, поселка торфобрикетного завода, Путришек.

На селе любят не только традиционные народные песни и танцы, здесь много поклонников и театра, а это показатель высокого уровня культуры. Так, художественный руководитель центра культуры и досуга, режиссер народного театра «Гротеск» Алексей Халиков — инициатор и организатор фестиваля народных драматических коллективов «Портал». Организация таких мероприятий дело хлопотное, ответственное. Но уже прошли с аншлагом три фестиваля: приезжали показать свои работы заслуженный народный театр драмы и комедии «Славутич» Волковысского Дома культуры, народный театр из Лиды, народный театр из Мостов, народный театр «Гротеск» Вертелишского центра культуры и досуга, экспериментальный театр-студия из Гродно «Бочонок» и молодежный театр «Надежда» Гродненского городского Дома культуры. Заинтересовались работники культуры Белостока из Польши, хотят приехать, посмотреть, как проходит у нас фестиваль, чтобы потом привезти свои самодеятельные народные драматические коллективы.

Работа культурно-досуговых учреждений района направлена на сохранение народных традиций, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, возрождение народных промыслов и ремесел.

Для сохранения традиционного фольклора в районе предпринимаются многие шаги: создаются фольклорные, в том числе молодежные, детские коллективы с местным репертуаром, всячески поддерживаются аутентичные группы и отдельные носители фольклорного искусства, как народный театр «Матуліна

песня» из Житомли. Проводятся праздники на основе фольклорного материала, а также с целью популяризации значительных государственных и исторических дат.

И. Ш.: *Так как я представляю интересы литературного журнала, хотелось бы услышать, как работают библиотеки Гродненского района, есть ли трудности с приобретением книжных новинок, как идет подписка на белорусские литературные журналы?*

И. Л.: Объем бюджетного финансирования на содержание библиотек составил в 2011 году 1173,5 млн. рублей. Из них планируется освоить 130,0 млн. рублей на приобретение книг и периодических изданий. Только за первое полугодие библиотеки района посетили свыше 22 тысяч читателей, в том числе около 7900 детей. На сегодняшний день компьютеризировано 68 процентов библиотек от общего числа. Информационно-образовательные центры открыты в Скидельской городской библиотеке № 2, Скидельской детской и Поречской сельской библиотеках. Публичные центры правовой информации расположены в Обуховской, Вертелишской сельских библиотеках, центральной районной библиотеке и Скидельской городской библиотеке № 3. До конца года планируем открыть такой же центр и на базе Скидельской городской библиотеки № 1. Более 50 процентов населения района охвачено библиотечным обслуживанием.

В 2011 году была организована подписка на периодические издания. В среднем на одну сельскую библиотеку приходится 26 названий (17 журналов, 9 газет). Все белорусские периодические издания, такие журналы, как «Нёман», «Маладосць», «Полымя», «Бярозка», «Вожык», газета «Літаратура і мастацтва» и другие, пользуются спросом у читателей.

И. Ш.: *Есть парадная, презентативная сторона культуры, ее достижения, праздники, фестивали. А как Вы считаете, влияет ли все это на общую культуру человека, уменьшится ли, например, количество свалок у дорог, мусора в лесах и на пляжах, исписанных ругательствами стен подъездов?*

И. Л.: Надеюсь, что детям, которые посещают сельские центры культуры и досуга, через эстетическое воспитание прививается ответственное отношение к окружающему миру. Люди, несущие в себе искорку культуры, останутся культурными везде: в быту, на работе, в обществе, они будут способны дальше к самостоятельному развитию и самосовершенствованию, к пониманию и оценке художественного достояния других культур.

II. Специалист библиотечных дел

Вся трудовая биография Галины Владимировны Дятчик связана с Гродненской РЦБС. Родилась на Гродненщине, в д. Басино Новогрудского района. После окончания Минского института культуры в 1977 году была направлена в Гродненскую районную централизованную библиотечную систему. Работала на разных должностях: заведующей абонементом, главным библиотекарем методико-библиографического отдела, заведующей отделом массовой работы и информации, заместителем директора РЦБС. С 1994 года директор Гродненской РЦБС. За эффективную и результативную работу, творческие достижения Г. В. Дятчик отмечена Почетными грамотами Гродненского районного исполнительного комитета, Президиума Гродненского районного Совета депутатов, управления культуры Гродненского облисполкома, Президиума областного Совета депутатов, Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры. В 2010 году Галина Владимировна была избрана делегатом 4-го Всебелорусского собрания.

— Наш читатель есть и будет, как бы ни прочили ему скорое забвение, — уверена Галина Владимировна Дятчик, когда мы завели разговор о сегодняшнем состоянии литературы, читательского интереса к книге, подчеркивая слово

наш. — Наш читатель остался с нами, несмотря даже на то, что введены платные услуги, например, на книги повышенного спроса из коммерческого фонда. Если человек с детства любит книгу, всегда интересовался литературой, новинками, он на всю жизнь останется читателем — неважно, в какой книга форме, бумажной или электронной.



Дятчик Галина Владимировна.

В подчинении Гродненской РЦБС 27 библиотек. Книжный фонд собирался десятилетиями и насчитывает более 480 тысяч книг. На вопрос, как теперь развивается библиотечная система, ее директор Г. В. Дятчик рассказывает:

— Сегодня библиотека должна соответствовать потребностям современного читателя. Согласно государственной программе информатизации «Электронная Беларусь» для Центральной районной библиотеки приобретается компьютерная техника. Следующим значимым этапом в развитии библиотечной отрасли, которая успешно решается, стала автоматизация библиотечных процессов. В районе компьютеризирована 21 из 27 библиотек. 20 библиотек имеют доступ к Интернету. В семи библиотеках РЦБС созданы мультимедийные центры, в трех — информационно-образовательные, в пяти — публичные центры правовой информации. В центральной районной библиотеке в автоматизированном режиме ведутся регистрация и обслуживание читателей, каталог на книжный фонд системы, картотека статей и краеведческая.

Автоматизация библиотек позволила развить издательскую деятельность библиотек, создавать медиа-презентации, слайд-шоу. С 2000 года действует центр правовой информации. Существует банк данных правовой информации «Эталон-WIN», который ежеквартально пополняется новыми материалами, организовано бесплатное консультирование адвокатов для социально незащищенных категорий населения района, приобретена база данных «Аналитика». В 2000 году отделом комплектования, обработки организации единого фонда Центральной районной библиотеки началась работа по созданию электронного каталога. В 2008 году в отделе обслуживания и информации установлены программы «Регистрация читателей» и «Обслуживание читателей».

В библиотеках района работает коллектив единомышленников — пятьдесят пять специалистов, любящих свое дело, таких, как Белая Нина Казимировна, специалист первой категории, которая более сорока лет работает в Скидельской библиотеке. И в основном библиотекари — люди опытные, с большим стажем работы. Приходит и молодежь. Самая молодая — Ольга Полянская, студентка-заочница 1-го курса Белорусского университета культуры и искусств — трудится в библиотеке агрогородка Озеры.

Качество работы библиотеки во многом зависит от количества книговыдач, от человека, который возглавляет книжное хранилище — так в древности называли библиотеку.

— На 1 января 2011 года услугами Центральной районной библиотеки пользуются около 3 тысяч читателей. Выдано на руки более 50 тысяч экземпляров изданий, — рассказывает Галина Владимировна. — Библиотечный фонд составляет 30 тысяч единиц печатных изданий, и он постоянно пополняется. Около 3 тысяч экземпляров уже закуплено в первом полугодии текущего года. Для библиотек системы выписываются белорусские периодические издания: газета «ЛіМ» — 10 экземпляров, журналы «Маладосць» — 3, «Полымя» — 6, «Нёман» — 6...

Библиотеки района ведут большую поисковую работу. В деревне Ратичи создана летопись деревни. Мильковщинская сельская библиотека находится на родине писательницы Э. Ожешко, поэтому центральное место в ней отведено экспозиции, посвященной творчеству известной землячки. Для развития интеллектуальных, образовательных способностей читателей в районе работает 27 любительских объединений, среди которых 15 детских. В Новоселковской сельской библиотеке действует детский клуб «Книголюбы». Сельская библиотека агрогородка Луцковляны реорганизована в информационно-экологический центр, здесь работает детский центр «Лесовичок», в Свислочи — детское любительское объединение «Чудесное мгновение», в Озерской библиотеке агрогородка — женский краеведческий клуб «Озерчанка», библиотека агрогородка Вертелишки преобразована в информационно-краеведческий центр, где создано любительское объединение «Родник» и детский клуб «Почемучки». В Житомлянской сельской библиотеке краеведение считается приоритетным направлением. Здесь усилиями работников и читателей создана летопись-история деревни со времени ее основания «Житомля: время, события, люди», которая рассказывает о знаменитых людях-земляках...

В 2003 году Гродненская РЦБС стала победителем областного конкурса «Лучшее учреждение культуры 2002 года», в 2005 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры и печати Республики Беларусь, Почетной грамотой Гродненского областного исполнительного комитета, Почетной грамотой управления культуры Гродненского облисполкома, в 2009 году — Дипломом 2-й степени областного конкурса «Учреждение культуры года».

— Хорошая библиотека привлекает к себе посетителей интересными задумками и начинаниями. В последнее время к нам чаще стали заглядывать работающие мужчины молодого и среднего возраста, так как раньше большинство читателей составляли люди старшего поколения, в основном женщины, — замечает Галина Владимировна. — Меняется формат библиотек — теперь они напоминают что-то вроде неформальных общественных клубов, в которых проходят интересные культурные мероприятия. Все-таки сельские библиотеки — это своеобразная территория, напрямую связанная с духовными и культурными традициями.

От автора. *Пришли новые технологии, электронно-библиотечные системы, издания на CD, мультимедийные диски, оцифровка архивов, электронные книги... Но все эти технические новшества, призванные помочь, разгрузить и ускорить библиотечное дело, никогда не заменят саму книгу. Удобно и привычно остаться наедине с ней, погрузившись в ее страницы, на которых можно оставить закладку, чтобы вернуться к понравившемуся месту, остановиться, поразмышлять... Не перед светящимся холодным монитором, а с доброй книжкой в руках.*

Сегодня люди, уставшие от бездушной техники, стремятся в выходные дни в леса, на берега озер, в заброшенные деревни — ищут уединения. Как там у классика: «усталый раб, задумал я побег...». Может, настанут времена, когда люди будут спасаться от жизненных тягот испытанным лекарством — чтением добрых книг.

Моя первая библиотека, которую сохранила детская память, — это старое деревянное здание, похожее на избушку, наскоро построенное сразу после войны для рабочих-железнодорожников. Тогда потребность в библиотеках относилась к первоочередным стройкам наряду с больницами, школами, жильем. С порога встречал теплый, домашний дух печи — топили дровами. За ней находилась тес-

ная комната, до потолка уставленная книгами. Книг было много. Новые попадались редко. Большинство из них были зачитаны: твердые переплеты истерты, страницы замусолены, заломлены, пожелтели. Чувствовалось, что книги прошли через многие руки. И действительно, раньше был настоящий читательский бум.

Эта деревянная, с низкими потолками библиотечка из моего детства, куда с пяти лет водил меня мой отец, давно снесена, но часто вспоминается мне как что-то светлое — такой островок знаний и постижения первой любви. Любви к Книге.

III. «Лялечки» Надежды Урюкиной

СПК «Обухово» Гродненского района — крепкое пригородное хозяйство, таких много в области, а вот детский ансамбль танца «Лялечки» Обуховского центра культуры и досуга единственный в своем роде, как визитная карточка не только СПК, но и района и даже Гродненской области. Этому детскому коллективу рукоплескали в Минске и Москве, в международном детском лагере «Артек», в Турции, Германии, Польше, Литве, Латвии, Болгарии... Перечислить все выступления, как и награды коллектива, невозможно, потому что их множество, самых престижных. Вот только некоторые из них: в 1982 году детскому ансамблю присвоено звание заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, в 1987 и 1992 годах «Лялечки» — лауреат Всесоюзных фестивалей, лауреат множества областных и республиканских, международных фестивалей самодеятельных коллективов. Из числа последних — в 2007 году лауреат Королевского турнира по польскому танцу в Вийнянском замке в Варшаве (Польша), в 2008-м — дипломант 33-го Международного детского фестиваля «Радость Европы» в Белграде (Сербия), участник гала-концерта на арене Евровидения-2008, молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, в 2010-м — 1-е место на международном конкурсе «Дорогами побед», посвященном 65-летию Победы (Москва), в 2011-м — 1-е место на Республиканском детском фестивале-конкурсе «Здравствуй, мир» (Минск).

И, безусловно, своими достижениями ансамбль обязан художественному руководителю — неутомимой, талантливой, полной энергии и творческих задумок Урюкиной Надежде Ивановне.

В один из летних дней мы встретились с ней в центре культуры и досуга СПК «Обухово». В фойе стояла непривычная тишина. Обаятельная приветливая женщина поздоровалась и объяснила: «Все дети на каникулах. Но я вам все покажу и расскажу», — и повела в свой кабинет.

Все стены, шкафы, стол в кабинете руководителя ансамбля увешаны, уставлены наградами, подарками, дипломами, фотографиями одного из самых титулованных в республике детского хореографического коллектива.

— Почему «Лялечки»? — задаю свой первый вопрос.

— Дети сами когда-то придумали, — улыбается Надежда Ивановна. — Их так зрители ласково называли — ляльки, лялечки. Так и пошло «Лялечки» и «Лялечки». Так, кстати, назывался один из первых удачных танцев ансамбля, тогда еще детского кружка при сельском Доме культуры, который маленькие артисты танцевали на сцене с игрушками. Зрителям очень понравился тот танец: он был простой, незатейливый, но именно с него начались будущий успех и слава.

Коллектив в своем мастерстве давно уже вырос из младенческого возраста, и подтверждение тому — многочисленные награды и признание ансамбля и его руководителя. Надежда Ивановна — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, ее работа отмечена Почетным знаком Министерства культуры СССР «За достижения в самодеятельном художественном творчестве» и нагрудным знаком «За ўклад у развіццё культуры Беларусі». В 2003 году ансамбль «Лялечки» получил Гранд-премию и звание лауреата специального фонда Президента Респу-



Детский ансамбль танца «Лялечки».
Вверху справа — балетмейстер-постановщик Татьяна Урюкина.

блики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а через три года образцовому ансамблю танца за высокие творческие достижения и исполнительское мастерство присвоили почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». На сегодняшний день это единственный детский коллектив с сельской пропиской, получивший такое признание.

А началось все в 1977 году, когда после окончания Гродненского культпросветучилища двадцатилетняя Надежда приехала в Обухово Гродненского района Гродненской области и возглавила детский танцевальный кружок в сельском Доме культуры, которому отдавала весь свой молодой запал и любовь к танцу.

— Если человек относится к работе с любовью и вдохновением, он обязательно станет мастером. В любом деле! — убеждена художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Лялечки» Обуховского центра культуры и досуга Гродненского района.

В полной мере все эти качества можно отнести и к самой Надежде Ивановне Урюкиной. Если бы она сама без остатка не положила всю свою жизнь, неиссякаемую энергию, богатый опыт, знания, вдохновение на алтарь служения любимому делу, творчеству, детям, думаю, что известный во всей стране ансамбль «Лялечки» не состоялся бы.

— Можно завоевать награды, подготовить детей, номера, труднее всего держать планку, быть первыми, — рассуждает Надежда Ивановна.

Действительно, возраст у ансамбля солидный, но у детского коллектива особенность — дети вырастают, оканчивают школу... и уходят.

— Проходит несколько сезонов, только дети научатся меня понимать с полуслова, правильно держать спинку, голову, плечи, радуют профессиональной пластикой, прыжками — и опять надо думать о смене. В детском коллективе идет постоянное обновление, и с этим ничего не поделаешь, — с грустью в голосе говорит Надежда Ивановна.

Потом мы пили чай, смотрели отрывки видеофильмов из многих гастролей, рядом с нами сидели ученица Надежды Ивановны Алена и ее папа Александр Салей.

— Кстати, это у нас династия... Папа Алены был в первом наборе ансамбля, тоже танцевал, потом привел дочь, сына. Теперь работает инженером-электриком в СПК. И таких династий много. Например, девочки Мордвиновы, они уже давно

сами мамы. У Кати — сын Анатолий Савроненко, у Марины дочери — Таня и Маша, сын Миша. Маша уже студентка второго курса хореографического отделения колледжа искусств. У Натальи Мордвиновой — сын Радюш Саша. Все танцевали в ансамбле.

Сегодня в ансамбле танцуют сестры Люда и Катя Голод, Надя Шилко, Алеся Панкова, Лина Жук, Катя Русак, Юля Булах, Диана Меськевич, Аля Барсук, Анита Михалкович, Олег Салей, Артем Чайко, Саша Волкович, Ангелина Вакар, сестры Лезовские, Карина Солодовник, Алеся Панкова, Толя Савроненко и другие — всех не перечислишь.

— Надежда Ивановна, а как идет отбор детей? — интересуюсь я.

— Мы берем всех, это же не город, где много желающих, а сельская местность. У нас одна средняя школа, в которой учатся всего 300 человек, а принимают детей сразу спортивная и музыкальная школы и наш ансамбль. Детей присматриваем с детского сада. У нас в настоящее время три группы — младшая, средняя и старшая — всего 60 человек. Репетиции три раза в неделю, — рассказывает художественный руководитель.

У любого дела есть парадная и изнаночная сторона. Мы, зрители, не видим черновой работы, неудач, ошибок, срывов, когда танец шлифуется до мельчайших деталей на репетициях, чтобы потом на концертах все выглядело легко, красиво. Кстати, маленьких артистов с первых занятий приучают к ответственности, ведь от ошибок одного может быть нарушена вся картина танца, поэтому так важна сплоченность в коллективной работе.

В репертуаре коллектива более 50 хореографических постановок. Репертуар — это лицо творческого коллектива, демонстрация всех его потенциальных возможностей. Ответственность за него лежит на художественном руководителе, как и все, что связано с подготовкой, выпуском концертной программы.

— Репертуар имеет огромное значение в воспитании творческой личности, — говорит Н. И. Урюкина. — Чем он богаче и разнообразнее, тем больше возможностей для раскрытия юных дарований.

Надежда Ивановна с большим трепетом относится к выбору программы. В активе ансамбля белорусские народные танцы, танцы народов мира, игровые, постановочные номера из школьной жизни и, наконец, сказки. Она вообще с большой ответственностью относится к своей работе, потому что уверена: художественный руководитель — это человек высокой культуры и глубоких знаний, в совершенстве владеющий основами профессионального мастерства. От его мировоззрения и эстетических позиций зависят направления творчества и гражданско-идейные устремления всего творческого коллектива. Надо уметь разбираться в сложных явлениях современного искусства, отличать прогрессивные тенденции от ошибочных и даже вредных, мыслить хореографическими образами, быть одновременно мыслителем, психологом и педагогом. Видимо, поэтому она так требовательна и к себе — постоянно самосовершенствуется: без отрыва от работы окончила Московский заочный народный университет искусств, знакомится с опытом других художественных коллективов.

Плюс Татьяна Урюкина

В 2000 году в ансамбль пришла работать балетмейстером-постановщиком старшая дочь Надежды Ивановны — Татьяна Урюкина. Работа молодого балетмейстера отличается новизной образного решения. С ее приходом в ансамбле начались творческие преобразования.

Молодой балетмейстер задумала и осуществила сложную постановку — мини-балет «Дюймовочка». В таком масштабном, феерическом спектакле был задействован весь коллектив ансамбля. Композитором мини-балета выступила тогда еще девятилетняя, но очень талантливая девочка из Лиды Динара Мазитова. Для мини-бале-



Надежда Урюкина и ее ансамбль на международном детском фестивале «Радость Европы» (Сербия, 2008 г.).

та уже пошили второй комплект костюмов — деньги выделил Гродненский райисполком.

Слово «балетмейстер» означает «мастер балетного спектакля», и творческие работы Татьяны Урюкиной подтверждают, что она достигла настоящего мастерства и является достойным партнером, помощницей, продолжателем дела своей мамы.

Интересный, сложный спектакль «Пернатый балаган» был поставлен с подачи Татьяны Урюкиной. Дети заразительно танцуют, преображаясь по сюжету спектакля в веселых курочек, петухов, цыплят, лис, собак. В 2002 году на осуществление этого проекта — пошив сценических костюмов — был получен большой Грант специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Хореографические миниатюры «На лесной опушке», «Журавли», «Маленькая страна», «Девичьи грезы», танцы «Фарбы Беларусі» были поставлены Надеждой Ивановной совместно с Татьяной. «Сельские зарисовки» возникли в результате сотрудничества двух молодых талантливых авторов, композитора Дмитрия Лойко и балетмейстера Татьяны Урюкиной, и пользуются большим успехом у зрителей.

Татьяна с детства связана с «Лялечками»: с младшей сестрой Верой принимала самое активное участие в концертной жизни ансамбля, была его солисткой. Это повлияло и на выбор профессии: окончила колледж искусств, Гродненский университет имени Янки Купалы. В копилке у молодого балетмейстера и постановщика организация таких мероприятий, как конкурс «Мисс университет», «Мисс маленькая красавица Гродно», ее усилиями создан театр моды в колледже бытового обслуживания населения.

Теперь Надежда Ивановна и Татьяна работают над новыми концертными программами. Постановка мини-балета требует не только огромных организаторских, творческих усилий, но и материальных затрат, прежде всего для создания новых сценических костюмов. И надо отдать должное руководству СПК «Обухово», его председателю Сенько Илье Петровичу, председателю Гродненского райисполкома Василевскому Яну Яновичу, которые выделяют детскому коллективу транспорт, материальную помощь и всячески опекают ансамбль «Лялечки». Управление культуры Гродненского облисполкома и отдел культуры Гродненского района по праву считают этот коллектив брендом Гродненщины.

Для создания успешного творческого коллектива необходим талантливый организатор, сильная личность, которая определяет идейно-эстетическое направление всей художественной жизни. Этим набором личностных характеристик в полной мере обладает руководитель «Лялечек» Надежда Ивановна Урюкина. И второе, не менее важное условие для успешной работы — наличие хорошей материальной базы (танцевального зала или сценической площадки, музыкальной аппаратуры). Всем этим располагает детский ансамбль на площадях центра культуры и досуга СПК «Обухово».

Как всякий настоящий театр, ансамбль «Лялечки» имеет свою костюмерную, даже две, где хранятся театральный реквизит, обувь, шляпки, концертные костюмы, сценические атрибуты и ростовые куклы, которые добавляют свою интригу и изюминку в веселые постановки. Только в настоящем театре работают штатные гримеры, костюмеры, художники, музыканты, помощники режиссера, а в самодеятельном все лежит на плечах самоотверженных и увлеченных своим делом Надежды Ивановны и ее дочери Татьяны.

— Первые костюмы мы шили сами, — рассказывает Надежда Ивановна, и с гордостью показывает белые атласные платья из первых постановок. — Шили из лент, из кусочков, лоскутов ткани. Теперь немного проще. Недавно нам выделили 20 миллионов рублей, и мы пошили 65 костюмов. В один комплект входят накидки, шляпки, юбки. Теперь все наши сценические костюмы шьются в театральных мастерских Минска, в колледжах бытового обслуживания Гродно, Пинска. Работа над созданием костюмов кропотливая. Очень важно, чтобы дизайнер понял наш замысел.

— Каждая хореографическая постановка, как любое произведение искусства, требует оригинального решения, индивидуального подхода. Мы должны не отставать от веяний времени, а быть впереди, хотя бы на полшага, тогда наши концерты будут интересны публике, — убеждена Надежда Ивановна.

Танец — это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь, только в особой образно-художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, а средствами движения, мимики, жестов. Концерт — это встреча со зрителями, от которой зависит настроение самодеятельных артистов и их художественного руководителя. Аплодисменты и признание зрителей — это то, ради чего проводятся долгие, порой утомительные репетиции, шлифуются элементы каждого танца.

— Мы никогда не ставим перед собой простеньких задач — два прихлопа, три притопа. При постановке наших мини-балетов мы стремимся синтезировать фольклорное наследие с самыми современными формами, ритмами, красками, — рассказывает Надежда Ивановна.

Сейчас художественный руководитель Надежда Урюкина в паре с балетмейстером Татьяной Урюкиной готовят большой творческий проект «Вслед за солнцем», состоящий из четырех фольклорно-обрядовых сюит, олицетворяющих времена года: «Гуканне вясны», «Медово-яблочный Спас», «Праздник урожая», «Калядкі». К первой части — «Гуканне вясны», музыку написал местный композитор Алесь Лойко, ко второй части композиции — «Медово-яблочный Спас» — Александр Аврукевич.

Надежда Ивановна Урюкина умеет ставить высокую планку не только перед собой, но и перед своими воспитанниками. Они чувствуют ее силу, дерзкую смелость, новаторство и готовы работать под ее руководством. Это редкое сочетание уважения, любви, подчинения и азарта, слияния воедино задач руководителя и каждого члена коллектива. Достигается такой результат выработанной за долгие годы ее собственной методикой рабочего и воспитательного процесса.

— Вы строгий руководитель? — не удержалась, спросила я.

— В танце — да. Без этого никак не обойтись. Дети приходят разные: есть несобранные, с ленцой. Поэтому первым делом приучаю к ответственности перед коллективом и перед зрителем.

Одно из строгих правил устава коллектива «Лялечки» — хорошая учеба в школе. Многие дети параллельно занимаются в музыкальной и спортивной школах, в спортшколе, посещают бассейн, предметные кружки в общеобразовательной школе. И везде успевают, нет проблем с домашними заданиями, успеваемостью. Учитывая, что все они живут в сельской местности и у родителей есть огороды, подворья, а им приходится помогать, то нагрузка у деревенских детей получается гораздо больше, чем у городских. Но как правило, возможность стать участником и артистом известного детского ансамбля, повидать на гастролях дру-

гие города и страны, пообщаться со своими сверстниками за рубежом является сильнейшим стимулом и для учебы, и для остальных дел.

Кроме раскрытия творческих способностей у детей в коллективе решается много других важных и ответственных задач, одна из которых — воспитание ребенка. Именно в детском возрасте закладываются основы чувства коллективизма, товарищеского плеча, в последнее время все реже проявляющиеся в обществе. Долгое сидение у компьютера, игровые «стрелялки» не развивают у ребенка способности к общению. Хореографический ансамбль является прекрасной возможностью раскрыть потенциал, который может быть до поры не известен не только родителям, но и самому ребенку. Надежда Ивановна как опытный педагог владеет бесценным даром раскрывать детские сердца и заложенные в них способности.

— Сегодня дети другие, чем были двадцать, пятнадцать лет назад, они стали более закрытыми, эмоционально холодными, и даже... одинокими, ведь никогда никакой компьютер не заменит живое общение со сверстниками. Подрастающему человеку как воздух нужен коллектив, участие в общем деле, это может быть спорт, театральный кружок или занятия танцем. Благодаря творческому союзу в хореографическом коллективе формируются гармонично развитые, дисциплинированные и одновременно раскованные, физически и психически здоровые, прекрасно адаптированные к обществу люди, настоящие личности. Вот они вырастут и станут основой нашего государства, — уверена Надежда Ивановна.

Полностью согласна с ней, потому что ее слова — не просто слова, Надежда Ивановна давно научилась сопрягать свои слова с делами. Для многих детей ансамбль по-настоящему стал вторым домом: здесь дети учатся не только постижению профессии танца, общаются, дружат, старшие опекают младших, все вместе отмечают праздники, именины — собираются за чаем с тортом. Об этом дети говорят сами. Вот выдержки из их благодарственных писем:

— *Когда я была в первом классе, к нам пришла женщина, которая предложила пойти танцевать. Я тогда не знала, что это станет смыслом моей жизни. Я на танцы хожу уже девять лет и не жалею... Пришло время выбирать мой путь в будущее, я выбрала танец. Каждый день пытаюсь открыть для себя что-то новое в танце. Я благодарна моему любимому руководителю Урюкиной Надежде Ивановне, что она вдохнула в меня жизнь, когда мне было очень плохо. Теперь я хожу в «Лялечки», как домой, все мои друзья как родня...* (Шилко Оля, студентка первого курса хореографического отделения колледжа искусств.)

— *Ансамбль танца «Лялечки» — это огромный и очень хороший коллектив. Там все помогают друг другу, старшие заботятся о младших. А если что-то не получается, то опытные девочки дадут хороший совет и отдельно позанимаются. Я поняла, чтобы добиться маленькой, но красивой цели, нужно очень много трудиться. Ансамбль вдохновляет меня на танцы...* (Завиленчик Полина, ученица четвертого класса Гродненской городской гимназии, ее родители возят в Обухово на репетиции.)

— *У нас очень дружный коллектив. На концертах мы всегда помогаем друг другу и поддерживаем перед выходом на сцену. У нас даже есть девиз: один за всех и все за одного! Мы по традиции отмечаем разные праздники: дни рождения ребят, Новый год, Пасху и другие. У нас замечательные преподаватели Надежда Ивановна и Татьяна Олеговна. Благодаря ансамблю я побывала в разных странах. Ансамбль для меня второй дом!* (Барсук Аля, ученица восьмого класса.)

Каждую новую весну подросшие в стенах центра культуры и досуга СПК «Обухово» вчерашние артисты покидают свой детский хореографический ансамбль «Лялечки», а осенью приходят неопытные новички, и все начинается с нуля...

Надежда Ивановна мечтает, чтобы еще долго-долго не прерывалась хорошая традиция и ее детище продолжало жить своей яркой, сложной, активной творческой жизнью. Она надеется, что если когда-нибудь отойдет от дел, то ее дочь Татьяна продолжит начатую ею работу, и детский хореографический ансамбль

«Лялечки» будет еще долго радовать своим мастерством новые поколения благодарных зрителей.

— Наверное, я счастливый человек, — делится со мной Надежда Ивановна. — У меня есть любимая работа, прекрасные дочери. Я благодарна судьбе, моей маме Анне Евсеевне. Она одна поднимала меня, растила, радовалась моим успехам. Благодарна, что на моем пути встретились замечательные люди: мой первый хореограф Николай Семенович Козлов, руководитель танцевального коллектива ДК целлюлозно-бумажного комбината Добруша, педагоги училища — Наталья Парахневич и Нина Залевская. За поддержку и веру в наши успехи признательна родителям участников ансамбля, руководителям органов культуры области и района, коллегам-единомышленникам.

Многие из воспитанников ансамбля выбрали танец своей профессией, закончили хореографическое отделение Гродненского колледжа искусств, Минского университета культуры. В разные годы профессиональное образование получили более 25 учеников Надежды Ивановны. Так, Кравчик Евгений работает уже со своим коллективом в Мире, способные ученики — Рубаник Вадим, Тототь Марина, Люляк Ольга, Будило Алексей, Мересмяе Тийу, Денисевич Владимир — преподают в городских школах. Тот сильный творческий импульс, заданный в детстве Надеждой Ивановной, для многих ребят стал определяющим в будущей профессии. Некоторые ее ученики получили профессиональное образование, танцевали в Государственном ансамбле танца Беларуси, в ансамбле «Белые росы» Гродненской филармонии, во многих других известных танцевальных коллективах, руководят детскими танцевальными ансамблями, преподают в школах искусств.

И когда-нибудь взрослая женщина, может быть, та же Голод Людмила, солистка многих постановок, активная участница всех танцевальных номеров, расскажет своей маленькой внучке, что ее жизнь во многом сложилась благодаря детскому ансамблю «Лялечки».

Пусть не прерывается эта благодатная нить поколений...



ТАТЬЯНА МУШИНСКАЯ

Голос — как чудо...

Свой рассказ об Анастасии Москвиной, замечательной оперной певице, заслуженной артистке Республики Беларусь, хотелось бы начать с недавней ситуации. И комичной, и неожиданной, и характерной. В конце прошлого сезона Национальный академический театр оперы и балета показал премьеру «Аиды» Дж. Верди. Постановка оказалась масштабной и монументальной, генеральная репетиция, как это часто случается, собрала в зале почти весь столичный бомонд.

В первом же антракте ко мне подошла давняя знакомая, Дина Георгиевна Тыцюк, известный в Минске режиссер, авторитетный педагог Университета культуры и искусств.

— Татьяна, скажи, а кто сегодня поет Аиду? Сижу не очень близко, не видно… И вообще наши так не поют!

Я готова была расхохотаться. Замечу: оперного солиста, сильно загримированного, в непривычном костюме и прическе, порой действительно трудно узнать. Тем более Аида, дочь эфиопского царя, по определению должна быть «очень загорелой», но так не верить возможностям своих же солистов?.. Стало даже обидно!

— Вы не узнали Москвину?!

Пауза. На лице моей собеседницы отразилось изумление, потрясение и… полный восторг:

— Это… — моя Настя?! Да не может быть!

Дело в том, что Москвина когда-то училась в Университете культуры, поэтому Дина Георгиевна воспринимала ее как «свою» бывшую студентку. А я чувствовала себя так, будто только что в первом действии сама пела Аиду, а совсем не Москвина…

— А вы говорите, что наши так не поют! Вот как раз наши так и поют…

* * *

Часто ли мы задумываемся о том, что настоящий, большой оперный голос — это ценность и чудо? Он, сотворенный природой и ограненный профессиональным обучением, — ценность такая же, как картина знаменитого художника или скрипка старого мастера. Голос может воплотить бесконечное разнообразие эмоциональных и смысловых оттенков арии, дуэта, партии. Иногда я думаю, что голос — это проявление некоего высшего, божественного, запредельного начала, недоступного простым смертным. Звуки голоса воздействует не только на слух, но на сознание, а еще в большей степени на подсознание. Они воплощают недостижимое совершенство и одновременно, как камертон, гармонизируют далеко не идеальные отношения человека и мира.

Талант этой удивительной артистки я открыла для себя сначала в опере «Кармен» Ж. Бизе. Ее лирическая Микаэла, невеста Хозе, появляется в одном из первых сцен эпизодов оперы. Героиня Москвиной, одетая в бело-голубое платье, казалось, не ходила по сцене, а летала и порхала. Как мотылек, сказочный и нездешний... Пение и пластика рисовали образ девушки нежной и застенчивой, воспринимавшейся как воплощение счастья. Теперешнего и будущего... Героиня певицы была такой обаятельной и, не побоюсь этого слова, интеллигентной, что рядом с ней Кармен, это «дитя свободы», казалась невоспитанной, вульгарной и все разрушающей особой. Потому особенно жаль становилось и Хозе, который фатально ошибся в своем выборе, и Микаэлу, чью любовь и счастье между прочим, мимоходом уничтожила Кармен…

Интересно, что когда в декабре прошлого года в Минске проходил Первый международный Рождественский оперный форум, в спектакле «Кармен» собрались представители разных исполнительских школ и лучших театров Петербурга и Москвы. А вот Микаэла оказалась «наша», именно Анастасия. Когда авторитетные российские критики, которые половину календарного года проводят на престижных европейских музыкальных фестивалях, обсуждали увиденные в Минске постановки, то в «Кармен» отдали предпочтение именно нашей Москвиной.

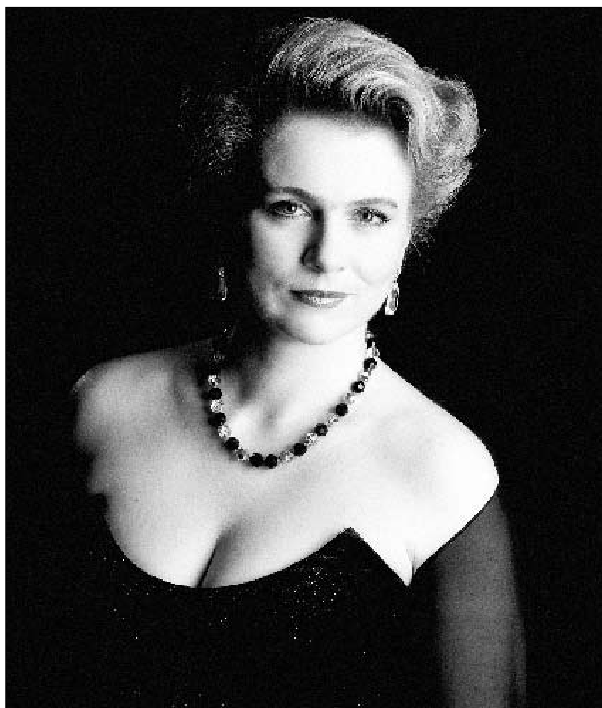
Вслед за Микаэлой довелось увидеть певицу в партии Риты, хозяйки гостиницы, в опере «Рита, или Пиратский треугольник» Г. Доницетти. Это была, по сути, комедийно-игровая роль. Рита обладает таким конфликтным и сложным характером, что каждый из двух ее мужей, теперешний мягкий и слабовольный Беппе, и прежний, решительный и отчаянный пират Гаспар, которого все считали пропавшим, долго и безрезультатно спорят. Ведь каждый из них хочет избавиться от Риты навсегда и никогда не иметь с ней никаких отношений. Но что-то есть в этой невозможной даме такое, что Беппе в конце концов с радостью с ней остается. Да и по законам комедии, герои в финале выглядят счастливыми, несмотря на все треволнения.

Сильное впечатление оставлял образ пушкинской Татьяны Лариной в «Евгении Онегине» П. Чайковского, серьезное творческое достижение Москвиной как певицы и артистки. Классические образы литературы и музыки потому и сложны для воплощения, что у каждого слушателя, приходящего в театр, как правило, давно сложился свой образ героя. Преодолеть временную дистанцию между разными эпохами, между XIX и XXI столетиями может только глубина и искренность проживания артистом эмоций героя, умение погрузиться в его мир. И тогда персонаж оказывается близким, его душевный мир убедительным, а волнующие его проблемы всегда актуальными.

Анастасия убедительно передавала диалектику образа, превращение безоглядно влюбленной девушки, в чем-то наивной и трогательной, в великосветскую даму, владеющую своими чувствами. Диалектику развития богатой натуры, которая смогла преодолеть и пережить свою трагическую любовь. Особенно убедительно воспринимались в исполнении Москвиной две последние сцены оперы.

Сегодня на главной музыкальной сцене страны Анастасия исполняет многие ведущие партии. Среди них — Мими в «Богеме», Иоланта в одноименной опере, Леонора в «Трубадуре», Земфира в «Алеко», Надежда Яновская в «Дикой охоте короля Стаха», Купава в «Снегурочке», центральная партия в «Аиде». Но какие бы образы ни воплощала Москвина, все ее героини кажутся приближением к тайне манящей и непостижимой женственности.

Интенсивность творческого развития артистки не может не удивлять. То Анастасия вместе с Оксаной Волковой, коллегой и подругой, нашим знаменитым меццо-сопрано, отправляется в Шотландию, чтобы участвовать в благотворительных концертах, которые проходят в старинных британских замках. То приглашает на собственный «сольник» в концертный зал «Минск». То едет в Москву, чтобы участвовать в «Летучей мыши», нашумевшей премьере Большого театра.



Анастасия Москвина.
(Фото из архива артистки.)

Впрочем, не лучше ли расспросить саму артистку о том, как у нее получается все успевать — готовить новые партии в театре оперы и балета, преподавать в Белорусском педуниверситете им. М. Танка, водить машину, воспитывать сына, ездить на гастроли? Всегда любопытно к такой личности подойти поближе, чтобы хотя бы отчасти понять или догадаться, как достигается подобный результат. Какова артистка в жизни и сильно ли она отличается от своих сценических героинь?

— Анастасия, настоящий артист, как правило, имеет богатую личную и творческую биографию.

— В детстве и юности совсем не мечтала быць певицей. Скорее думала о сцене драматического театра. Поэтому после 10 классов средней школы ездила в Москву, чтобы попробовать себя на вступительных экзаменах в Щукинском и Щепкинском училищах. Окончила музыкальную школу по классу скрипки. Кстати, в той же школе учился наш солист Володя Громов, с которым мы выступаем вместе во многих спектаклях — в «Онегине», «Дикой охоте», «Аиде»... Играла и на гитаре, и даже записала диск вместе с музыкантами из Германии. Участвовала в спектаклях Минского театра-студии «Арт». Играла в Национальном театре имени М. Горького и чувствовала: лучше всего получается… пение. Но до оперной сцены было еще далеко.

По своему первому образованию, полученному в БГУ культуры и искусства, я — «режиссер театрального коллектива». В этом же вузе окончила аспирантуру, написала под руководством доктора искусствоведения Анатолия Соболевского научную работу на тему «Тэатр Уладзіслава Галубка».

Одновременно начала брать частные уроки у народной артистки Лидии Галушкиной, которая привела меня к другому педагогу Академии музыки — известной певице, профессору Людмиле Колас. В аспирантуре и в Академии музыки училась одновременно. Я очень благодарна своему педагогу и считаю, что «белорусско-украинско-итальянская школа» Людмилы Яковлевны помогла мне достичь таких творческих результатов. Мой педагог в свое время стажировалась в Италии. Очень важно, когда преподаватель может доступно объяснить, как нужно петь, что происходит в процессе пения. Весь голосовой аппарат находится внутри тебя. Но им руководит голова, мозг, высшая нервная деятельность. И процесс пения — это чисто психологический процесс…

— Еще в студенческие времена Вы стали лауреатом и дипломантом нескольких международных вокальных конкурсов — имени Дворжака в Карловых Варах (Чехия) — в 1999-м, имени Шнайдер-Трнавского (Словакия) в 2000-м и Алчевского (Украина) в 2001-м.

— После Академии музыки прослушивалась сразу в два театра — в Национальную оперу и в Государственный музыкальный театр. Интересно, что меня брали и туда, и туда. Причем в Театре музыкальной комедии сразу предложили

одну из ведущих партий — Розалинду в «Летучей мыши». В Оперном больших партий не предлагали, но я выбрала этот театр. И в дальнейшем оказалось, что не ошиблась...

— С 2002 года Вы — солистка Национальной оперы. Достаточно быстро освоили ведущий сопрановый репертуар, часто выступаете с концертными программами. Хотелось бы расспросить о международных проектах, в которых Вы участвовали с большим успехом. Весной 2010 года на сцене Большого театра России оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь» воплотили молодой, но уже культовый режиссер Василий Бархатов, а также известный белорусский и российский сценограф Зиновий Марголин. В спектакле Вы исполнили главную партию — Розалинды. Как попали в эту творческую команду?

— В конце 2009 года Большой театр России объявил программу «Молодые голоса». Прослушивание (для певцов до 35 лет) проходило и в Минске, в Академии музыки. Мне по возрасту было чуть больше, и я не собиралась никого обманывать. В Академии музыки встречей гостей занималась мой педагог Людмила Яковлевна Колас. Она посоветовала: «Приедь! Пусть они тебя просто услышат!»

С собой у меня не было никаких нот, только клавир «Трубадура». Наверное, я была 300-я по счету из прослушанных. Сказала, что не претендую на участие в Школе молодых певцов, поскольку солистка театра, пою ведущий репертуар. Исполнила арии Татьяны, Микаэлы, Мими. Через какое-то время по электронной почте пришло письмо: Большой театр приглашает на прослушивание. Приехала и прошла кастинг. Конечно, это удача! Ведь в Большом театре много сопрано, причем высокого уровня. То, что остановились на мне, приятно. Но это и двойная ответственность. В период репетиций и премьеры солисты Большого ходили нас слушать: почему же выбрали именно их?

— Расскажите подробнее о «Летучей мыши»...

— В спектакле было только два состава исполнителей. И в первом, и во втором много приглашенных западных солистов, английских, австралийских, немецких. Так что на обеих премьерах оказался международный состав. «Летучая мышь» показывалась блоком, пять спектаклей подряд. Участвовали в постановке и московские вокалисты, которые поют в «Новой опере», «Геликон-опере». Что ни говорите, но Большой театр — это имя. В Москве много театров, но Большой был и остается главным театром России. Начав репетиции, я осознала, что пою на достаточно высоком уровне. Услышала много хороших слов в свой адрес от западных исполнителей...

— Что было самым сложным во время репетиций?

— Процесс работы оказался очень легким и приятным. Загруженность оказалась не такая большая, как думалось. Вообще не сказала бы, что столкнулась с какими-то трудностями. Наверное, потому, что собралась неординарная команда. Василий Бархатов — молодой и перспективный режиссер. Имеет музыкальное образование, досконально знает партитуру. Он — настоящий режиссер музыкального театра. Когда режиссер драматического театра приходит ставить оперу, он часто не видит нот, партитуру и не знает, кто что в это время делает. Это горе для исполнителей! Тогда певцу приходится доказывать, что в данный момент я не должна бежать по сцене, поскольку в этой мизансцене у меня верхняя нота. Иногда совместная работа напоминала атмосферу «Клуба веселых и находчивых» — по легкости и остроумию. Оперетта и должна быть веселой, подвижной, легкой. Режиссер хотел отойти от штампов жанра. Все первое действие происходило в каютах корабля, на котором путешествуют богатые люди. Второе действие — это огромный зал на лайнере, многоуровневая площадка с бассейном и фонтаном посредине. Третье действие — пирс, берег моря...

— Страшно было выходить на сцену Большого театра?

— Не очень. Хотя акустически зал сложен. Показалось, что пространство там даже меньшее, чем в нашем театре. Хотя я пела и не в первом составе, услы-

шала много теплых слов и от кутюрье Игоря Чапурина, и от Бархатова. Когда начинаются репетиции на сцене, утрачивается многое из найденного в репетиционном зале. В этом смысле Бархатов пунктуален. Хотел, чтобы все наработанное осталось. Рассчитать мизансцены на новые расстояния непросто. Но все равно должен быть микст оперы и драматического театра. После премьеры подходили артисты хора, оркестра, говорили, что второй состав им нравится больше, чем первый. Горжусь, что пела в Большом, на премьере, в главной партии. Сейчас считаюсь приглашенной солисткой Большого театра.

— Хотела бы расспросить Вас еще об одной работе. В ноябре 2010 года в Москве прошла мировая премьера оперы «Вишневый сад», написанной современным французским композитором Филиппом Фенелоном по пьесе Чехова. В спектакле Вы исполнили партию Раневской…

— Мировая премьера «Вишневого сада», оперы в 2 действиях, — это совместный проект Большого театра России и Парижской национальной оперы. Он возник неслучайно. Прошлый, 2010-й, был Годом культуры Франции в России. Опера показывалась как завершение множества культурных акций. Кроме того, в прошедшем году по всему миру широко отмечался 150-летний юбилей Чехова. Дата спровоцировала огромный интерес к его личности и творчеству. Мировые премьеры часто происходят на сцене Большого. Обращение к произведениям, которые нигде не показывались, вызывает огромный интерес. Пока «Вишневый сад» прошел в концертном варианте. Вначале в Москве, потом в Петербурге, на сцене Филармонии им. Д. Шостаковича. Если все сложится, то в ближайшее время может состояться постановка «Вишневого сада» на сцене Парижской оперы.

— Чехов на оперной сцене — это всегда любопытно и неожиданно…

— Думаю, в появлении «Вишневого сада» как оперы свою роль сыграли давние культурные связи России и Франции. Филипп Фенелон — французский композитор, место показа — Москва. Либретто Алексея Парина, театроведа, критика, поэта. Солистов набирали через кастинг. Они преимущественно русские, но работают в разных странах — в Италии, Германии. Несколько вокалистов из Большого театра, остальные из «Новой оперы», «Геликон-оперы». Когда мне предложили посмотреть ноты партии Раневской, всех остальных исполнителей уже нашли. С моей кандидатурой французские организаторы премьеры определились через Интернет, попросив поставить свои аудио- и видеозаписи в You Tube.

— Петь современную музыку трудно или очень трудно?

— Партия Раневской — самая большая по объему и очень непривычная. Написана она удобно, но сложна по структуре, как и вся партитура. Впервые участвовала в исполнении оперы современного композитора. Музыка интеллектуальная, авангардная. Абсолютно нет никакой поддержки для певца в оркестре. Ты существуешь сам. Музыкальные темы возникают, но периодически, поэтому во время пения надо считать, самому «строить» музыкальные интервалы. Сложно существовать в такой структуре — надо иметь абсолютный слух. Кроме солистов в опере есть женский хор — это девушки, собирающие в саду вишни. Хор — своеобразный символ: ведь Россия — женщина. Текст оперы на русском языке, отдельные фрагменты взяты из пьесы Чехова. Три мои сольных номера являются монологами-речитативами. Впервые столкнулась с таким певческим материалом, даже азарт появился: смогу ли его осилить? Но такая работа полезна для вокалиста. Прежде всего, в музыкальном плане... Она требует постоянного интеллектуального напряжения.

— Сколько времени необходимо для подготовки таких спектаклей?

— На репетиции был отведен месяц. Все это время итальянский дирижер Тито Чеккерини, который часто исполняет музыку современных авторов, работал с оркестром, хором, солистами. Обычно на постановку дирижеры приезжают за две недели, когда все уже свои партии выучили. Дирижер свободно разговаривает

на шести или семи языках, легко переходит с одного на другой. Мы с ним общались на английском и итальянском. За две недели до премьеры приехал композитор, давал советы по звуку, характерам. Он остался доволен выбором солистов. Ведь в опере много партий, для которых нужен определенный типаж — внешний, эмоциональный, вокальный. Музыка Фенелона требует большего мастерства и драматизма, чем классика. Тут не обойтись без сочетания драматической игры и пения...

— Ваше участие в международных проектах оказалось на редкость удачным. Скажите, не возникали мысли о Москве, Большом или другом российском театре?

— Я люблю свой город. Здесь живут мои родители и мой сын. В театре я пою многие ведущие партии, у меня хорошие отношения со многими коллегами. А что касается Большого театра, то я не стремилась постоянно там работать, не претендовала на чьи-то партии. Свою роль воспринимала так: приехала, спела, познакомилась с интересными людьми. А многие Москву воспринимают как цель — приехать и остаться навсегда. Мне кажется, что в Большой театр или другие коллективы лучше приезжать на отдельные проекты.

— Интенсивность вашей творческой жизни вызывает восхищение. Вы принимали участие в гастролях белорусской оперы в Таиланде, Германии, Венгрии, Голландии. С успехом выступали по собственным контрактам в Шотландии и Италии. В Москве состоялась премьера «Вишневого сада». Никогда не видела вас хмурой, раздраженной, озабоченной. Анастасия Москвина — на удивление жизнерадостный и солнечный человек. В чем вы черпаете оптимизм?

— Не знаю... Мне интересны эксперименты, интересно все новое. Люблю людей. А оптимизм черпаю, наверное, из самой жизни...



ЮРИЙ САПОЖКОВ

Минский Иов

Слеза укрупняет строку.
Ольга Переверзева

В октябре исполняется 90 лет со дня рождения поэта Вениамина Блаженного (настоящее имя Айзенштадт), который всю жизнь жил и писал в Минске. 12 лет как его нет с нами. Но штука в том, что несмотря на то, что поэзия Блаженного представляет собой уникальное явление мирового значения, его никогда не было с нами. Знали Вениамина Михайловича только избранные. Причем избранные им самим. Даже в девяностые годы, когда в возрасте семидесяти четырех лет издал первую собранную им самим книжку стихов и с точки зрения критиков стал центральной фигурой в русской поэзии Беларуси, для читателей он оставался совершенно неизвестной фигурой. То же самое происходит и сейчас. В глазах до сих пор стоит смущенное недоумение Дмитрия Строцева, лучшего, пожалуй, из учеников Блаженного, на презентации переизданного в 2009 году «Сораспятья»: после вечера к разложенным книгам почти никто не подошел. Наверное, до сих пор они не распроданы. Почему, почему такая странная судьба талантливейшего творца и его произведений? Наверное, ответ на этот вопрос заслуживает целого исследования, и свою лепту в коллективный труд, возможно, внесет каждый, кто знал и любил поэта. Этим желанием продиктованы и заметки автора этих строк.

Хочется начать с некоторых отзывов о Блаженном людей, которых хорошо знает просвещенный мир. Знаменитости щедры на похвалы. Правда, те, что будут приведены ниже, сделаны в переписке, не печатно. И Вениамин Михайлович не мог воспользоваться ими, чтобы пробить железобетонную оборону отделов поэзии толстых журналов. Как минских, так и московских. Однажды с одним из них он разыграл прелестную шутку. Ранее тот не раз отвергал стихи Блаженного, присланные почтой. Теперь поэт решил зайти сам. Редактор, прочитав очередную подборку, нахмурил брови и сердито бросил: «Галиматья. Зачем приходите черт-те с чем? Неужели сами не видите?» Тогда посетитель, удивленно заглянув в стихи, возвращенные ему, мило сконфузился и произнес: «Извините, не разглядел в портфеле, перепутал. Это же не мои стихи, Николая Асеева». По лицу редактора пошли пятна. На этом их знакомство закончилось. Путь в «Нёман» Блаженному был закрыт. Зато какие отзывы!

«Дорогой Вениамин Михайлович! Ваши стихи опять потрясли меня, как и при чтении первой посылки. Очень важная для людей книга получилась бы из Ваших стихотворений, несомненно, всеобщее признание стало бы Вашим уделом...

Пока человек пишет стихи, музыку, картины, пока он в своем искусстве, — дело не обстоит безысходно. Я понимаю, что пишу Вам здесь банальности, но смерть занимает очень большое место, подавляющее — в Вашей поэзии, ведь преследуя эту тему, Вы тем самым подрезаете крылья своей жизненности, хоть и избываете стихами страх смерти, столь естественный для всего живого. Стихи

Ваши читаю и перечитываю. Давно уже я не радовался ничьим стихам так, как Вашим. А. Тарковский».

«Уважаемый Вениамин Михайлович! Вы пишете о самом главном: о жизни, о смерти, одиночестве, детстве. Как замечательно Ваше постоянство, какой духовной силой и мужеством надо обладать, чтобы не бояться возвращаться все к тому же и писать почти теми же словами, но по-другому... А. Кушнер».

«Дорогой Вениамин Михайлович! Ваша душа, т. е. Ваша поэзия, обволокла меня таким земным и вместе с тем таким запредельным воздухом, что жизнь и смерть — одно, и значит, ничего не страшно, хоть все трагично. А Ваши стихи с бродяжничеством, с их странным отношением с Господом нашим, с их Матерью и Отцом (которые становятся не только Вашими, а всемирными и надмирными) теперь меня никогда не покинут. Инна Лиснянская».

«Дорогой друг! Вы настоящий поэт. Это не орден. Это слова почти печальные. Потому что слова — «настоящий поэт» должны быть в комнатах — так держат их мусульмане. Настоящий поэт — редкое существо, одинокое существо. Но он нужен как птица, летящая впереди треугольника перелета на определенное гнездовье. Там не бывает ошибок. Люди и птицы проверяются полетом. Виктор Шкловский».

Перечитываю эти восторженные слова людей, которые, когда писали их, были во цвете славы и ничего не сделали, чтобы вырвать минского талантливого затворника из безвестности. Не знаю, думал ли об этом Вениамин Михайлович, получая сердечные признания на свои посылки, обижался ли в глубине души. Скорее всего — нет, ведь привел же их на обложке и на страницах книги «Сораспятье». А может быть, подавив гордость, просто уступил издателю, пожелавшему статичными литературными звездами осветить книгу. И совершенно иначе поступил деятельный рок-поэт Юрий Шевчук. В середине 90-х, когда он приехал в Минск на гастроли, его свели с Блаженным, «достопримечательностью» города. Это событие в судьбе Вениамина Михайловича стало знаковым. Уже на следующий день продюсеры и меценаты из окружения Шевчука изыскивали средства на издание книги минского отшельника. И нашли!

Но вернемся к нашим вопросам. Итак, дилемма проста. С одной стороны, перед нами несомненный талант, что далее будет подтверждено стихами, с другой — его известность пока чисто литературоведческая. Новых Шевчуков не предвидится, значит, книг — тоже. 16 тетрадей, исписанных внятным, почти каллиграфическим почерком, Вениамин Михайлович вел их с 1940 года до самого конца жизни, можно было бы издать, но кто возьмется? Одна из них, со стихами, слегка тронутая временем, у меня, и я раздумываю, кому передать ее на дальнейшее хранение. Здесь, наверное, уместно сделать небольшое отступление личного характера, тесно связанное с темой нашего разговора.

В один из летних дней 1972 года мне позвонили, кто — не помню точно, — сотрудница «Знамени юности» Галина Айзенштадт или работавший тогда в той же газете Владимир Левин. Меня хочет видеть Блаженный. Удивлению моему не было предела. Уже ходили слухи, что Блаженный гениальный поэт, которого не печатают потому, что он тунеядец, нигде не работает. К тому же нет-нет и оказывается в психбольнице по состоянию здоровья. На второй же день, улизнув с работы (отдел строительства газеты «Советская Белоруссия»), в назначенное время я пришел по указанному адресу и стоял перед дверью нужной квартиры. Открыла миловидная, улыбающаяся женщина и сказала, что меня ждут и не садятся обедать. Уточнение удивило и смутило: я же пришел с пустыми руками. Затем Клавдия Тимофеевна (как зовут жену поэта, я уже знал) пригласила меня в комнату Вениамина Михайловича. Навстречу мне встал мужчина среднего роста, непримечательный, самый обыкновенный, буквально из толпы: овал лица, в котором нет ничего еврейского, широкий нос, стрижка, которую сейчас пенсионеры называют «трехмиллиметровка», прямоугольные аккуратные усы. Рукопожатие быстрое, энергичное. Не успели мы обменяться и двумя фразами, как хозяйка

позвала нас на кухню к столу. Я старался держаться чинно, от приглашения перекусить отказывался, ссылаясь на то, что сыт. Вениамин Михайлович строго посмотрел на меня и сказал что-то вроде того, что поэт, который не обманывает в стихах, так же должен поступать и в жизни. И наоборот. Это прозвучало как комплимент. После обеда он пояснит, что давно следит за моим творчеством и в целом им доволен. Разве что подчас стихи слишком рациональны. До сих пор помню его слова: «Вы уповаете на мысль. Это так же опасно, как выезжать только на чувствах. Должна быть мера». К тому времени у меня вышла первая книжка стихов, но я побоялся взять ее с собой. Что бы он сказал о ней?

На столе, накрытом скатертью, стояли тарелки для первого. И тут случилось то, что меня привело в крайнее замешательство. На стол вспрыгнула большая белая кошка. Она потянулась и вальяжно направилась к моей тарелке, которую Клавдия Тимофеевна только что наполнила супом, с явным желанием попробовать его. Мне стало не по себе. Что делать? Отстранить рукой? Этот поступок подсказывал желудок. Или пусть лизнет? Так принято в этом доме? Иначе бы ее уже прогнали. Но как есть после кошки? И я решил: если прикоснется, тарелку отодвину. Сделаю это как можно вежливее, скажу, что расхотелось. А там будь что будет. Тем временем животное приблизилось, потянулось мордочкой к самому краю тарелки, понюхало и отошло. Мне кажется, что Вениамин Михайлович, уже приступивший к обеду, тайно наблюдал за борениями во мне, и в его глазах испытание я выдержал. Потому что он с удовлетворением заметил: «Это наша богиня. Ей позволяется все». Кошка, потеряв интерес к новичку, растянулась между блюдами и задремала.

После обеда Клавдия Тимофеевна, тяжело переступая, на подносе понесла посуду к раковине. Я уже знал, что вместо обеих ног у нее протезы. Ноги потеряла на войне. Ни тогда, ни во время двух наших последующих встреч она об этом не говорила. Все домашние обязанности и покупки лежали исключительно на этой самоотверженной женщине. Но не только это. Когда в семье появилась машина с ручным управлением, она выучилась вождению и два раза свозила мужа на Кавказ. Наверное, это единственный случай, когда такое огромное расстояние было преодолено на инвалидной машине. Это был подвиг служения мужу. Впоследствии Айзенштадты вынуждены были машину продать: ухудшившееся здоровье бывшей фронтовички уже не позволяло ей сесть за руль. Ее забота о Вениамине Михайловиче сузилась до рамок квартиры, он же из нее почти не выходил.

Мы вернулись с Вениамином Михайловичем в комнату, стены которой были уставлены стеллажами, слегка прогнутыми от папок и книг, и он начал читать стихи. Лицо его преобразилось, глаза, казалось, повлажнели. Читал нараспев, по памяти, смакуя строчки, как вкусную пищу. Я не знал точно, кого он читает, но не сомневался, что это была поэзия начала века. Только он у него не был многоликим. Лик века был печален и трагичен. Все — предмет изображения, образы, метафоры, символика, манера чтения — все было оттуда, из семидесятилетней давности. Я, словно иностранец, никак не мог вникнуть в слова, не мог переключиться. Почему-то все время в глазах стояла кухня, гора немытой посуды и тяжелая поступь Клавдии Тимофеевны. Но постепенно мелодия звуков, магия чтения околдовывали, брали в плен, вводили в мир иного бытия. Только дискомфорт от ощущения словно предугадываемой автором какой-то драмы, большого неблагополучия не исчезал. Когда поэт замолчал, я долго приходил в себя. «Чьи это стихи?» — спросил, возвращаясь, наконец, в реальность. «Что-то мое, что-то других поэтов. Плохо, что Вы не различили их. Поэт должен знать всех, кто был до него». Стало стыдно. Но память! — подумал я. Где взять такую память? Он мог, говорят те, кого он к себе приблизил (среди них и ныне работающие в литературе Наталья Ильюшина, Любовь Турбина, Анатолий Аврутин, Дмитрий Строцев, Елизавета Полеес, Глеб Артханов, Борис Ролланд и другие), читать стихи часами. Охотно верю. И поражаюсь: Вениамин Михайлович, по его собственному признанию, закончил лишь 8 классов одной из витебских школ. И — позднее — курс

учительского института. Недавно я прочел «Календарь» эрудита Дмитрия Быкова. Признается, что знает наизусть 2000 стихов. И пишет сам. Завидно! Правда, стихи его меня впечатляют меньше, чем статистика о его памяти.

В тот день, уходя от Блаженного, я испытывал противоречивые чувства. Было лестно, что удостоился визита к такому поэту. Но — понимал — разочаровал его. Не тот уровень. Он не предложил мне прочесть ни одного моего стихотворения. Я абсолютно не знаю поэтов. Запомнилась строфа одного из них: «И если на тебе избрания печать, // Но суждено тебе влачить ярмо рабыни, // Неси свой крест с величием богини. // Умей страдать». Много позже я узнал автора этих строк — Мирра Лохвицкая. И, соотнеся смысл их с судьбой Блаженного, понял, почему он это прочел. Это ведь о нем самом. Нужно только заменить женский род на мужской. И откуда-то взявшаяся тоска, уныние, беспросветность тяжким грузом опустились на мое сердце.

Спустя несколько дней по приглашению Клавдии Тимофеевны (была она и литературным секретарем мужа) у нас состоялась вторая встреча. Сценарий был тот же. Обед, кошка, стихи. В третий раз обеда и кошки не было. Стихов, соответственно, в два раза больше. Я понял, что Вениамину Михайловичу нужен слушатель. Слушатель, который бы переживал, казнил себя за необразованность и думал, как жить дальше. Я понял, вначале подсознательно, что стихи Блаженного (из милости ко мне он стал называть авторов вещей, которые читал) подавляют меня, гипнотизируют, не дают отвлечься на жизнь вокруг. В моих новых стихах вдруг появились интонации учителя. Интуитивно я понял, что общаться мне с ним нельзя. Антидепрессантов тогда в аптеках, кажется, не продавали. Да мы ничего и не знали о них. Я почувствовал, что мне ничего не светит, кроме потери творческой индивидуальности. Подавляя в себе чувство стыда, еще пару раз, когда мне позвонили из квартиры Блаженного, я сослался на занятость по работе и семейные проблемы. Последнее было правдой. Мне кажется, он все понял, но вряд ли обиделся: вольному — воля. Эта мысль рефреном проходит через все его стихи.

Правильно ли я поступил? Не знаю. Все, кого перечислил выше, из приближенных к Блаженному, с любовью говорят о нем и гордятся своей избранностью. Елизавета Полеес — его автографом. Анатолий Аврутин, например, и Любовь Турбина цитируют на обложках своих книг поощрительные слова маэстро об их стихах. Наталья Ивановна Илюшина хранит как самые драгоценные реликвии несколько писем Блаженного к ней. Мне стоило большого труда уговорить ее и дать переписать некоторые мысли Мастера о поэзии. Позже я приведу их. А сейчас, держа перед собой тетрадку Вениамина Михайловича, его «Сораспятье» и маленькую книжечку «Одинокий поэт», в которой он выступает вместе с Еленой Бобовкой; перечитывая их, я снова испытываю приблизительно те же чувства, что и тридцать девять лет назад. Правда, теперь нет обнимающего душу его голоса, закрытых век, прячущих страдание в глазах. Есть строки, как-то незримо перенявшие внутренний и внешний облик поэта. Что в них? В них то, о чем догадались Тарковский и Кушнер, — бесчисленные вариации всего нескольких тем: взаимоотношения автора с Богом, смерть и замаскированный страх перед ней, одиночество, память о печальном детстве, рано ушедших отце и матери, любовь к животным. Блаженный неустанно ходит по своим, проложенным ранее тропам, всякий раз слегка соступая с них, но далеко не отходя. Словно чувствует, что никак не может сказать единственно точное, и возвращается снова и снова. Так люди упорно ищут только что утерянную драгоценность: брошку, золотое кольцо, ключ...

Почти в каждом стихотворении присутствует Бог. Но какой! Страшно вымолвить. И после цитат я крещусь.

* * *

Уже из смерти мать грозила пальцем:
Связался сын с бродягою-Христом
И стал, как он, беспамятным скитальцем,
Спит без семьи, ночует под кустом.

Что Бог ему? Зачем он так упрямо
Бил лбом о землю, каялся в грехах
И, как ребенок, умирая, «мама!» —
Выкрикивал меж вздохами свой страх?

От матери-кормилицы, от дома
Какая увела его тоска?
Тревогою звериною влекомый,
В каком он логе Бога отыскал?

Суров и дик, Господь-детоубийца
Бродил в бору, как черный атаман,
И смертью заволакивались лица
У тех, кто верил в божеский обман.

Добро бы Бог, а то — лесная нечисть...
Ах, у Христа и вправду нет стыда!
Он души пожирает человечьи,
Он мальчика сгубил мне навсегда.

О мальчик мой, у смертного порога
Не отвращай от матери лица!
Отринь, отринь безжалостного Бога,
Земного и Небесного лжеца!..

Может ли мать, потерявшая сына, винить в жесткости Бога? Никогда! Не встречал таких матерей и не слышал о них. Несчастная женщина будет гнать от себя страшные мысли. Потому что она надеется, что сын ее окажется в раю. Как же, надеясь на это, христианка станет поносить, гневить Бога? Не верю. В другом стихотворении Бог Вениамина Михайловича «жилец собачьей будки», в третьем «кошачий Бог, играющий в величье», в четвертом «потешный», который «скачет и пляшет, и рожицы кажет мне», в пятом — «неприкаянный нищий». Затем «бесстыдник», «разнузданный», «Бог-палач»... А не жутко ли читать такую фантасмагорию: «Только бы видеть, как голубь — согбенная птаха — // Господа кормит своею повинною кровью // И как темнеет у Бога от крови рубаха: // Сыт он и пьян, утолен голубиной любовью» («Дивен Господь был, меня на земле истязавший так долго...» Или: «Господь был сыт. Он жил в собачьей будке». Нет, увольте, я таких стихов долго читать не могу. Но поистине милосерд Всевышний! Минский Иов спохватывается, и тогда рождаются пронзительные строки:

Сколько лет нам, Господь?..
Век за веком с тобой мы стареем...
Помню, как на рассвете на въезде в Иерусалим
Я беседовал долго со странствующим иудеем,
А потом оказалось — беседовал с Богом самим.

Это было давно — я тогда был подростком безусым,
Был простым пастухом и овец по нагориям пас,
И таким мне казалось прекрасным лицо Иисуса,
Что не мог отвести от него я восторженных глаз.

А потом до меня доходили тревожные вести,
Что распят мой Господь, обучающий мир доброте,
Но из мертвых воскрес — и опять во вселенной мы вместе,
Те же камни и тропы, и овцы в нагорьях все те.

Вот и стали мы оба с тобой, мой Господь, стариками,
Мы познали судьбу, мы в гробу пробывали не раз,
И устало садимся на тот же пастушеский камень,
И с тебя не свожу я, как прежде, восторженных глаз.

Вениамин Блаженный, пусть отдаленный и неточный, но все же — портрет своего библейского предшественника по судьбе. Он потерял близких: рано уходят из жизни отец, мать; бесчисленное количество стихотворений поэт посвящает им. Кончает самоубийством брат: «За датой тягостная дата, // Но мне запомнился лишь стон // Полузадушенного брата, // Когда на смерть решился он». Болезнь и смерть приемного сына (своих детей у Вениамина Михайловича не было): «Он трудно умирал, он звал меня из бреда, // И я его не спас, впервые сына предал...». Слабое здоровье. Ладно бы только инвалидность, из-за которой он мог работать только в артели себе подобных, так еще и периодические приводы в психиатрическую больницу психически совершенно здорового человека: «Больница, боль и бельма страха. // И в смерть внезапное паденье. // На мне больничная рубаха, // Я в ней похож на привиденье». Постоянная нехватка денег хотя бы на приблизительный комфорт, в котором книги занимают первое место. Ради них он отказывал себе во всем. «Есть странное пристрастье к нищете, // К ее привычке вечно быть в уроне, // К ее всепроникающей тщете, — // Как будто бы пристрастен ты к мамоне».

Из всех этих несчастий и проникает в сердце уверенность в незаслуженности своих страданий. И не только своих — страданий детей, кошек и собак, домашних и диких зверей, птиц и насекомых. Всего живого на земле... Отсюда боль, отчаяние и возмущение. У Иова: «Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего; вода стирает камни; разлив ее смывает земную пыль: так и надежду человека Ты уничтожаешь» (14:18-19). «Гнев Его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими» (16:9). «Вот, я кричу: «обида!» и никто не слушает; вопию, и нет суда» (19:7). У Блаженного: «Я — избранник немыслимой боли. // Содрогается косная плоть, // Когда пригоршни колющей соли // На стези мои сыплет Господь. // Сыплет соль мне Владыка на раны. // И от боли дышу я едва, — // И мирские пути осияны // Светом гибнущего естества». «Если Бог уничтожит людей, что же делать котенку?.. // «Ну пожалуйста, — тронет котенок всевышний рукав, // — Ну пожалуйста, дай хоть пожить негритенку, — // Он, как я, черномаз и, как я, беззаботно-лукав...» (...) «Ну пожалуйста, бешеный и опрометчивый Боже, // Возроди этот мир для меня — возроди целиком». И еще беспощаднее, страшнее, чем у Иова: «Кому теперь воздать, кому молиться в мире, // Чем стала для отцов моих земля, // Когда и сам Господь в обличье конвоира // Ярился, сапожищами пыля...»

Как видим, те же чувства, та же лексика, что и у первого легендарного протестанта. Осознал свою ужасную неправоту перед Всевышним Иов. Поначалу пал он жертвой тайного «пари» Господа с Сатаной, но сумел выпрямиться, не потерял веру в Того, Кому всегда был предан, не оправдал страстного желания Сатаны досадить Богу, доказать, что любовь Иова к нему обусловлена. Отними, дескать, у человека поощрение, и рассыплется вера.

Мучительно, глубоко уходя в себя, рассматривая себя, как букашку разглядывают (сколько раз он сравнивает себя с ней!) через линзу, Блаженный точь-в-точь по Андрею Кураеву в «Иконах и иноках» (который в свою очередь только интерпретирует великого Блаженного Августина: «Господи, если бы я увидел себя, я увидел бы тебя») видит, как ему кажется, истинные черты Вседержителя. Не сразу, повторяю, далеко не сразу обостряет поэт свое зрение. Господь то уравнивается с автором («...Ах, Господь, ах, дружок, ты, как я, неприкаянный нищий, // Даже обликом схож и давно уж по-нищему мертв... // Вот и будет вдвоем веселей нам, дружкам, на кладбище, // Там, где крест от слезы — от твоей, от моей ли — намок». То вдруг приписывает ему надменность, и звучит это из уст самого Бога, обращающегося к отцу Вениамина Михайловича, Михоэлу, «тщедушному богатырю» («Позволь же и мне с сумою // Брести за тобой, как слепцу, — // А ты называйся Мною — // Величье тебе к лицу». Некоторые московские критики, высоко оценивая это стихотворение, почему-то не чувствуют того, что слова Бога, обращенные к его земному рабу, тщедушному человеку, — «Величье тебе к

лицу» — звучат иронически. Странно, что Бог, будто смертный, придает значение выражению своего лица, да еще и знает, что оно величаво. Поставим рядом синонимы: высокомерно, надменно, кичливо, самонадеянно, тщеславно, заносчиво, напыщенно, горделиво, барственно, спесиво... Пример того, как одно-единственное слово может разрушить все стихотворение. Нет уж, куда точнее у Блаженного «Кошачий Бог, играющий в величье // И трогающий лапками судьбу».

Наконец, с возрастом, поэт, как Иов, возвращается к Богу. Но как! Любя да помня:

...Мама, я и сам все это вижу —
Он стоит, Господь, как белый храм,
Он, кто всех нам душ родимых ближе,
Кто однажды повинился нам:

Я забыл в раю о вас когда-то,
Вы уж не сердитесь на меня,
Вспомнил — и опять душа крылата:
Есть и у Спасителя родня...

«Мама, расскажи мне по порядку»

А убитый грехами — коленопреклоненно, без обиняков:

...Опять я в душе не услышал Господнее слово,
Господнее слово меня обошло стороной,
И я в глухоту и безмолвие слепо закован,
Всевышняя милость сегодня побрезгала мной.

Господь, твое имя наполнило воздухом детство,
И крест Твой вселенский — моих утоление плеч,
И мне никуда от Твоих откровений не деться,
И даже в молчанье слышна Твоя вещая речь.

«Опять я нарушил какую-то заповедь Божью»

К какой эпохе отнести стихи Вениамина Блаженного? Собственно, к любой: так мало у него примет времени, в котором он жил. Разве что жуткие свидетельства Холокоста не дадут ошибиться тому, кто о Блаженном никогда не слышал. Вот начало одного такого стихотворения: «Еще не убиты узники гетто, // Подростки и старики... // Нет Бога над Вами, судьба без просвета — // Охранники, немцы, штыки. // Зачем столько извести свезено в кучу, // Сожгла она жадно траву... // Нас будут пытать, издеваться и мучить… // Потом расстреляют во рву». Среди советских поэтов, даже прошедших войну, считалось непозволительным описывать реальности, детали казни. Помнится, когда заходила об этом речь, Алексей Марков говорил: «Фашист хватает ребенка за ноги и бьет головой о стенку. Разве можно живописать такую сцену? Это натурализм, не поэзия». Думаю об этом, читая в начатом стихотворении: «Он будет давить ее, как гробовая // Плита — и раздавит живот, // И встанет испуганно мертвая Рая, // И кровь свою в горсть соберет...». Не знаю, спорит ли здесь Вениамин Блаженный с Алексеем Марковым, но описанное не просто берет за живое, а вызывает нервный тик от представленного. И заходится сердце в потрясении от высокой поэзии на ту же тему.

Дети, умирающие в детстве,
Умирают в образе зайчат.
И они, как в бубен, в поднебесье
Маленькими ручками стучат.

Господи, на нас не видны раны
И плетей на нас не виден след...
Подари нам в небе барабаны,
Будем барабанить на весь свет.

Мы сумели умереть до срока —
Обмануть сумели палачей...
Добрести сумели мы до Бога,
Раньше дыма газовых печей.

Мы сумели обмануть напасти,
Нас навеки в небо занесло...
И ни в чьей уже на свете власти
Причинять нам горести и зло.

Блаженный для меня — синоним страдания одинокой души. Оно у него очистительное, как у Достоевского. Человек добр потому, что страдал. От страдания он получил все, даже свой гений. Это Анатоль Франс. И мастерство, хочется добавить, вспомнив Переверзеву: «Слеза укрупняет строку». У Блаженного ручейки печали, реки тоски, заводи и старицы одиночества — все они стремятся к морю, имя которому страдание. Участь этого всепоглощающего чувства не постигла только несколько стихотворений. «Все живое тоскует — тоскую и я по бессмертью». Через несколько строф автор, правда, вопросительно-утвердительно спрашивает: «Да и так ли я был одинок? Разве небо // Не гудело в груди, как огромный соборный орган?» Наверное, гудело, но подтверждений этому в стихах до обидного мало. Есть выходящие за тему страдания несколько стихов о женщинах, и этому радуешься, как заблудившийся в мрачном лесу человек выходит, наконец, на опушку. В них поэт, может быть, тоже почувствовавший тоску, но уже по жизни, пишет так, как ни один классик в русской литературе:

Кто из нас не пытался из женщины делать богиню,
Кто из нас не стелил ей под ноги небес синеву,
Но богини в звериных чащобах ходили нагими
И медвежистым дюжим самцам отдавались во рву.

И со взмыленных бедер смывая ладонями похоть,
И презрительно щуря кошачьи шальные глаза,
Они просят нас больше расхожею ложью не трогать,
Ибо только безумцы способны их звать в небеса.

Мог ли поэт, написавший такие строфы, считать, что он в поэзии лишний человек? Или такие: «Не плачьте обо мне, собаки, люди, кошки, // Уже я не приду из сумрачной травы, // Уже я не живой, — но есть досада горше: // Есть участь быть живым — и обижать живых. // О, нет, я не хотел обидеть самой малой // Букашки — ведь она какая-то родня // Тому, кто в этот мир, бездомный и усталый, // Пришел на склоне лет, пришел на склоне дня. // Пришел на склоне вех, пришел к концу событий, — // Ах, как моя душа по жизни извелась, // Но ветхие нас всех связали с жизнью нити, // Лишь дунет ветерок — и нить оборвалась». Однако Вениамин Михайлович в письме к Борису Чичибабину, поэту родственной судьбы и ровеснику, писал: «В поэзии я — человек лишний, обо мне никто не знает, иногда дикий след мой мелькнет в альманахе или журнале («День поэзии-83», «Новый мир», № 9, 88 — псевдоним «Блаженных», искаженное «Блаженный») — и снова ледяная пустыня одиночества. Между тем я пишу уже полвека. Порою мне кажется, что меня никто бы не услышал, если бы даже я писал тысячелетие».

Среди моих знакомых-поэтов есть несколько человек, опубликовавшихся в «Новом мире». Этот факт их творческой биографии они ставят так высоко, что вряд ли кому пришла мысль об этой публикации как о диком следе в ледяной пустыне одиночества. Появление в столь уважаемом традиционно, с Твардовского, журнале — это признание, известность. Блаженный считал иначе. Завуалированная гордость читается в его словах. Гордость человека, знающего о себе больше, чем другие о нем. Ведь его высоко оценил сам Пастернак. Худенькому мальчику, пришедшему к нему домой со стихами, он на прощанье дал ассигна-

цию, на которую тот вполне мог пообедать. Вениамин Михайлович хранил ее всю жизнь. Реликвии дороже у него не было. А тут какой-то «Новый мир»! Но когда отчаяние проходило, он, возможно, догадывался (или перечитывал Мишну): вознаграждение измеряется мерой страдания. И писал новые стихи о старом.

Тяжело их читать даже сегодня, когда мир съехал с катушек и напоминает дом, зажженный террористами со всех сторон. Не часто открываешь книгу, впечатление от которой, как от посещения музея Холокоста. Но, очевидно, такова была миссия поэта. Блаженный культивировал страдание, хотя не мог не чувствовать, что оно не может быть «источником полноты потенции, составляет лишь часть полноты» (вряд ли он читал на немецком «Альтнойланде» Теодора Герцля). Трудно возразить. Для Блаженного важнее радостей плоти было как можно честнее и искуснее выписывать переход из одного состояния души к другому в осознании необходимости выбора добра и отрицания зла. Путь сей полон боли, сомнений, раскаяния в поступках, уводивших в сторону от великого морального курса. Отсюда и его упреки Всевидящему, как бы смотрящему на зло сквозь пальцы. Не предугадал ли феномен Блаженного Иоанн Лествичник: «...плач есть укоренившаяся от навыка скорбь души, имеющей в себе огонь» (божественный. — *Ю. С.*)? Или Гусейн Джавид: «Ведь плачущее сердце и в тоске // Находит неизведанное счастье»?

Сам Вениамин Михайлович об этом сказал иначе: «Если бы мне сказали, что я написал удачное стихотворение, я бы оскорбился. Это все равно, что сказать: «Ах, как хорошо ты плакал». Для меня поэзия — это исповедь, это плач, это — моление. Когда поэт умело сочиняет, когда он на все руки мастер — он не поэт. Он не может быть поэтом. И у композитора, и у художника — одна тема, один путь. Путь! И на этом пути кто-то бредет сурово, а кто-то приплясывает, валяет дурака — и все это зачтется». Сказано в 1996 году в разговоре с главным редактором журнала «Монолог» Алексеем Андреевым. Тогда же прозвучал и ответ поэта тем, кто упрекал его в запанибратском отношении к Богу: «Меня часто упрекают в фамильярном отношении к Богу. Но когда кошка трется о ноги хозяина — разве это фамильярность? Это полное доверие. Это родство. Фамильярность всегда с оттенком пренебрежения, чего у меня никогда не было и не могло быть».

Блаженный мечтал издать такую книгу, в которой он раскрыл бы читателю все душевные перипетии своих исканий, начиная с 1940 года. Для этого он определил в ней 21 раздел. Вот эти главы: «Ищу душу», «Кровь на алтаре», «Судьбы дней», «Блужданья», «Неправый суд», «Под ветра крышей», «Алый в бочке», «Скитанья духа», «Даль и близь», «Цыганское», «Земля в небе», «Прежде смерти», «Дух окровавленный», «Потери», «Земной круг», «Возвращение к душе», «На пороге безмолвия», «Единоборство», «Произвол», «Обет небытия», «Сораспятье». Последняя и содержит лучшее из запланированного в полном объеме.

К сожалению, наследие Блаженного известно далеко не все. Еще не расшнурованы папки, содержащие кроме стихов и дневниковые записи поэта. Ведь он писал ежедневно! Даже приходящих к нему стихотворцев заставлял немедленно, при нем, доставать блокнот и писать. На любую тему. «Поэт не должен бездельничать», — не уставал повторять великий труженик. Из всего, что вокруг, можно извлекать поэзию. О том, как важно было бы нам почитать прозаические наблюдения, мысли Блаженного, говорят хотя бы извлечения из его переписки с Натальей Ивановной Ильюшиной. Вот они.

«Я ведь тоже влюблен в воду, родился и вырос на Западной Двине, Витебск. Затем жил на Оке и Волге. Столько обаяния было для меня в шумном и влажном имени Волга, что не раз я на случайных лодчонках выплывал на просторы ее необъятности. Волга меня не выдала. Я тонул, но остался жив».

«Курортный пошлый Кавказ, уподобленный размалеванному базарному котукопилке» — это здорово! (Цитата из письма Натальи Ильюшиной Блаженному. — *Ю. С.*) Так мог бы написать и Маяковский. Еще в 30-е годы Пастернак писал:

И славить бедный юг
Считает пошлость долгом.
Он ей, как роем мух,
Обсижен и обглодан.

Но есть другой Кавказ, дикий, романтичный Кавказ Лермонтова и Петровского:

Каким простым великолепьем
Казались справа облака.
Кавказ да глаз ими облеплен.
Чалмы висят на ледниках.

Дмитрий Петровский. Я знал человека, уже старика, который всю свою жизнь посвятил Кавказу. Исходил его вдоль и поперек, и ему не хватило на это жизни. Бывает, что какое-то прекрасное растение густо облеплено мошкарой, но вот дунет ветер или наступит вечер, мошкара исчезает, остается красота. Величественная в своем одиночестве. Вы должны и мыслями, и повторными заездами снова и снова побывать на Кавказе. Уверяю Вас: всякое новое знакомство будет откровением. Я был на Кавказе дважды и кое-что о нем написал. Но Кавказ от меня заслонил Лермонтов. Может быть, на Кавказе надо писать постоянно, чтобы стать большим поэтом. Ведь недаром так прекрасны поэты Грузии, Армении, Азербайджана. Поэт с фальшивым голоском никогда ничего путного не напишет о Кавказе. Слишком огромен резонанс долин и гор, пропастей и ущелий. Но и Крым, конечно, не Масюковщина. Его древнее бытие чем-то ближе античности, Элладе. Даже море в Крыму старше, чем на Кавказе. Всю жизнь хотел я жить у моря, но судьба зорко следила за моими желаниями. Из всех из них ничего не вышло. Будь я волен в своей судьбе, поселился бы не в Москве, с ее ширпотребом, и уж конечно с легкой душой расстался бы с Минском. Жить бы мне в береговой стороне на берегу моря, хоть сторожем маяка. Напрасно Вы пишете о каких-то планетах в моей поэзии. Я просто собака, гонимая людской жестокостью и забравшаяся в репейник. Но судьба гонимого обострила мне древний слух, и мне по-звериному порою понятна сырая красота земли. Копите впечатления, порою даже злые, ироничные, распахнитесь всему навстречу, не боясь ударов. Тогда придут настоящие стихи. Всего доброго, привет от Клавдии Тимофеевны. Ваш В. А. 21 июля 1987 года».

«Да, конечно же, истинное призвание поэта — самопознание, а не коллекционирование туристских впечатлений. Но я это и имел в виду, и в данном случае путешествие — это катализатор, ускоряющий и углубляющий этот процесс. В противном случае мы получим столь же хлесткую, сколь не обязательную поэзию очерка и фельетона, типа Евтушенко. В стихотворении Пастернака 30-х годов есть удивительные строчки: «Дивясь, как высь жутка, а Терек дик и мутен, за пазуху цветка и я сползал, как трутень». То есть, отдавая дань восхищения Кавказу, поэт занят своим исконным трудом, отрада которого — одиночество. Кавказ, конечно, не обязательный источник вдохновения, но, согласитесь, он впечатляет. И благо тому, для кого он родная почва. Кавказ иногда опасен, как опасна всякая красота. Но ведь и скука домашних размеренно однообразных дней иссушает душевные силы. Конечно, я имею в виду Кавказ первозданный, а не Кавказ санаторно-курортный. Курортники всюду одинаковы и с одинаковым успехом джентльмена удачи играют в карты на берегу Черного и Балтийского моря, а дамы делятся пикантными секретами. И все же проигрывать воспоминания, как дирижер мысленно проигрывает симфонию, хорошо в том случае, когда жизнь хотя бы отдаленно соответствует тому плану, который каждый из нас рисует в юности. Но что делать с такой жизнью, которая идет внутри тебя, как проглоченная рыбья кость? Не будем тешить себя иллюзиями, что можно сидеть в норе и сочинять гимны океану. Эти гимны поневоле будут попахивать под-

вальной гнилью. Поэтому я все-таки собака, загнанная в репейник, а не вольный зверь. Рад, что Вы нашли чтение для души. Грузия страна поэтов, у них и проза дышит поэзией. К. Гамсахурдия — классик, любимец грузин. Из современников очень талантлив Отар Чевадзе, поэт и прозаик. Особенно ярок его роман «Железный театр». Пишите, как Вы устроились, как в дороге, лечитесь ли Вы? Мы с Клавдией Тимофеевной на том же уровне. Всего доброго. Привет от Клавдии Тимофеевны. 5 августа 1987 г. Ваш В. А.».

Заметки о Вениамине Михайловиче хочется закончить его стихами:

...И это обо мне вам сказано в Завете:
Не троньте малых сих, взыскующих Христа,
И будьте в простоте забот своих, как дети,
Зане лишь их сердцам открыта высота.

И это обо мне вам сказано сурово:
Он будет бос и наг, и разумом убог,
Но это на него сойдет святое слово
И горестным перстом его пометит Бог...



ПАВЕЛ БОЯНКОВ

Житие и небытие плещеницкой округи

Записки приходского священника

Хлопоты простого сельского отца-батюшки весьма способствовали моим путешествиям по перепутьям и проселкам плещеницкой округи — самой северной части Логойского района Минской области. И не такая уже и глухомань там. Однако еще совсем недавно на лесной дороге от Двиносы до Горно медведь напал на женщину и сильно ее помял. Если бы не собака, вспугнувшая хищника, дело могло закончиться совсем плохо.

Деревеньки и местечки, встречи и разговоры с разными людьми. Надо ли удивляться, что впечатления от них сами просятся на бумагу, они как в капле воды отражают нашу историю и современность, всю нашу судьбу.

Вот асфальтовое шоссе внезапно сменяется довоенной брусчаткой, проложенной сталинскими заключенными. А вот пожилая женщина без особой причины вспоминает фамилию какого-нибудь местного пана Ясинского:

— А так, говорят, хороший был хозяин, потом еще больница была в его доме.

В памяти людей сохранились ярмарки и праздники, своеобразная жизнь, которая уже никогда не вернется.

— А где же ваши дети? — спрашиваю.

— Разъехались все кто куда...

— А навещают ли вас?

— Иногда приезжают за шкваркой.

Именно поэтому минувшая жизнь напоминает ту 92-летнюю бабульку из Чмелевичей, которая кое-как доживает свой век в маленькой хатке-развалюхе[1].

Почему же так опустели крестьянские хаты? На этот вопрос, как известно, можно отвечать по-разному. И рыба ищет, где глубже... Однако один из ответов для себя я нашел на деревенских кладбищах, засыпанных осенней листвой. Первая характерная черта — множество крестов и памятников с одинаковыми фамилиями. Это значит, что здесь лежат родственники, прадеды и правнуки, целые семьи. Простые крестьянские лица светятся со старых фотоснимков. Судя по датам рождения и смерти, у каждого 70, 80 и больше прожитых лет. А рядом с ними...

— Не святите, батюшка, эту могилку, не надо — тут молодые самоубийцы. Этот повесился, та перерезала себе вены. Того убили по пьяному делу...

И нет конца этим жертвам. Вот они — итоги отчаянья, бездуховности, утраты веры в Бога.

«Наши родители жили с Богом, а нас отучили...» — услышал я от одной женщины, пришедшей навестить родственников.

Как отучали? Воспользуюсь таким примером.

---

[1] Это написано еще в конце 1991 года.

В двух километрах от деревни Двиноса, в горненском лесу, течет чудотворный родник, о котором существует народное предание. Однажды оказался возле этого родника слепой, заблудившийся в лесу. После молитв слепого явилась Матерь Божия, приказала ему промыть глаза родниковой водой — и слепой сразу прозрел. С того времени люди стали почитать это место, оставили возле родника деревянную часовню и кресты. А вот о том, что случилось позднее, во времена правления Хрущева, можно точно узнать из одного архивного документа уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по Минской области Логвиненко от 12 июня 1960 года, направленного в адрес уполномоченного по делам РПЦ по БССР Ковалева.

«На территории Задорьевского сельского Совета Плещеницкого района в лесу, приблизительно в трех километрах от деревни Горно, имеется «святое» место — родник. На второй день Троицы здесь ежегодно собирается значительное число верующих. В этом году было 150—200 человек. Раньше здесь была часовня, но в 1939—1940 годах она была властями разобрана, убраны кресты. Позднее над родником был устроен навес и установлено 2 креста. Один из них был установлен в 1960 году. До 1955 года сюда приезжал священник из Крайска.

Со вторым секретарем Плещеницкого РК КПБ Литкевичем, председателем исполкома райсовета тов. Черкасовым и его заместителем тов. Вечером я договорился о ликвидации названного «святого» места и о недопущении в дальнейшем никаких сборищ.

Навес над родником, настил и кресты будут убраны и сожжены, а сама криница будет залита соляркой и засыпана хлорной известью.

Указанное «святое» место взято мною на учет. Будущей весной, за несколько дней до Троицы, я сам выеду в Плещеницкий район, где вместе с партийными и советскими органами приму участие в проведении мероприятий по недопущению паломничества. По данному вопросу мною проинформирован Минский областной комитет КПБ»[1].

За словами не замедлили и дела. Родник заровняли бульдозерами, засыпали хлоркой. Не так ли попытались заглушить и родники нашей православной веры? И это никак нельзя назвать случайным делом. Начнем, например, с самих Плещениц[2].

Недалеко от нынешнего автовокзала стояла деревянная церковь Св. Архистратига Божия Михаила. Была она закрыта в самом начале 30-х годов и до самой войны использовалась как зернохранилище. В 1941 году во время боев церковь сгорела. Уже после войны в деревне Прилепцы, рядом с Плещеницами, была построена на народные деньги деревянная церковь Св. первоверховных апостолов Петра и Павла. Тамошний священник получил земельный участок будто бы для постройки собственного дома, а построил церковь. Закончилось все это тем, что в 1962 году священника перевели в другое место, а церковь разобрали и перевезли в деревню Комаровка, где из нее сделали клуб. Кстати, именно в этом клубе довелось мне освящать яблоки на праздник Преображения. Спустя тридцать лет...

Деревянная Свято-Никольская церковь деревни Хатавичи (по-советски Октябрь) после закрытия (примерно в 1933—1934 гг.) также превратилась в зернохранилище...

---

[1]Нац. арх. РБ (ЦГАОР БССР, ф. 951, оп. 3, ед. хр. 42, д. 2, л. 207—208).

[2]Главная часть сведений сообщена мне Татьяной Михайловной Залуцкой (1922 г.р.), дочерью священника Михаила Соболько (1888—1993). Прихожане до сих пор хранят добрую память об о. Михаиле. Несмотря на все притеснения и штрафы, он не переставал крестить детей у себя на дому или в частных домах. Представители местных властей, которые днем штрафовали священника, под покровом ночи сами тайно крестили у него своих детей. Перед смертью (в возрасте 105 лет) батюшка причастился и тихо отошел. Отпевал и хоронил его я на праздник Крещения Господня в 1993 г.

Приписной к Хатавичской церкви была деревянная, крытая осиновым и еловым гонтом Свято-Покровская церковь деревни Горавец, построенная в 1753 году. Была она закрыта в 1929 году. Через год или два сломали купола.

Затем тут поочередно размещались клуб, склад, конюшня, снова склад. И так до полного запустения.

Крайск. Каменная Свято-Никольская церковь (построенная в 1874 г.) в центре местечка. Приблизительно в конце 1943-го — начале 1944 года средняя часть храма сгорела то ли от рук немцев, то ли партизан. В притворе церкви после войны торговали керосином, а в конце 70-х годов ее перестроили под клуб.

Каменная церковь в честь святителя Алексия Московского (1897 г.) и теперь стоит на кладбище между Крайском и деревней Рогозино. Сохранялась примерно до 1955 года, когда и была закрыта после выхода на пенсию священника Михаила Соболько. Года через два в помещение храма начали ссыпать химикаты и удобрения. Долгое время находилась в страшно запущенном состоянии.

Между деревнями Красное и Двиноса стоит на кладбище деревянная Свято-Покровская церковь, которая была приписной к Крайскому приходу. Также после 1955 года пришла в запустение.

Такая же, как рассказывают местные жители, деревянная церковь во имя Рождества Св. Иоанна Предтечи стояла на кладбище деревни Избище. И ее снесли... тракторами.

И это уже в 80-х, таких недавних годах.

На кладбище деревни Горно до сего дня сохранился нижний венец деревянной церкви, предположительно — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Других сведений у меня нет.

Деревня Камено. В окрестностях находится гора, названная Казаковой. Согласно народным преданиям, на ней в 1812 году стояли казаки, нанесшие окончательный удар остаткам наполеоновской армии. Разбитые русскими войсками французы вместе с Наполеоном некоторое время пребывали в Камено, в бывшей Никольской церкви ставили лошадей, а когда их там настигли казаки и Чичагов, то, уходя, французы сожгли эту церковь. На третий день после пожара местночтимая икона Божией Матери с Предвечным Младенцем была найдена на обгорелом столбе церковной ограды и долгое время сохранялась прихожанами.

В дальнейшем стараниями и на средства графа Михаила Тышкевича при участии прихожан в 1841 году в Камено была построена Свято-Преображенская церковь. Деревянная, на каменном фундаменте, в виде продолговатого креста, с одним куполом посредине церкви. Приписной к ней была кладбищенская церковь в Чмелевичах. Теперь от них не осталось и следа, как и от многих других приписных церквей (Завишино, Задворники и др.).

Таким образом, в бывшем Плещеницком районе не осталось ни одной действующей церкви или часовни. Вместо духовной жизни — духовное небытие.

Закрытию храмов, как правило, сопутствовали аресты, расстрелы и высылки духовенства и активных прихожан.

В 30-е годы погибли представители старинного священнического рода Садовских: о. Михаил, о. Сергий, их брат Иван — все уроженцы Плещениц (их отец, священник Иаков Садовский был настоятелем Плещеницкого храма в 1867—1900 гг.), подверглись репрессиям их родственники.

Священник Иоанн Бруякин (настоятель в Плещеницах с 1909 по 1922 гг.) был арестован в 1935 году.

Протоиерей Иоанн Неслуховский (настоятель в Плещеницах с 1924 по 1929 гг.), по воспоминаниям старожилов, был убит в собственном доме где-то в начале 30-х годов.

Протодиакон (или диакон) Петр Мархелов вместе с матушкой Еленой и детьми на рубеже 20—30-х годов выслан за пределы БССР, по некоторым свидетельствам, был впоследствии убит.

Уроженец деревни Чмелевичи протоиерей Феофил Триденский арестован в 1931 году и приговорен к 3 годам высылки. Дальнейшая его судьба не известна.

Священник Владимир Юшко, бывший в 1916 году настоятелем в Хатавичах, арестован в 1933 году и получил пятилетний срок исправительно-трудовых лагерей. Дальнейшая судьба не известна.

Священник Василий Ажгирей, в первой половине 20-х годов настоятель в Хатавичах. Арестован около 1929 года и осужден на высылку в Иркутскую область. Дальнейшая судьба не известна.

Иван Константинович Симонович — в 20-х годах член церковного совета в Хатавичах, расстрелян в 1938 году.

Протоиерей Анатолий Гандарович служил в 1942—1944 годах в Крайске. Арестован в 1946 году и приговорен за «сотрудничество с немецкими оккупационными властями и антисоветскую деятельность» к 10 годам ИТЛ и 5 годам лишения прав с конфискацией имущества. Этапирован в один из концлагерей Магаданской области. Освобожден в 1953 году, реабилитирован в 1964 году.

Иеромонах Мефодий Филимонюк, в 20-х годах настоятель в Горавце, арестован в 1929 году вместе со старостой и активными прихожанами. Получил 3 года высылки. Дальнейшая судьба не известна.

Одновременно с ним был арестован и священник Константин Будель, настоятель в Горно. 3 года лишения свободы. Дальнейшая судьба не известна.

Не дерзну утверждать, что список этот исчерпывающе полон. Но в коротких строках (большая их часть взята из 2-томного энциклопедического справочника Леонида Морякова) как в зеркале отражается вся трагическая история гонений на Православную церковь в XX веке.

Однако не хотелось бы завершить это повествование на столь печальной ноте. Наперекор всем стараниям безбожников родник народной духовности не иссяк, не заглох. Времена изменились. Обновился церковный приход в Плещеницах, там в течение 1992—1999 годов построена деревянная Свято-Петропавловская церковь, настоящее «творение народного зодчества»[1]. Летом 1999 года мне довелось принять участие в торжественной службе освящения этого храма.

В течение 1994—2000 годов практически на старом месте выстроена церковь в деревне Хатавичи. Нельзя не отметить истинно подвижнические старания Татьяны Михайловны Залуцкой. И вновь, по милости Божией, мне посчастливилось участвовать в освящении этого храма.

Построенная в 1912 году, церковь в Двиносе была полностью отремонтирована зимою 1991/92 годов. Тогда же были возобновлены регулярные богослужения. Упокой, Господи, души усопших раб твоих — Николая, Станислава и Владимира, потрудившихся ради этого благого дела!

В Горавце регулярные богослужения были возобновлены в конце 1991 года. В настоящее время ремонт церкви практически завершен.

К 2000 году были полностью восстановлены церкви в Крайске и Рогозине.

Освящение Крайского храма и крестный ход в том же юбилейном году забыть никак невозможно.

Построены храмы в Великих Нестановичах (в честь Св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, освящен в 2004 году), в Околово (в честь Казанской иконы Божией Матери, освящен в 2005 году), возобновлены приходы в Избище, Камено, Горно, Засовье.

Хорошо известно, что ломать легче, чем строить. Много, очень много понадобилось терпения, средств, материалов. А сколько их еще понадобится!

Но именно так прокладывается путь от небытия к жизни.

Плещеницы с сентября 1991-го по октябрь 1995-го. Четыре года жизни рядового приходского священника. Вся округа на запад, север и восток радиусом — не менее 30 километров.

---

[1]См.: А. Н. Кулагін. Праваслаўныя храмы на Беларусі. Мн., 2001, с. 160.

Богослужения, молитвы, жизни и судьбы, человеческое общение. Радости и горести прихожан, крещения и отпевания, праздники и венчания, проводы в армию, застолья и искушения.

Предсмертные исповеди и напутствия, деревенские хаты и кладбища, панихиды у памятников последней войны, кабинеты начальников и больницы, автобусы и попутки, заднее сиденье мотоцикла и достаточно часто пешие переходы.

Сколько хороших людей, по-настоящему крепких верующих, упорных тружеников, ушедших солдат Великой Отечественной, их детей и внуков — сколько их, моих плещеницких прихожан. Помоги им всем, Господи! Уже не помню некоторых имен, но не забыл лица, до сих пор раздаются их телефонные звонки и приглашения погостить. В короткие наезды видишь бывших малолеток, в свою очередь ставших папами и мамами, собирающихся за водой у святого родника. Жизнь продолжается…

«Но, если бы писать о том подробно, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21: 25).



Розы и полынь

В поэтическом мире редко найдется избранник муз, который бы критически оценивал свое дарование, тем более преуменьшал его. Чаще происходит наоборот — среди своих собратьев он ходит гоголем, сдерживая раздражение, что и другие ведут себя так же. Непризнанные, недооцененные, несправедливо незамечаемые издателями «гении» дают волю своим чувствам в стихах. Тем более есть великий пример: «Нет, весь я не умру…» Вот кто-то написал, что он пришел в мир, чтобы научить его любить. Заменим местоимение «я» на слово «поэты», и получается замечательная формула. Поэты действительно приходят в мир, чтобы научить его любить. Но «я» все убивает. Так же странно в признаниях молодой поэтессы прочитать, например, «мой талант развивался…». Есть определенная нравственным чутьем мера самоуважения, которая не должна позволять человеку говорить о себе в превосходной степени.

И все-таки есть, есть поэты, которые настолько взыскательны к себе, что умаляют свое присутствие в поэзии, внушая читателю, что оно почти невидимо. Чрезмерная скромность, самоуничижение тоже опасны для таланта. Он усыхает, как цветок без полива. Уверенность в себе, смелость и дерзновенность — питательная среда вдохновения. Зато таким, как бы сознательно уходящим в тень поэтам почему-то больше веришь. В их словах больше правды, чести, они подкупают искренностью. Признания, особенно признания в ошибках, выраженные просто, без стилистических изысков, словно выдохнутые на бумагу, смущают и твою душу, сообщают ей как бы дополнительное зрение. Наверное, так чувствует себя священник, принимающий исповедь грешника. Автор таких стихов невольно становится твоим заочным другом. Может, есть в этом почти невидимая подоплека некой психологической кривизны: наверное, человеку свойственно желать приблизить к себе другого, который бы не был выше, ярче тебя. Не оттого ли красивая девочка, как правило, выбирает себе в подружки внешне явно уступающую ей?

На эти рассуждения навела меня книга стихов белорусского поэта Ивана Логвиновича «Элегія палескага матыля», вышедшая после смерти поэта, в издательстве «Кнігазбор». Конечно же, о себе писал он в стихотворении «Паэт»:

Адступае жыццё, адыходзіць…
Не, не — адлятае!
Разам з буслікам белым
Над лотаццю даўняй вясны.
Яго славы нягучнай
Крушынавы куст аблятае.
А лаўровых вянкоў
Ён не бачыў і нават не сніў.

Как это близко по духу к Василю Годулько!

Свет адмовіў паэту ў каханні.
Проста так, без усякіх падстаў.
Той пакрыўдзіўся, засумаваў,
захварэў і памёр на світанні.

Но Годулько, понимая, что уходит безвестным, провидчески пишет, что эта безвестность временная, что стихи вернут людям его имя:

Але вершы, якія ён склаў,
мар ягоных чароўныя здані,
летуценні свае, спадзяванні
у магілу з сабой не забраў.
Нехта іх у сталіцу паслаў.
Неўзабаве ў прыгожым выданні
яго шчырага сэрца прызнанні
цэлы свет з заміраннем чытаў.
Свет адмовіў паэту ў каханні,
а самога ўсё роўна прызнаў.

Недаром и Василя Годулько, и Василя Сахарчука Иван Логвинович считал «аднадумцамі-аднаверцамі» и «дарадцамі». Своими стихами они помогали ему преодолевать удары судьбы (после почти сорока лет работы в шахтах Донбасса Логвинович стал инвалидом III группы). В порыве светлых чувств он писал: «І пайду на водар медуніцы, // Пакуль дзіўны кветнік не завяў, // Там сярэбранае дно ў крыніцы, // Залатое горла салаўя. // Пеюна таго Гадулька слухаў, // Сахарчук з тае крыніцы піў… // Прэч з вачэй маіх,назола-скруха! // Не марудзь, дарогу саступі». Соступала, но реже, чем хотелось бы. Что влияло на это? Барановичи, где жил поэт, все-таки периферией не назовешь. Разве что отчасти. Недостаток друзей, редакторов, критиков? Нет, он переписывался с Леонидом Голубовичем, видным белорусским поэтом и ревнителем национальной литературы, и Леонид Михайлович посвятил ему не одну рецензию. Особенное вызывало в нем уважение сыновнее, трепетное отношение барановичского поэта к родному языку. Вернувшись из Донбасса, где полжизни говорил и писал по-русски, Иван Филиппович сумел возродить в себе язык отечества и издать на нем пять книг. Тепло отзывались о поэте Микола Прокопович, Алесь Бокач, Анатоль Сидоревич, написавший предисловие к «Элегіі палескага матыля». Что же ввергало поэта в состояние, при котором он с трагичной иронией писал:

Я ведаю, пасмяротна
Радзіма мяне ўзнагародзіць
Ордэнам Залатога
Палескага Матыля.
Лагоднаю летняй парою,
Няхай сабе і нядоўга,
Будзе ён красавацца
На зялёнай стужцы
Раслінкі-самасейкі,
Што да сонца памкнецца
З магільнага капца.

Вряд ли кто ответит сегодня на эти вопросы. Мне кажется, что поэт чувствовал в себе нереализованные силы, ставил перед собой планку, которую, по его мнению, не удавалось взять. Оттого и разлад в душе, и ощущение напрасно уходящих дней. Ну и безусловно, сказалась болезнь, преодолеть которую было невозможно.

Не дождался Иван Филиппович этой последней своей книги, четырех месяцев не хватило. Никогда мы не были знакомы с ним, хотя одногодки, одного, предвоенного поколения выкормыши, печатались в одних изданиях, да и много лет жили на расстоянии менее двухсот километров. А вот вникая в его «Элегію», не могу избавиться от чувства, что ушел от меня личный друг. Слишком много похожего в отношении к жизни. Поговорить бы, «пройтись» по стихам. Иногда так не хватает общения с тем, кто тебя понимает! Уж не знаю, сколько бы хорошего сказал ему о стихотворении «Птушка міласць». Высокую планку взял он в нем. Вот оно:

* * *

Мне б наяве дайсці
Да таго таямнічага дрэва,
Што здалёк гэтак вабіць
У казачных марах і снах…
Між высокіх галін
Для святых ацаляючых спеваў
Птушка Міласць каплічку
Звіла з залатога руна.

Ад заходніх і ўсходніх
Падманліва-шкодных напеваў,
Ад грахоўных спакусаў
Мяне ўратавала б яна.
Але я заблукаў…
Не ступіць мне ні ўправа, ні ўлева:
З аднаго боку — прорва,
З другога — глухая сцяна.

А наперадзе — хмара
З грымотна-агучаным гневам
Страшыць дзідай, падобнай
Да той, што была ў Лангіна.
І вяртаюся я да тапалі,
Што згвалчанай дзевай
Забаўляе, люляе ў гняздзе
Байструка-груганa.

Это стихотворение — одно из немногих лучших, созданных в белорусской и, не побоюсь этого слова, мировой поэзии. В 24 строках — судьба романтически настроенного юноши, столкнувшегося с беспощадной реальностью жизни и не сумевшего ее преодолеть. Рисунок его настоящего и будущего поражает беспросветностью предстоящего. Метафора молнии, напоминающей копье одного из палачей Иисуса Христа, не только отсылает нас к библейскому сюжету, но подводит к мучительной мысли о жертве Христа, не приблизившей человечество к Богу, не изменившей мир, переполненный злом. Вот как об этом говорит митрополит Антоний Сурожский в одной из своих проповедей: «Нам трудно поверить, что Бог может находиться в сердце трагедии, и однако это так. Он находится в сердцевине трагедии, в самом страшном смысле, предельная трагедия человечества и каждого из нас — наша отдаленность от Бога, тот факт, что Бог для нас далек, как бы близко Он к нам ни был, мы не ощущаем Его с той непосредственной ясностью, которая дала бы нам чувство уверенной безопасности и породила бы ликование». На эти мысли наводит последняя строфа стихотворения. Моральная деградация, что кроме нее вопиет в словах «згвалчанай» (заметим, не девкой — девой, пропасть между этими понятиями) «байструка-григана»? И до чего жутко контрастирует с этими картинами «люляе», «забаўляе». Почему-то вспоминается однажды виденное: пьяная женщина укачивает своего (чужого?) малыша.

Если бы у Ивана Логвиновича написалось только это стихотворение, он бы уже никогда не выпал из литературы, как с дерева птенец, до времени почуявший силу. Нет, он полетел. Некоторые большие поэты обосновались в кроне этого святого древа всего лишь несколькими строчками: в доску партийный Николай Тихонов — «Гвозди бы делать из этих людей, // Не было б в мире крепче гвоздей». Николай Ушаков, счастливо открывший, что «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Честно сокрушающийся Давид Самойлов: «Как нас чествуют, и как нас жалуют… // Нету их — и все разрешено». Редко афористичный Арсений Тарковский: «Семь голубей — семь дней недели. // Склевали корм и улетели».

А тут целое стихотворение.

Но рядом с ним нет такого же, равного по силе. Разве что отрывок из неоконченного стиха о судьбе белорусского языка: «Рэзервацыю моўную // Век дваццаць першы паменшыў // Да памеру кватэры, // Дзе мушу я лепрыем жыць». Остальные вещи в книге, говоря по-белорусски «хістаюцца». В русском нет такого же точного слова. С десяток стихов нахожу замечательными. В них талант Логвиновича горделиво выпрямляется:

* * *

Адгадуй валасы да пояса,
Падзялі на тры часткі роўныя,
Запляці парой сенакоснаю
Разам з промнямі сонца яснага
І касою той, што не клеплецца
І не вострыцца, бо не тупіцца,
Пакасі на палетку ростані
Пустазелле маёй журбы.

«Дудар іграў»

Очень личное, а значит, это птица ближнего неба. И, уже ожидаемая, журба, которую поэт точно называет «пустазеллем». Или такое:

* * *

Адну жанчыну суцяшаў:
На трыццаць пятым годзе аўдавела;
Другой спагадна спачуваў:
Не даў Бог мамай называцца;
А трэцюю паслухаў — і заплакаў:
Яе ніхто ніколі не кахаў...

На первый взгляд, поэт точно проник в психологию женщины. Если бы… Если бы не одно но: женщина, которую никто не любил, сама никого не любила, никого не хотела, прожила свой век холодно и бесстрастно, как мебель, никого не заинтересовав. Отвечают на огонь, на блеск в глазах, на поиск близкого себе. От гордости, богатства, самолюбования красотой или глупого страха перед своей некрасивостью (последняя исчезает в глазах, улыбке, словах) отодвигаются, проходят мимо. Именно

такой я представляю женщину, которую никто не любил. Сочувствовать можно, плакать — вряд ли. Неужто ошибаюсь? Значит, сердце Логвиновича отзывчивее моего. Зато как проникновенно он пишет о той, с которой познал «Каханне большае за сэрца // І большы за каханне боль»! Или о женщине, которая ему по сути никто, чужой человек, социальный работник, но она Женщина с большой буквы. Такая не станет жаловаться, что ее никто не любил. Не любить ее невозможно.

Дзень на зыходзе, сонца заходзіць,
Ціха з прысадаў цені выводзяць.

Ты пакідаеш свет мой рэальны
І адыходзіш у віртуальны…

Словам ці жэстам не затрымаю,
Бо я такога права не маю.

Пашчыравала дбайна ў кватэры,
Чыста памыла вокны і дзверы,

Смачную страву прыгатавала,
На развітанне пацалавала…

Больш чым каханка, але не жонка.
Кажуць суседзі: ты — прыхадзёнка».

Прыхадзёнка

В книге «Элегія палескага матыля» есть раздел, содержащий избранные произведения, взятые из ранних сборников. Называется он «Палыновыя кветкі». Название не случайно. Взято оно из стихотворения «Запавет».

Хочется процитировать заповедь целиком, чтобы опровергнуть главный ее пафос.

Я пад зоркаю цёмнай
Талісман свой згубіў,
Часта з чашы бяздоннай
Горыч роспачы піў.

Землякі! Калі ўлетку
Сном апошнім засну,
Палыновыя кветкі
Лягуць хай на труну.

Не шукайце на помнік
Мармур або граніт —
На капец кіне поўнач
Згаслы метэарыт.

Быў я сціплым паэтам,
Не ўслаўляў міражы —
Помніка і букетаў
Лепшых не заслужыў.

Стихотворение по-юношески радикальное и даже немного эпатажное. Вряд ли хоронили дорогого Ивана Филипповича без цветов, затмивших полынные. Вряд ли друзья и близкие не думают уже сегодня о памятнике замечательному белорусскому поэту. Не потерял он свой талисман, поскольку тот привел его к любви и памяти людей, ценящих поэтическое слово. Ну а полынь, напомню напоследок, это растение из семейства астроцветных, оно очень полезно, так как обладает целебными свойствами. Цветы, которые возлагают на могилы, этим похвастаться не могут. Приду поклониться праху Ивана Филипповича, обязательно захвачу несколько веточек полыни. Как настоящий поэт он их заслужил. Не меньше, чем, скажем, букета роз.

Сергей ЮРЬЕВ

b

Алхимик

*— Существует три типа алхимиков,
— ответил он.
— Одни тяготеют к неопределенности,
потому что сами не знают своего
предмета.
Другие знают его, но знают также и то,
что язык алхимии направлен к сердцу,
а не к рассудку.
— А третьи? — спросил я.
— Третьи — это те, кто и не слышал
об алхимии,
но сумели всей жизнью своей открыть
Философский Камень.*

Пауло Коэльо, «Алхимик»

Он выбрал несколько самых ярких из своих разноцветных воспоминаний — те, что заставляют сжиматься или сильнее биться сердце, плакать, улыбаться, злиться, радоваться, ненавидеть и прощать. Разбавил взятыми в равной мере контрастными чувствами и переживаниями: взволнованностью и спокойной уверенностью, безысходностью и надеждой, неприятием и всепоглощающей любовью. Добавил правду, тщательно перемешанную с вымыслом, хорошую долю самокритики, не умаляющей чувства собственного достоинства. Не забыл про сексуальность — не ту кричащую, выставляющую себя напоказ, а самую простую, натуральную, неотъемлемую от человеческой природы. Нашел незамысловатые, но единственно верные образы и выражения. Затем, не изменяя своему принципу естественности, перемешал все это и переплавил в слитки высокопробной прозы…

«Может быть, и в самом деле нет более алхимической области, чем область слова, особенно слова художественного. Стоит только задуматься над его происхождением, над влиянием его на нас, над его связью с нашим сознанием и подсознанием, и тут же окажется, что самое время вспомнить о том, с каким упорством алхимики преследовали свою извечную цель: получить благородный металл из простых составляющих», — отметил русский советский писатель, академик Российской академии наук, главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Залыгин в предисловии к первому русскоязычному изданию (1972 г.) блестящего трактата о писательском искусстве «Алхимия слова», созданного польским прозаиком Яном Парандовским.

Исходя из понимания писательского творчества как алхимии слова, опираясь на вышеназванный трактат, я и хочу поговорить о книге популярного белорусского писателя Андрея Федаренко «Мяжа» (2011 г.), состоящей из одноименного автобиографического романа-эссе и подборки лучших созданных в последние десятилетия рассказов.

«Мне кажется, что самое важное в жизни писателя, — рассуждал белорусский классик Иван Мележ, — это изведать, в чем ты сильный, в чем слабый, как ты можешь лучше высказать себя, что ты сможешь дать людям. Самое важное — найти свое место в жизни, свою дорогу, изведать, найти себя». Лауреат Литературной премии имени Ивана Мележа Андрей Федаренко, подойдя к своей жизненной черте под номером 45 — *«Сорак пяць… Сур'ёзная лічба. Крытычная, небяспечная мяжа. З ёю не пажартуеш»,* анализирует в романе-

эссе «Мяжа» пройденное и написанное именно по этим критериям.

Притом уже сама форма романа и его стиль наводят на мысль об алхимии: дневниковые записи, отрывки из ранних произведений, наброски, философские рассуждения, разнообразные ассоциации находятся в едином сплаве. «Границы писательского искусства нельзя устанавливать ни по литературным жанрам, ни, еще того меньше, по тематике. Если же так иногда и поступают, то просто подчиняются предрассудкам своей эпохи», — утверждает Парандовский, а Федаренко демонстрирует полную свободу от предрассудков, и надо сказать, очень успешно.

Вместе с тем он, говоря словами польского литератора, «живет в мире, как в зачарованном круге. Со всех сторон ежеминутно его осаждают впечатления, и ему достаточно взглянуть на них, чтобы попасть под их чары — удивление, восхищение, ужас или хотя бы простая симпатия позволяют ему увидеть их такими, какими до него их никто не видел, и удерживать их, воплотив навеки в слове. Писатель не позволит ни одному впечатлению уйти, исчезнуть, не оценив его эстетической ценности», вот хотя бы так: *«Людзі вакол жывуць — ты адлюстроўваеш гэтае жыццё, усё піхаеш, усё ўкладаеш, як пракляты, самае лепшае сваё ў нейкі беспрацэнтны, банкрутны банк — без надзеі на аддачу…*

І ўсё ж настае момант, толькі трэба яго дачакацца, фізічна дажыць да яго, калі літаратура пачынае не толькі браць, а і аддаваць. (…) І вось раптам заўважаеш жоўты кляновы ліст пад нагамі… І ўспамінаецца іншая восень… І замаруджваюцца крокі… І думка — ці не ўпершыню ў жыцці — а засталося ж менш, чым прайшло! Круці не круці, а трэба памярці… (…) Вось гэта і ёсць вышняя ўзнагарода літаратару-аўтару — калі тое, што так часта праклінаў: ну чаму, чаму не такі як усе?! — пачынае адкрывацца ў іншым святле» (роман «Мяжа»).

Подтверждением сказанному служит также любой рассказ, включенный в сборник. Взять, например, «Памарак» — короткую, немного смешную, немного трогательную историю об одинокой деревенской женщине, позавидовавшей неожиданному счастью подруги, к которой посватался вдовец, впавшей в депрессию и убедившей себя в том, что на нее навели порчу. Так называемую порчу как рукой сняло от прописанного терапевтом успокоительного и пояснения подруги: *«Я ж не паспела табе сказаць тады, што да яго нейкая баба з Залозак, таксама ўдава, сваталася, у прымы хацела пераманіць… А каб я не перахапіла і ён пайшоў? Што б мы без яго рабілі? Ты ж знаеш, які мой зяць, дарма што разумны, а на работу нікудышны, ён жа ні араць, ні малаціць, ні каня запрэгчы, ні кабана забіць… А гэты будзе нам мужчынаю адзін на двох…».* Симпатия — пожалуй, в данном случае ключевое слово для обозначения авторского отношения к своим героям.

Впечатлительность не мешает Андрею Федаренко реально оценивать не только увиденное, но и написанное им самим. Так, включив в роман свой первый рассказ «Сачыненне», он, анализируя произведение как бы со стороны, дает в скобках замечания как редактор, а не как автор: *«Гэта была высокая, дзябёлая жанчына, якая вельмі глядзела за сабой: падмалёўвала губы, павекі, пудрылася. Апраналася яна вельмі па-сучаснаму, што зусім ёй не ішло, бо Клара Іванаўна была ў гадах.*

А ўсё ж партрэты і апісанні прыроды цярпімыя, як для самага першага ў жыцці апавядання (выделено автором текста. — *Н. Я.*).

Яна спынілася пасярод аўдыторыі, цярпліва чакаючы, пакуль сціхне шум і ўсе падымуцца…»

К слову сказать, портретные и пейзажные описания у Федаренко всегда были выразительными, а с опытом пришло и мастерство: *«Вуліца яшчэ спіць, захутаная ў белы ранішні туман; спіць сваімі шэрымі, вільготнымі ад багатай расы платамі, мокрымі дрэвамі і травою ў агародах, спіць нязвыклай для вёскі цішынёю хлявоў і хат, нават пеўні яшчэ маўчаць, а Сыч ужо тупае з веласіпедам; сам ідзе сцежкаю паўз плот, дзе цупчэй і не бярэцца да падэш-*

ваў мокры пясок, а веласіпед стараецца каціць па траве, каб памыліся расою шыны. Адна рука ляжыць на рулі, другая — прытрымлівае вялікі кашэль на багажніку, абвязаны чыстай марляю. Ад прахалоды каўнер пінжака ў Сыча падняты, клінковая кепка з гузікам зверху насунутая па самыя вочы; правая калашына, каб пры яздзе не ўкручвалася ў цэп, забраная ў шкарпэтку, як робяць дзеці, таму правы чаравік на тонкай ля костачкі назе здаецца большым за левы. З-пад кепкі зыркаюць вочы чалавека пажыўшага, які ніколі ні ў чым не засумняваецца, які цвёрда ведае, што ўсё, што робіць ён, адзіна правільнае і ўсё навокал для яго аднаго…» (рассказ «Сыч»).

«Мяжа» — книга-переосмысление, книга-исповедь. Каждый из нас не единожды подходит к определенному жизненному рубежу, к этапу в своей биографии, где начинается переосмысление пройденного и особенно остро чувствуется потребность высказаться, раскрыться, рассказать о себе. Писатель имеет для этого больше возможностей, чем кто-либо.

И если в романе Андрей Федаренко от своего имени поднимает извечные вопросы смысла жизни, то в рассказах («Галя», «Аднакласнік», «Куда идти в лесу?» и др.) над этим вольно или невольно задумываются его герои: *«Белыя, зацягнутыя хрусткім лядком лужыны патрэсквалі пад нагамі, і Снарскаму думалася, што гэта яго жыццё, як гэты лядок, лёгка ламаецца і патрэсквае... Жыццё... Ды ці ведаў ён жыццё? Вырваны зуб? Ноч з прастытуткаю? Нудная, нецікавая работа, хворая, чужая яму жонка, тэлевізар, піва, мары пра канцлагер — у 25 гадоў! — і так прайшло больш чым паўгода, і ўсё тое ж наперадзе!..»* («Галя»).

Для самого прозаика смысл жизни неразрывно связан с творчеством. Он переосмысливает не только свои жизненные ошибки и достижения, но и творческие. Приводя в романе отрывки из ранних произведений, Федаренко признается, что ему стыдно за эти первые пробы пера, но не из-за их художественной слабости, а по другой причине: «Амаль усё, што там напісана, «было на самой справе». Гэты сказ гучаў, і гэты эпізод быў падгледжаны ў жыцці. А значыць, думалася 23-гадоваму «пісьменніку», яно як мінімум мае права на існаванне. (…) Тое, як хутка могуць старэць, выходзячы з ужытку, дэталі — розныя рублі-капеечкі, порткі-джынсікі, прычоскі-фрызурыкі, пэйджэрыкі-мабільнічкі, прывязаная да свайго недаўгавечнага часу лексіка, аднадзённыя слоўкі-тэрміны — яшчэ паўбяды. Нічога так не старэе, як прамыя словы, прамыя думкі, прамое дзеянне...».

В свое время Гете высказал подобную мысль: «Высочайшие произведения искусства — те, которые обладают наивысшей истиной, но не имеют ни следа реальности». Парадоксально? Только на первый взгляд. Читателями и начинающими писателями чаще всего то, что «было на самом деле», воспринимается как синоним истины. Но истина в художественном произведении — это то, что выражает наивысшую достоверность, саму суть происходящего, но не привязано к реальным, т. е. конкретным вещам, словам и событиям.

Это же подтверждает Андрей Федаренко во входящем в сборник рассказе «Аднакласнік»: *«Дзіўныя людзі, адкуль гэтая вера, што пісьменнік перш-найперш павінен кідацца на чужыя сюжэты? Яму менш за ўсё гэта цікава. Пісьменніку трэба дэталь, іскрынка: які-небудзь кляновы сухі ліст пры дарозе, зламаная травінка, трэшчына ў асфальце, выпадкова пачутая мелодыя ці нават проста чырканне запалкі аб карабок, — і гэтага дастаткова, каб сюжэт сам сабою «ўспыхнуў», прыдумаўся, і сюжэт гэты можа атрымацца больш рэальным за любую жыццёвую гісторыю, бо сфакусіруе многа падобных гісторый…»*

Выше я упомянула читателей. О них ведется особый разговор в романе: *«Я не ведаю свайго чытача, не надта веру, што ён — сапраўдны — існуе, а калі існуе, дык прызнаюся, што пазбягаю і пабойваюся яго. Найперш за непастаянства і ўсяеднасць. (...) абавязкова ж на якім-небудзь 58-м апавя-*

данні адвернецца і плюне: «18-е было лепшае! Выпісаўся!»

Если верить Яну Парандовскому, такое отношение к читателям является абсолютно нормальным и оправданным для алхимика слова: «Нет более жестокого слова о писателе, как то, что он «кончился» или пережил свое творчество. (…) Произведение искусства — акт веры и отваги. Отдавая его на суд общественности, надо быть готовым принять все последствия этого шага, а некоторые из них ошеломляют не только новичков. При издании каждой новой книги автор переживает те же тревоги, что и при издании первой. Даже упроченное в литературе положение, даже добытое уже имя этих тревог не смягчают. (…) Писатель никогда не может быть уверен, что его новая книга будет принята читателем так же благосклонно, как и предыдущие, что ею не пренебрегут, не признают неудачной, в старости даже самые крупные писатели не застрахованы от горечи отчужденности от нового поколения, которое от них отворачивается».

Однако, читатель все время благосклонно относится к произведениям Андрея Федаренко, и, учитывая его умение работать над собой, объективно оценивать свои возможности и достижения, горечь отчужденности этому писателю не грозит, потому что «Кто четко различает характер и границы своего дарования и, вместо того, чтобы бунтовать, будет сам себе послушен, обязательно добьется успеха, а может быть, даже счастья, столь редко выпадающего на долю хороших писателей» (Парандовский).

Но зачем все это нужно — радость вдохновения, переходящая в муки творчества, надежды и разочарования, переживания, взлеты и падения? Зачем писать? Для кого писать? Вопросы смысла творчества, как и смысла жизни, остаются вечно актуальными.

В рассказе «Мыла» читаем: *«Дык а наша пісьменніцкая праца, хіба гэта не тое ж «мыла»?! Адсюль «мыльныя оперы», серыялы, «мыльныя эпапеі» і г. д. «Мылам» называюць літаратурную цягамоціну… І як тут не згадаць бессмяротнага Лёвіна з «Ганны Карэнінай», які, «разглядаючы і разгортваючы духмяны кавалак мыла, прамовіў: — Гэта ж твор мастацтва!»*

Хіба мы, майстры пяра, не займаемся тым усё жыццё, як толькі «наразаем» раманы, п'есы, аповесці, навелы і кладзем іх для агульнага карыстання, паняцця не маючы, хто іх забірае, якая з іх каму карысць, у якую прорву яны знікаюць?..»

«Госпадзі! — восклицает Федаренко в романе «Мяжа», *— Мне ўжо самому цікава, для чаго ж тады, якой трасцы я так люта, так утрапёна пісаў?*

Якога ражна ўвогуле піша пісьменнік, якому не патрэбны ні чытачы, ні грошы, ні слава, ні практычныя, прыземленыя выгоды: якісь СП, якіянебудзь лакальныя прэміі і вынікаючыя з іх прывілеі?!»

Думаю, здесь в качестве объяснения подойдет употребленное Парандовским понятие «писательского инстинкта». Писатель, вдохновленный идеей, выбирает вид словесного творчества как один из возможных для себя, а после выполнения своей миссии осознанно или интуитивно берет «самоотвод». Для того, кому присущ «писательский инстинкт», творчество и есть жизнь, и его писательская миссия заканчивается только вместе с жизнью — «Я перестану писать, когда перестану жить» (Петрарка).

Наталья ЯКОВЕНКО

b

Наталья ГОЛУБЕВА.
Сказки тетушки Руфь. Для детей среднего школьного возраста.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

В этой книге начало, как в добрых старых сказках. В тех самых, на которых воспитывалось не одно поколение юных читателей: «Жила-была на свете, в дремучем лесу, вдалеке от людей ...». Однако сразу же заметно и то, что это именно авторская сказка. Героиня Натальи Голубевой, тетушка Руфь, оказалась в лесной чащобе не по прихоти каких-то злых сил, а по доброй воле: «Когда Руфь была еще юной златовласой красавицей и жила в панском доме, со всей округи приезжали к ней свататься самые завидные и богатые женихи. Но никто ей не нравился, потому что все разговоры они вели только о богатстве — хвастали, кто больше всех земли и слуг имеет». Так и нашла она уединение в лесу, где Дровосек научил ее «язык обитателей леса понимать». А потом подружилась Руфь с ежихой Чифой, ястребом Реем, зайчихой Трасис... Со временем у нее много друзей появилось, которые в благодарность ей сказки дарили. Их и можно прочитать в этой книге. Кстати, некоторые из них переведены на английский язык.

Іван КАРЭНДА.
Воплаўская госця. Кніга прозы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Иван Каренда, известный как автор нескольких сборников лирики, а также поэтической книги для детей «На загадкі ёсць адгадкі», на этот раз предстает перед читателем как прозаик. В повести «Воплаўская госця» рассказывается о жизни сельского учителя Степана Ловдача, образ которого раскрывается правдиво и психологически точно. Ловдач — из учителей, которые нашли в своем труде призвание. Но жизнь его круто меняется: умирает жена, затем обстоятельства складываются так, что он вынужден поменять работу. Однако герой не разочаровывается в людях, не утрачивает душевного тепла, а еще в его жизни появляется воплавская гостья... Пристальным вниманием к современности характеризуются и рассказы «Прыцемкі», «Скрыпка з Берліна», «Нявыкрутка» и другие. Да и разделы «Гісторыі-мініяцюры» и «Нататкі» — также возможность вместе с писателем задуматься над жизнью, лучше понять нашего современника.

Станіслаў ЛЕМ.
Непераможны. Раман і апавяданні.
Пераклад Анатоля Бутэвіча.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

«Непераможны» — название не только романа выдающегося польского писателя-фантаста Станислава Лема, вошедшего в этот однотомник, но и корабля, на котором герои его, ученые, отправляются на планету Регис. Полет не обычный. Цель его — выяснить, где, почему и как исчезла команда звездолета «Кандор». Оказывается, погубили их не космические жители, а необычная туча, обладающая чертами живого организма... Остросюжетны и рассказы, вошедшие в сборник. Героев их также на каждом шагу подстерегают мыслимые и немыслимые опасности. Однако, как бы трудно ни приходилось, космические путешественники выдерживают экзамен на звание человека. В этом и заключается гуманистический пафос произведений С. Лема.

Уладзімір МАРУК.
Кудмень. Вершы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Название этой книге дал сам Владимир Марук, безвременно ушедший из жизни 23 января 2010 года. Тем самым он, по сути, вернул из небытия давнее, призабытое слово, которое означает амулет, оберег. Но так получилось, что своей очередной поэтической книги поэт не дождался, хотя она и была уже

набрана. Что ж, времена не лучшие для поэзии. Но тем более отрадно, что «Кудмень» все же пришел к читателю. Благодаря Литературно-издательскому учреждению «Літаратура і Мастацтва», в котором работал В. Марук. Познакомившись с этим сборником, читатель как бы услышит голос поэта, узнает, чем он жил, что его беспокоило. В предисловии «Слова чыстае, як першы снег», написанном Алесем Мартиновичем, есть такие слова: «Дзесьці ў гэтых высокіх-высокіх, а таму і далёкіх-далёкіх нябёсах лунае цяпер душа У. Марука. Сам жа паэт па-ранейшаму з намі. Дзякуючы і гэтай кніжцы. На жаль, у жыцці ягоны кудмень аказаўся не такім і ўсясільным. Не засцярог яго ад заўчаснай смерці. Затое, я веру, гэты амулет у яго даўняй беларускай назве стане для чытача, чуйнага да сапраўднай паэзіі, абярогам ад бездухоўнасці, амаральнасці — усяго таго, з чым змагаўся сваім словам У. Марук.

У добры час, «Кудмень».

Валентин МАСЛЮКОВ.
Рождение волшебницы. Клад. Роман.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Так и хочется сказать: читайте свое, белорусское. Уже первая книга Валентина Маслюкова из его цикла романов (на очереди «Жертва», «Потоп», «Побег», «Погоня» и «Любовь») убеждает в том, что русскоязычные писатели, живущие и творящие в Беларуси, как говорится, запросто могут заткнуть за пояс многих литераторов, поставляющих свою книжную продукцию из Москвы и Санкт-Петербурга. У В. Маслюкова есть все, что делает его произведения интересными. Это прежде всего — захватывающий сюжет, острота действия. Казалось бы, уже разгаданная загадка, державшая в напряжении читателя, вдруг оборачивается новой интригой, да такой, что все предыдущее кажется всего лишь своего рода прелюдией. События реальные переплетаются с фантастическими. Очень выразителен в романе исторический и этнографический фон. Не обошлось и без многого другого, что дает основания говорить о том, перед нами фэнтези, причем написанное талантливо, мастерски. Бесспорно, почитатели этого литературного жанра с удовольствием познакомятся с этой книгой.

Яраслаў ПАРХУТА.
Сонечныя борці. Аповесць, лірычныя навелы.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2011.

Томик «Сонечныя борці» — достойное пополнение серии «Беларуская проза ХХ стагоддзя», ибо творчество лауреата Государственной премии имени Кастуся Калиновского Ярослава Пархуты (этой высокой наградой была отмечена его книга «Зямля бацькоў нашых») принадлежит к тем страницам современной белорусской литературы, которые всегда будут востребованы читателем, любящим настоящую художественную прозу. К таковым относится «аповесць пра палескага рабінзона» (а именно так определил жанр сам автор) «Адзінец», в основу которой положен реальный факт: житель деревни Бастынь Ивацевичского района Иван Бушила 42 года прожил в глухом лесу, скрываясь от людей. Он и поведал Я. Пархуте одиссею своей жизни. Широко представлена в книге также и малая проза, а это лирические и философские новеллы.

Генадзь ПАШКОЎ.
У далонях свету. Вершы. Паэмы.
Укладальнік Людміла Календа.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2011.

Избранное Геннадия Пашкова «У далонях свету» в первую очередь адресуется учащимся, поэтому и вышла книга в серии «Школьная бібліятэка». Однако, несомненно, ее с удовольствием прочитают и многие другие любители поэзии. Г. Пашков пишет в традиционной манере. В сборнике представлены стихи на разные темы: о родной природе, о бережном к ней отношении, о будущем земли, челове-

чества. Г. Пашков рассуждает о культуре белорусского народа, обращается к некоторым персонажам литературы, искусства, не обходит он своим вниманием и тему любви. Вошли в книгу и две поэмы «Дыстанцыя небяспекі» и «Легенда Прыпяці», что свидетельствует о том, что автор чувствует себя уверенно и в большом поэтическом жанре.

Елизавета ПОЛЕЕС.
Не приучай меня к себе… Стихи.
Мн.: Ковчег, 2011.

Вениамин Блаженный как-то заметил: «Стихи Елизаветы Полеес прежде всего эмоциональны, — а это основополагающее качество настоящей поэзии. Вся панорама любовных чувств, все тайны женской души перед нами обнажены целомудренно и бесстрашно (как в гениальной поэзии Ахматовой). Порою чувства достигают подлинных высот самой чистой поэзии». Насколько прав В. Блаженный, убеждаешься, знакомясь с новой книгой Е. Полеес «Не приучай меня к себе…». Оставаясь верной теме любви, поэтесса всесторонне раскрывает внутренний мир своей героини — нашей современницы, которая живет, любит, страдает, в чем-то разочаровывается, что-то не принимает, оставаясь оптимистом: «Что свершилось — то свершилось. // Плакать — поздно. Надо — сметь, // Чтобы голову кружила // Звёзд начищенная медь, //Чтобы Путь искрился Млечный, // Словно молодость сама, // Чтобы длилась бесконечно // Песнь, сводящая с ума».

Сергей РАССАДИН.
Князья, графы и бароны в Беларуси (конец XVIII — начало XX вв.).
Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2010.

«История титулов в биографическо-личностном аспекте» — такое подзаглавие имеет книга Сергея Рассадина. Как сказано в аннотации, «эта тема, совершенно невостребованная в истории советского периода и, казалось бы, ушедшая в небытие, обнаружила в наше время живой и неподдельный интерес, хотя для читателей она остается terra incognita». Этот пробел и ликвидирует С. Рассадин, который ведет обстоятельный разговор об истории титулов (от латинского titulus), которые означают «почетное наследственное или пожалованное звание (например, князя, маркиза, графа, виконта, барона и др.». Среди титульных личностей самый большой «старожил» князь. Первый из известных белорусских князей — Рогволод. Кстати, слово «князь» происходит от готского «kuni», что в переводе означает «старшина клана». Период XVII — начала XX вв. взят автором по следующей причине: «...с первым разделом Речи Посполитой в 1772 году начался не только конец этой державы, но и следующий, — наверное, наиболее интересный этап истории титулов в Беларуси». В книге использованы многочисленные архивные материалы, в том числе ранее не опубликованные, а то и вообще ранее не известные, что, конечно, еще больше усиливает интерес к книге. Примечательно и то, что она богато иллюстрирована. Основную нагрузку несут цветные иллюстрации, помещенные на тридцати двух страницах. Если учесть, что на некоторых страницах их до шести, то получается как бы альбом в книге.

Павел САКОВІЧ.
Князь-карась. Вершы. Загадкі. Усмешкі-пацешкі. Казкі. Абразкі. Жартаўлінкі. Баечкі ў прозе.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Новая книга Павла Саковича адресована детям. Она примечательна своей многожанровостью. В одинаковой степени П. Саковичу удаются как поэтические, так и прозаические произведения. В первую очередь это касается сказок «Цып-цып і Жоўцік», «Самы смачны яблык», «Ком-блін і Вожык», «Ветрык-мастак», сказки-загадки «Ветлівая вандроўніца» и т. д.

Многие произведения написаны с улыбкой, наполнены тонким юмором. Как, например, стихотворение «Дзед-

Бязменасмен», где обыгрываются два слова — бизнесмен и безмен:

— Дзед наш рыначнікам стаў!—
Горда Стась сябрам сказаў.
— Кожны тыдзень на базар
Носіць з дачы ён тавар.
А з сабой бярэ бязмен...
Дзед у нас — бязменасмен!

Анатолий ШАРКОВ, Владимир ГРОЗОВ, Юрий БЕСТВИЦКИЙ.
Под крестом судьбы.
Мн.: Белорусская Православная Церковь; РОО «Родители и учителя — за возрождение православного образования», 2011.

Нельзя не согласиться с авторами этой книги: «К сожалению, мифы которые сопровождали войну (Великую Отечественную. — *В. С.)*, все еще существуют. Из новых архивных документов извлекалось зачастую лишь только то, что работало на конъюнктурные интересы средств массовой информации и недобросовестных исследователей. Вне поля зрения осталось еще много писем и дневниковых записей ее участников, которые при вводе их в научный оборот существенно дополнили бы картину военных событий». Многое из того, что замалчивалось, по разным причинам воспринималось необязательным, даже в чем-то второстепенным, а поэтому не получало надлежащей огласки. Особенно это касается глав «Свет над куполами», «Голгофа», «От Сибири до Белого моря», в которых рассказывается о взаимоотношениях Православной Церкви и государства в трудные тридцатые годы прошлого столетия и в войну. Противники советского строя, а в первую очередь немецко-фашистские захватчики, рассчитывали на поддержку верующих, но ошиблись: «Церковь не поддалась искушению рассчитаться с властью за понесенные ею невосполнимые материальные потери, массовые репрессии и гибель многих тысяч священнослужителей и рядовых прихожан». Поэтому «патриотизм духовенства и верующих России, Белоруссии и востока Украины оказался сильнее обид и неприятия, вызванных долгими годами гонений на Православие». В книге также рассказывается о материальной помощи, которую Церковь оказывала государству, прослеживаются судьбы некоторых священнослужителей.

Василь Слуцкий

Николай ИВАНОВ.
Имею слово. Стихи. Библиотека Союза писателей Беларуси.
Мн.: Харвест, 2011.

Когда начал писать стихи полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванов? В каком году состоялась первая публикация его стихов в прессе — в раннюю пору или гораздо позже, уже когда он вернулся с войны кавалером орденов Славы и Красной Звезды, продолжая службу в Советской Армии? Зачастую рецензенты стремятся непременно уточнить и указать эти временные даты, хотя они абсолютно ничего не меняют в оценке произведений писателя. Ведь речь идет прежде всего о художественном уровне написанного автором.

С позиции именно объективной оценки поэзии Иванова и хочется начать разговор о его новой книге — сборнике стихов «Имею слово», который был издан в прошлом году в известной серии «Библиотека Союза писателей Беларуси».

О высоком понимании автором значения слова писателя в общественной жизни можно судить уже по первому, должно быть, программному, стихотворению Н. Иванова — «Слово», которым и открывается книга:

Пред нами личностью,
то нежной, то суровой,
встает Его Величество —
простое слово.

И неудивительно поэтому, что с первых же страниц сборника нас увлекает мир поэтических образов автора, его правдивый рассказ о пережитом на войне, о тех фронтовых дорогах, которыми он прошел до самого Берлина. Воспоминания, воспоминания...

Я был сегодня на войне,
на той, далекой — в сорок пятом.
Она из прошлого пришла ко мне
в шинели фронтовой солдата.

В руинах, в пепле вижу города,
а в селах — трубы-обелиски...
Бурьян в полях посеяла беда,
по свету разбросала близких.

«День Победы»

Стихотворение за стихотворением разворачивают перед читателем этой книги героическую, но неимоверно трудную, полную опасности службу солдата-фронтовика, суровую обстановку, где «и смерть, и жизнь ходили рядом». И когда сегодня седовласый ветеран Великой Отечественной встречается с молодежью и его спрашивают — «Было ль страшно на войне?» — он, не раз смотревший смерти в глаза, отвечает просто и искренне: «Лгать не позволяет совесть. // Было страшно, не таю. // Страх и долг в душе боролись — // Долг опорой стал в бою».

Долг перед Родиной... Перед страной, которая подверглась нападению фашистских орд. Да есть ли что-то выше этого святого долга — защищать свою страну, свой народ от врага?! Во все времена наш доблестный воин, не щадя жизни, отстаивал священные рубежи своей Родины — так было, так есть, так будет всегда. И потому испытавший себя в боях солдат с полным правом, убежденно говорит:

Сила духа — тверже стали.
В Курской битве, в Понырях
Сталь горела — мы стояли.
Месть из сердца выжгла страх.

В перечне замечательных стихотворений, посвященных Н. Ивановым теме Великой Отечественной войны, хочется отметить не только выше процитированное стихотворение «Было ль страшно на войне», но и другие: «Дорогами войны», «Братская могила», «Знамя Победы», «Память в прошлое вернулась...».

Радует, что в своем творчестве Н. Иванов обращается и к другим житейским темам, жизненным фактам и событиям, которые волнуют современника. Голос поэта, поэта-гражданина звучит с неослабевающей силой и сегодня. Он живет интересами страны, в поле его зрения — насущные вопросы нашего бытия. Даже названия главок сборника свидетельствуют об этом: «Я по природе — славянин» (о дружбе народов на постсоветском пространстве), «Пронизан болью» (о жгучих проблемах общества) и т. д. Не забывая свое родное Подмосковье, где прошли детские и юношеские годы, поэт во многих стихах высказывает горячую любовь и признательность Беларуси, ее людям.

От стен Московского Кремля
до Бреста — кто не знает, —
везде славянская земля,
везде земля родная.
И там, и здесь она мне мать.
Со всей сыновней силой
Русь Белую хочу обнять,
обнять хочу Россию.
Я по природе — славянин,
мой род — источник силы.
Я Беларуси гражданин
и гражданин России.

«В Москву...»

Любовь, восхищение нашей республикой, богатой природой белорусского края, звучит во многих его стихах. Один из них — «Логойские пейзажи». Тонко чувствующий природу художник, Н. Иванов вдохновенно передает краски «утренней зари» в окрестностях Логойска: «Люблю логойские холмы, // лесов нетронутый убор // и в дымке утренней из тьмы // чуть голубеющий простор».

И естественно, как каждый поэт, Н. Иванов не обходит стороной еще одну волнующую тему — с нежностью пишет о сокровенном, неповторимом чувстве любви к женщине, воспевает женскую красоту и благородство: «Чту душу чуткую твою // и нежность пью с ладони узкой... // Тебе я сердце отдаю, // моей Мадонне белорусской» («Я помню дни...»)

Но сколь гневен голос поэта, когда он возмущается нарушением моральных устоев в обществе, пишет о падении нравов, пагубном влиянии на молодежь зарубежных фильмов и телепередач, о мире «попсы»...

Можно было бы, как водится, сказать в конце рецензии и о некоторых погрешностях, недостатках в стихах

автора, тех, которые, возможно, писались наспех или повторяли не лучшим образом уже известные темы и сюжеты. Но не они определяют ценность увидевшей свет книги Н. Иванова. Даже требовательный читатель найдет в его стихах созвучие своим мыслям, своей душе. А это — главное.

Евгений Коршуков

Дмитрий СЕЗЁМИН.
Вечное и земное. Стихи.
Могилевская областная типография им. Спиридона Соболя, 2011.

В 2011 году в Могилевской типографии им. Спиридона Соболя увидела свет книга молодого поэта Дмитрия Сезёмина «Вечное и земное». Дмитрий, педагог Дома детского и юношеского творчества «Эверест», увлечен поэзией с детства. Он упоенно читал книги больших поэтов России, особенно полюбил стихи Александра Блока и Максимилиана Волошина. Сам начал сочинять еще в школе, но из чувства скромности никому стихи не показывал. Только недавно, когда их случайно нашел его отец Юрий Семенович и отнес в газету «Могилевские ведомости», их стали печатать. Появилась поэтическая подборка и в газете «Зямля і людзі». В прошлом году начинающий поэт стал одним из лауреатов конкурса стихов на Симоновских чтениях, которые проводятся в Могилеве в день рождения знаменитого поэта, писателя, военного корреспондента К. Симонова.

Живое русское слово Д. Сезёмин глубоко чувствует: его отец Юрий Семенович из Вологды, да и сам Дмитрий до 14 лет жил и учился в школе в России и впитал в себя народный русский говор.

О чем пишет молодой стихотворец? Тематика его произведений довольно широка. Стихи Д. Сезёмина короткие, а строки наполнены интересными сравнениями, эпитетами, метафорами, емкими образами, например: «облаком белым кажется день», «и странность темноты вдруг задрожит под лезвием восхода», «созвездие Дева трепещет, как пламя свечи», «рябиной зреет ярко-красной заря за гладью облаков», «я хочу окунуться в небо белокрылой тоской лебедей».

К числу лучших, наиболее ярких произведений можно отнести «Детство», «Вдохновение», «Песня о песне», «Рассвет», «Роса», «Снег», «Я хочу окунуться в небо...», «Взор лучистый, вечер синий...», «Признание»...

Стихи сборника привлекают своей лиричностью. Особенно стихи о любви. Как говорится, о любви только ленивые не писали. Казалось бы, что о ней еще можно сказать? Но Д. Сезёмин сказал. И сказал по-своему. Он смотрит на любовь не донжуановскими глазами, а искренним и нежным взглядом романтика и рыцаря.

Ее глаза — как чистые озера,
И вся она, как белый день, светла.
Она меня считала фантазером,
И я ушел, да и она ушла.

Теперь иное, и иные думы
Являются ко мне, но все равно
О ней не вспоминаю я угрюмо,
Когда опять смотрю в ее окно.

Она счастливым сделала другого,
Но я ей верен столько долгих лет,
Люблю ее, ищу глазами снова,
Боготворю в ее окошке свет.

Она мое и горе, и отрада,
Я знаю, что навеки обречен,
Моя судьба! Иного мне не надо:
Я счастлив, счастлив, что в нее влюблен.

Как и у многих, порой даже известных поэтов, у автора сборника наряду с лучшими найдутся более слабые произведения: где-то рифма не отточена, где-то образ слабее... Но стоит ли об этом? О поэте судят по его лучшим произведениям. А у нашего автора они преобладают. Правда, признаюсь, мне, прагматику-реалисту, не по нраву, что в его стихах мало примет нашего времени и пространства. Однако, считаю, что это в плоскости художественного вкуса каждого читателя в отдельности.

Дмитрий Сезёмин взлетел довольно высоко в синь неба поэзии. Пожелаем же ему, чтобы он не останавливался в росте мастерства и поднимался все выше и выше!

Виктор Артемьев

Авторы номера

КОСТЮЧЕНКО Наталия Николаевна. Родилась в 1963 г. в д. Старая Иолча Брагинского района Гомельской области. Окончила Белорусский технологический институт. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и России. Автор ряда книг прозы. Заместитель председателя Минского городского отделения СПБ. Живет в Минске.

ТАЕВА Марианна (Петрачкова Ирина Валерьевна). Родилась в 1971 г. в Минске. Окончила юридический факультет БГУ. Автор стихотворений и песен. Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

ПЕГАСИН Михаил Владимирович. Родился в 1982 году в г. Светлогорске Гомельской области. Окончил Военную академию Республики Беларусь. Поэт, прозаик. Живет и работает в Минске.

МАЛАХОВСКИЙ Рагнед Юрьевич. Родился в 1984 г. в поселке Сеймчан Магаданской области (Россия). Окончил факультет финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета. Поэт. Автор сборника стихов «Беражніца». Живет в Минске.

ЗИНОВЬЕВ Александр Владимирович. Родился в 1937 г. на Алтае. Окончил Московский энергетический институт, аспирантуру Института ядерной энергетики АН Беларуси. Журналист, прозаик. Печатался в журналах «Нёман», «ДИ», «Молодая гвардия», «Промышленность Беларуси». Автор книг «Плышевские — православные священнослужители Беларуси XVIII — XX вв.», «Объяснить и предсказать». Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Живет в г. Волковыске Гродненской области.

СУПРУНЧУК Виктор Петрович. Родился в 1949 г. в д. Селец Березовского района Брестской области. Окончил Белоозерское училище электротехники, факультет журналистики БГУ. Автор более десяти книг прозы. Лауреат литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

ЧАРКАЗЯН Ганад Бадриевич. Родился в 1946 г. в Армении. Окончил Белорусский политехнический институт. Поэт, прозаик, переводчик. Пишет на курдском и армянском языках. Автор книг поэзии и прозы «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Тоска по дому», «Опередить смерть» и др. Живет в Минске.

БАКУНЦ Аксель (Тевосян Александр Стефанович). Родился в 1899 г. в г. Горис (Армения). Окончил Харьковский сельскохозяйственный университет. Прозаик, киносценарист, переводчик. Автор сборника повестей и рассказов «В темном ущелье», сборника новелл «Сеятели черных пашен», сатирической хроники «Киорес» и др. Репрессирован в 1937 году.

МАТЕВОСЯН Грант Игна́тьевич. Родился в 1935 г. в г. Туманян (Армения). Окончил историко-филологический факультет Армянского педагогического института, Высшие сценарные курсы в Москве. Прозаик, киносценарист. Автор повести «Мы и наши горы», рассказов «Август», «Алхо», «Месроп», «Буйволица» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов», Государственной премии Армении, Государственной премии СССР. Умер в 2002 г. в Ереване (Армения).

ХЕЧОЯН Левон Ваникович. Родился в 1955 г. в селе Баралет Ахалкалакского района Грузии. Окончил филологический факультет педагогического института в г. Ленинакане (ныне Гюмри). Прозаик. Автор сборника рассказов «Деревья фимиама», повести «Царь Аршак, Евнух Драстамат», романа «Черная книга, тяжелый жук» и др. Лауреат государственной литературной премии Республики Армения «Золотой камыш». Живет в городе Раздан (Армения).

ШЕКСПИР Уильям. Родился в 1564 г. в г. Стратфорд-на-Эйвоне (Англия). Учился в стратфордской «грамматической школе». Один из самых знаменитых драматургов мира, автор по крайней мере 17 комедий, 10 хроник, 11 трагедий, 5 поэм и цикла из 154 сонетов. Умер в 1616 году.